11.196к.

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

12

ОБЛГИЗ—ИВАНОВО—1950

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3 ТМО Т. 1 млн. 1171—79

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ИВАНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1950

84
-- 2010

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
Библиотека
Краевой обяз. экз.

М. ШОШИН

МЫ ЖИВЕМ В ДЕРЕВНЕ

Повесть

Я подхожу к телефону, звоню дяде Феде и слышу трепетный детский голосок. У старика большая семья, много внуков. Он сам часто путает их имена и, подзывая к себе, говорит иногда: „Эй, как тебя? Лялька, что ли? Подь сюда!“ И я никак не разберу, кто из ребят пищит в трубку, и спрашиваю:

— Кто это? Люська? Санька? Ленька?..

— Нет, это я — Ки-ия-я...

— Киря? Здравствуй, дружок! Здоров? В детском саде был сегодня? Песни пели? И ты пел? Вот и хорошо! Передай трубку дедушке!

Я слышу, а может быть представляю, что делается сейчас в избе дяди Феди: маленький Киря обеими ручонками крепко держит трубку и кричит деду так, будто случилась беда:

— Дедушка, ское-ее... Ское-е!

Но дедушка знает, что никакой беды нет, прикрикивает на расшумевшихся ребят и неторопливо подходит к телефону.

— Э-ээй! Кто там? — по-деревенски окликает дядя Федя, словно кто стучится ночной порой к нему в окно.

— Идем в клуб! — говорю я ему. — Надевай новый костюм, обувай ботинки и выходи. Я тоже сейчас выйду, только позвоню дяде Мише и Тихону. Галстучек приспособь: сегодня день парадный, в президиуме будешь...

— Ладно, припарадимся, — говорит дядя Федя и вешает трубку.

Через полчаса я выхожу на волю и вижу — посреди улицы они дожидаются меня все трое: дядя Федя, дядя Миша и Тихон Зайцев.

Приятно холодит легкий мороз. Воздух ядреный и чистый. Падает снег.

Из окон домов рвется в темноту яркий свет.

У скотных дворов, складов, пожарного депо сияют большие фонари уличного освещения, и в отсветах электрических огней тихо падающие снежинки блестят белыми огоньками.

На колхозной улице в этот поздний час такая тишина, такой милый сердцу уют, что нам хочется растянуть наш короткий путь, и потому мы бредем нога за ногу и разговариваем вполголоса.

Неожиданно свет тускнеет, на улице становится темнее, огоньки снежинок гаснут.

— Вот вам и торжество, — испуганно говорит Тихон. — Ава-ария!

— Я ему покажу-у аварию, — сурово гудит дядя Федя.

У него три сына: один заведует нашей гидростанцией (к нему и относится угрожающее „покажу"), другой — свинофермой, третий — шофером на грузовике.

Люди они пожилые, женатые, все имеют детей, давно бы могли на свои заработки поставить себе дома, но живут при отце и из родительского дома уходить не собираются. Я часто задаю себе вопрос: что удерживает их в старом гнезде? И каждый раз отвечаю: семейная дружба, братская любовь, привязанность к родителям, особенно к отцу. Своим умом, спокойствием, справедливостью, добропорядочностью старик скрепляет свою большую семью, где никто не чувствует себя лишним, особо любимым или нелюбимым, здесь все одинаково согреты теплом семейной любви и внимания. Внешне дядя Федя суров и даже угрюм, но душа его излучает такой свет, что с ним радостно жить рядом. В семейной жизни он счастлив. Счастье не оставило дядю Федю и во время великой войны: снохи вели себя хорошо, усердно трудились в артели, сыновья были на фронте и вернулись домой живы-здоровы.

— Это на фермах водокачку пустили, — объясняю я, — она очень много берет энергии.

Фермы у нас большие, одного только рогатого скота двести голов, а потом — лошади, свиньи, овцы... И все хотят три раза в день есть и пить. Водокачка подает ежедневно на фермы тысячи ведер воды.

Тускло краснеют уличные фонари и окна домов. Темнота спустилась на крыши. Остинки снега теперь падают серые, тусклые.

Но вот глухой шум водокачки стихает, тишина охватывает наше селение, лампочки всюду ярко вспыхивают. Над колхозом поднимается зарево света, и темнота уходит ввысь.

— Вво! — торжествующе говорит Тихону дядя Федя: — А ты говоришь ава-ария.

— Да, это скотинку поили, — извиняющимся тоном тянет Тихон.

— Ты должен знать, отчего у нас по вечерам свет меркнет, — все еще не может успокоиться дядя Федя, — не в другом колхозе живешь...

— Не примечал, — простодушно и примирительно отвечает Тихон: — До сей поры дел было по горло; придешь домой, поужинаешь да и повалишься спать. Примечать некогда было, недосуг разглядывать...

Мы подходим к новому зданию клуба. О нем надо сказать несколько слов.

Когда мы наладили большое артельное хозяйство, колхозники стали говорить:

— Все хорошо, все теперь есть, а повеселиться негде.

И тогда на отчетном годовом собрании мы постановили построить клуб. В то время у нас уже был кирпичный завод, здание решили возводить кирпичное, и колхозники с гордостью говорили:

— Каменный клуб строим!

Мы возвели стены, покрыли и хотели так отделать клуб, чтобы поглядеть любо было, но тут началась война, отделку пришлось отложить.

В коридоре нас встречает дед Амплей Афошин, сосредоточенный и торжественный, в синей сатиновой косоворотке, суконном пиджаке. Он поставлен сторожем и заведующим хозяйством нового клуба.

Мы здороваемся с Амплеем, снимаем шубы.

Много лет тебе, дедушка Амплей! Ты давно перестал считать свои годы. Даже от имени твоего веет давностью. Ну кто теперь назовет своего ребенка Амплеем? Ты стар, ты очень стар, дед Амплей, но в тебе сохранилась почти юношеская живость и подвижность. В колхоз ты не привел ни лошади, ни бычка, не внес ни телеги, ни плуга, но ты вложил в него самое дорогое: свою чистую душу и неиссякаемую жизнерадостность. Ты восторгаешься каждым достижением артели, радуешься каждой покупке, постройке, ты дорожишь своим крепким колхозом, ты дышишь с ним одним дыханием. Не будь колхоза, ты бы давно покинул этот свет. Сила коллектива как бы вливается в тебя и придает тебе века. Все это мелькает у меня в голове, пока мы здороваемся и толкуем с Амплеем.

Мы долго собирались, медленно шли и потому явились в клуб не рано. Колхозники почти все уже собрались и сейчас рассаживались в новых тяжеловатых, но крепких креслах, изготовленных в нашей колхозной столярке.

Кружки самодеятельности готовились к художественной части, которая должна была состояться после торжественного заседания. За кулисами, куда мы сразу проследовали, встречались девушки в украинских костюмах, парни с приклеенными бородами...

Мы подождали еще немного и, когда зал на двести мест наполнился, начали собрание. Мне — председателю — предоставили слово, и я заговорил о том, что с помощью партии и советского государства мы создали крепкий и дружный колхоз, в котором сейчас все основные сельскохозяйственные работы производим на сложных машинах. Значительная часть членов нашего колхоза — трактористы, машинисты, электрики, кузнецы, слесаря, шоферы, зоотехники, опытные животноводы. На пустоши, где прежде торчали только трухлявые пни да топорщились можжевеловые кусты, мы выстроили новую деревню с артельной усадьбой, похожей на новый городок. В одной стороне скотные дворы, силосные башни, кормозапарки, а по другую — гараж, хата-лаборатория, столярная и слесарная мастерские, кузница, мельница, лесопилка, кирпичный завод, склады, амбары, а дальше на берегу реки — гидроэлектростанция. На самом красивом месте — контора колхоза и дом, в котором ясли и детский сад... Но самое лучшее здание в колхозе — новый клуб с зрительным залом, библиотекой-читальней, телефонной станцией и радиоузлом...

Открывая новый клуб, мы еще раз оглядываемся на пройденный путь. Наша деревня называлась прежде Черногубово. Мы переехали на новое место и назвали свою новую деревню Озаровкой, а свой колхоз „Красное лето". Мы покончили за двадцать лет существования колхоза с нищетой, отсталостью и бескультурьем деревни. В каждом доме теперь у нас электричество, радио, велосипед, а то и два... Не мало даже мотоциклов...

— Это мы знаем, — раздались голоса из группы молодежи.

— Сами на них катаемся.

— И радио слушаем, и по телефону разговариваем.

— Расскажите лучше, как вы здесь начали!

Охотников рассказать „как здесь начали" нашлось много. Выступили все наши колхозные ветераны, организаторы артели.

Я не записывал выступления, не могу их здесь привести, а своими словами передам то, что мы вспомнили в тот вечер.

* * *

...Возвращаясь после без малого пятилетнего пребывания во флоте, я встретил в районном городе односельчанина Тихона Зайцева. Он покачивался, говорил заплетающимся языком, но выпивка, очевидно, не развеселила его, он был угрюм.

— С горя хватил, — признался Тихон.

— А что за горе у тебя?

— Весна подходит, а у меня ни лошади, ни семян. Ходил вот в город насчет помоги и ничего не добился. Не мастак я на это, не умею хлопотать. Не хотелось идти, знал ведь, что ничего не добьюсь, да жена проперла — поди, да поди... Пошел ни с чем и принес ничего. Теперь пилить будет, боязно даже домой идти.

В родное Черногубово мы отправились вместе.

— Что я буду делать весной? — сокрушался Тихон. — Сидеть и глядеть, как люди пашут?.. Или на Кувшинова все лето работать за то, что даст лошадь попахать и семян на посев?! Воспомоществование бы мне! Может я тогда и поправился бы. Но не умею я хлопотать. Ходил-ходил в городе и ничего не выходил. Только везде и говорят: теперь помощь дается артелям, а не одному лицу. Федор и Михайло Сургучевы подговаривали меня на артель, но жена вымолвить мне слова про артель не дает.

— А ты не поддавайся, в свою сторону тяни, — говорю я Тихону. — Жена покричит-покричит, да и покорится: за тобой пойдет. Ты хозяин, тебе и решать.

— Я бы решил, кабы знать, что это дело надежное.

— Оно в тысячу раз надежнее...

— Нет, от помоги я бы на ноги встал...

— Сколько раз тебе помогали?

Зайцев молчит. Ссуды от государства он получал не раз, но выбраться из бедности со своей большой семьей не мог.

— В лучшем случае ты на эту помогу купишь плохонькую лошаденку, которая не выслужит и одного лета. Посеешь кое-как, соберешь ничтожный урожай, а будущей весной опять побредешь за помогой. Конца этому нет... А в артели ты воспрянешь, встанешь на ноги крепко.

Всю дорогу мы толковали об артели и к вечеру пришли в деревню. Меня встретила мать со слезами и причитаниями. Она принялась готовить чай, но с радости у нее все валилось из рук. Пять лет она жила одна, постарела еще больше, истосковалась в одиночестве. Я посмотрел на нее, и сердце мое сжалось.

— Сама я не своя от радости, — говорила мать, подперев длинной сухой рукой седую голову. — Один ты у меня... Ты мой свет и надёжа... В избе-то будто все ожило, как ты появился. А твоя-та невеста Лизутка Шарапова учиться уехала! И тебе наказывала приезжать учиться с ней. Вот я и думаю: неужто ты уедешь, и я опять останусь одна-одинешенька?! Надоело мне одной-то, сынок! Белый свет не мил... Все одна и одна, не с кем словом перемолвиться. Кабы отец был жив, ну ин вдвоем дни коротать не так тяжко было бы. Уедешь к Лизавете, а я тут одна совсем иссохну. Вьюжит на улице-то? Нынче зима вьюжливая, студеная, избы по застрехи завалило снегом. А ветер в трубе

день и ночь воет. По ночам мне не спится, я и похожу и полежу, и в окошко погляжу, а за окошком метелица метет и волки воют... И страшно мне станет.

Дверь неожиданно отворяется, и в облаке белого пара, ворвавшегося в избу, я вижу Федора Сургучева.

— Здорово, матрос, — говорит он баском. — Принимай гостя. Прознал я, что ты домой заявился, и пришел повидаться. Да и дельце до тебя есть. Здравствуй, Марковна! Не заругаешь меня, что не в пору заявился?

Мать легко поднимается, подвигает Федору Сургучеву скамейку и скороговоркой отвечает:

— Нет, я рада-радешенька... Проходи! Присаживайсь!

— Я думаю, что рада, — усмехается Федор, опускаясь на скамью. — Тебе хочется, чтобы сын дома остался, в город не уезжал; вот я сейчас и попробую его уговорить. Мы сейчас с ним подумаем: нельзя ли город-то здесь устроить!

Сургучев намного старше меня, и я привык звать его дядей Федей. Я рад ему и потому с особым воодушевлением собираю на стол: чищу селедку, режу хлеб, огурцы, капусту, лук, открываю банку с консервами, откупориваю бутылочку, добавляю углей в самовар. Мне хочется на славу угостить дядю Федю, мне хочется сказать ему:

— Ты мне совсем чужой, но дороже родного. Двенадцати лет после смерти отца я остался в доме за хозяина, и ты сам, без просьбы, пришел помочь мальцу. Ты ставил меня в борозду, учил пахать без гребешков, которые образуются, когда пласт встает ребром. Ты учил меня уставлять плуг и пахать так, чтобы пласт делал полный оборот и прижимался щекой к другому пласту. Мальчишкой мне пришлось и пахать, и сеять, и косить, и косы отбивать, и жать, и молотить. Бывало, все мужики пройдут мимо, а ты непременно завернешь, поглядишь, научишь; делай так-то вот, легче будет, побережай силенку-то! Как дороги и ценны были эти наставления! Как согревали душу сироты твои слова участия. Я буду век благодарен тебе, дядя Федя.

Он считал и теперь считает меня заправским крестьянином и потому, оказывается, пришел ко мне. Дядя Федя, видите ли, тоже задумал организовать артель. Хватит, поковыряли землю, надо по-настоящему хозяйствовать на ней. В Черногубове никогда не выращивали хлеба больше, чем на ползимы. Нешто это дело! Разве нельзя на этой земле добыть добрый кусок хлеба?

Дядя Федя по летам трудился дома, в крестьянстве, а по зимам уходил на фабрики. Так из года в год. На фабриках работал плотником, чесальщиком, ширильщиком, подносчиком красок, но в душе был и остался крестьянином.

Теперь он решил прибиться к одному берегу, создать артель и крепко осесть на земле.

Я тоже вернулся с моря с мечтой об артельном хозяйстве, нас, оказывается, одновременно волновала одна и та же большая мысль.

Мы долго сидим за столом, думаем, прикидываем, мечтаем до вторых петухов.

* * *

Теперь каждый вечер наша изба полна народа. Мать так и цветет в это время. Она стала более подвижной, словоохотливой, бодрой. Ей наскучило одиночество, и сейчас приятно побыть на людях. К тому же, если будет артель, сын останется дома, а она этому безмерно рада.

Мать встречает всех ласковым словом, справляется о здоровье, советует пить настой той или иной травы, если кто жалуется на какой-нибудь недуг.

Первыми появляются у нас в избе дядя Федя с женой и его родной брат дядя Миша с женой. Дядя Миша бездетный, нужды у него меньше, чем у многодетного брата, хозяйство у него среднее. Он угрюм, говорит мало и во всем молчаливо соглашается с Федором.

Вскоре после братьев Сургучевых открывает дверь дед Амплей Афошин. Он давно отступился от крестьянства, собирает клюкву и сдает ее скупщику Кувшинову, нашему черногубовскому захребетнику.

В избе становится шумно, весело, когда приходит Арина, жена Амплея. Она умеет посмешить. Властная, мужественная бабка Арина десятки лет принимает в Черногубове детей; целые поколения черногубовцев увидели свет на ее руках.

Особняком держатся Иван Поспелов, Степан Куделин, Влас Курочкин. Они считают себя справными хозяевами и ходят сюда, как они говорят, „только послушать".

Амплей всегда присаживается рядом со своей Аринушкой. Он относится к ней с глубоким уважением, никогда не оспаривает ее слов, поступков, он как бы раз навсегда сказал себе: все, что она делает или говорит — все правильно.

Арина видит, что Поспелов, Куделин, Курочкин держатся в стороне, и прямо говорит им:

— Вы не отделяйтесь, а записывайтесь с чистым сердцем в артель. Ведь все равно пойдете за Федором и за матросом, они умнее вас.

В избе жарко натоплено. Мать любит тепло. На столе горит семилинейная лампенка, тускло освещая лица.

Я любил читать. Читал много и в деревне и потом на службе. Брал в библиотеке и покупал книги главным образом на деревенские темы. Записывал в свою тетрадку суждения писателей о мужицкой жизни и, сопоставляя эти высказывания, обдумывал их.

Перелистывая эти записи, я натолкнулся на примечательный отрывок из какого-то произведения Чехова:

„Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь, а я, между тем, привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним".

Вспомнилось, что отрывок привлек мое внимание еще в ранней молодости, до отъезда из деревни. Эти строки отражали в то время настроения Лизы и мои, а потому я тогда и выписал их в тетрадку.

Я читал отрывок по записи дальше:

„... и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову...

В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне... приглядываясь к мужику поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — это правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость".

Эти строки Чехов написал более половины века тому назад. Многое изменилось с тех пор, и мужики, которых я видел сейчас перед собой, были другими. Наши мужики — люди с крепкими нервами, спокойные, вдумчивые; они умеют теперь во многом разбираться.

К тому времени, как я вернулся домой с моря, они уже двенадцать лет прожили при советской власти, которая их многому научила. Но отрывок вновь привлек мое внимание совершенно правильным замечанием, что мужик любит правду.

При старом строе из поколения в поколение бедный и средний крестьянин повседневно убеждался, что каждое действие власти — несправедливость для мужика.

После Октябрьской революции он увидел на деле, что советское государство, партия большевиков заботятся о бедняке и середняке, помогают обновить деревенскую жизнь, вывести ее на широкий и светлый путь коллективного хозяйствования.

В первые годы советской власти черногубовцам приарезали лугов и пустошей в бывшем помещичьем лесу, но только немногие из них смогли разделать свои полоски на пустошах. Попрежнему урожаи в Черногубове снимали ничтожные. Заболоченные луга нужно было осушать и культивировать, поля лучше обрабатывать и удобрять.

Большевики говорили крестьянам: единоличным хозяйствованием со своими сохами и деревянными боронами вы ничего путного не добьетесь, положения своего не улучшите, от кулака не избавитесь. Только коллективным хозяйствованием с тракторами и машинами, в дружбе с наукой вы сможете заставить свою землю давать большие урожаи. Только общими усилиями вы сможете осушить луга и снимать с них не сотни пудов осоки и белоуса, а тысячи пудов культурных, сочных и питательных трав.

Эта правда была тем сильна, что ее говорила крестьянам прямо и твердо новая справедливая власть.

— К этой правде, в которой заключается и спасение и будущее народа, крестьянство стремилось века, — говорил я в тот вечер своим черногубовским друзьям. — Искало, добивалось, боролось за нее! Она теперь перед нами...

— Вот к этой правде мы сейчас и подошли, — перебил меня дядя Федя. — И от нее мы ни на шаг не отступим и пойдем за этой правдой!

Мы обсудили все преимущества артельного труда и пришли к заключению, что только в нем наше будущее.

Дядя Федя человек решительный, с удальцой. Он предлагает занять под артельное хозяйство новую землю, пересесть на другое место:

— Как посадил помещик наших дедов на болото, так с тех пор мы тут и сидим. До революции нам сдвинуться нельзя было, а теперь какая неволя нам жить на болоте? Озимое родится плохо, картофель в дождливые годы собираем прелый, гнилой... А целины, сухих мест вокруг много! И недалеко они. Возьмем, к примеру, Озаровку, Будилиху. Там и сухо, там и красиво, там и река есть; хоть на лодке катайся, хоть рыбу лови, — соблазняет дядя Федя.

— Я летом с ружьишком туда забрел, — дополняет Амплей Афошин. — Сел отдохнуть и поглядел: хороши места! Полдня, кажись, я там просидел, уходить не хотелось. Еще наши деды и отцы зарились на ту Озаровку, на ту Будилиху, но поделать ничего не могли...

— Озаровку и Будилиху надо хлопотать! — поддерживает дядю Федю и Амплея бабка Арина. — Те места — красные... Довольно, помокли мы на болоте, хоть под старость на привольном месте пожить.

Озаровка манит всех своим привольем, своими богатыми угодьями и заливными лугами по реке Прошве.

Я беру карандаш и листок бумаги:

— Давайте прикинем для ясности, что у нас есть, с чем мы двинемся на Озаровку!

— Пиши меня, — говорит дядя Федя: — Лошадь, плуг и телка. Коровы нет, осенью продал, чтобы ребятишек в школу приодеть.

— Все знаем...
— Так это для записи полная точность требуется.
— Тихон Зайцев?
— Теленок и телега.
— Абрам Опарин?
— Корова и теленок, телега и хомут.
— Михаил Петрович Сургучев?
— Корова, телка, лошадь, упряжь, телега, запасной скат колес, соха и деревянная борона.
— Вот это да!
— Полная крестьянская снасть.
— Степан Таланкин?
— Он не Таланкин, а Бесталанкин.
— Товарищи, шутки тут ни к чему!..
— У Таланкина корова и овца, а лошадью он кувшиновской привык пользоваться.
— Его можно не писать, — громко заявила Арина Афошина. — Таланкина Кувшинов все равно от себя не отпустит. Между ними крепкая спайка...
— Отпустит, — резко возразил Таланкин.
— Как же он без тебя здесь один останется? — продолжала смелая и острая на язык Арина. — Ему без тебя остаться, — это все равно, что без правой руки.
Таланкин поморщился и отмахнулся:
— А надоел он мне.
— А может ты ему?
— А может и так...
— Почему это вы надоели так сразу друг другу? — подозрительно посмотрел на Таланкина дядя Федя.
— Со всеми всяко бывает, — неопределенно ответил Таланкин.
— Смотри! — строго заговорил дядя Федя. — Хитришь ты что-то, Степка!
— А что мне хитрить?! Я беднее тебя, а потому больше права имею в колхоз идти. Вот и все! И не имеешь ты никакого полного права меня допрашивать.
Дядя Федя потупился и смолк. Таланкин петухом прошелся по избе.
— Иван Поспелов?
— Лошадь, упряжь, соха и борона.
— У него еще корова с телком и овцы.
— Иван Куделин?
— Как у Поспелова.
— Влас Курочкин?
— У нас троих достаток одинаковый.
— Семен Кочетов?
— Корова и пастуший кнут. Чего с пастуха спрашивать?!
— Амплей Афошин?

— Берданка и собака востроушка.

— Этот молодец всех богаче, — горько усмехается Арина.

— Зато собираться нам с тобой легко, — отвечает ей Амплей. — Я свистнул да и пошел... И ты за мной.

— Матрос, ты меня и Курочкина погоди писать, может, мы еще не пойдем, — угрюмо говорит Иван Поспелов.

— Я пока наметил приблизительно...

— Вы не бойтесь: дедушка Амплей с бабушкой Ариной вас не объедят, — заявляет Арина. — Я всегда прямо говорю. Что у других на уме, то у меня на языке. Мы с Амплеем себе заработаем. Нам немного надо. Все ваше вам же и пойдет.

— Не про вас разговор, — басит Поспелов.

— А я не про разговор, а про твои думы!..

— Думы мои тебе неизвестны.

— Известны. — Арина делает многозначительную паузу и возвышает голос: — У вас зажиток побольше, вам с нами, бедняками, неохота равняться, но надо получше раскинуть умом и жадности не поддаваться. Припомните мои слова: рано ли, поздно ли, но все равно за матросом и Федором Сургучевым пойдете: они умное дело затевают. Они с маленького начинают, но впоследствии времени раздышутся.

— Нам государство поможет обзавестись всем необходимым, — добавляет дядя Федя. — Когда же мы дело раздуем, с государством расплатимся. Дело наше верное!

От многолюдья, жаркого дыхания взволнованных людей в избе становится душно, семилинейка мигает: ей нехватает кислорода.

Я предлагаю мужчинам выйти на крыльцо, проветриться и покурить, а потом продолжить запись.

На воле лунно. Перед нами приусадебная загородь из тонких колышков, словно серая сеть, раскинутая на снегу. Дальше белая низина и опушка леса, похожая на старый островерхий терем.

Холод сырой, болотный. Дым от десятка цыгарок клонится к земле.

Женщины расходятся по домам.

— Рано уходите, — говорит им дядя Федя, — еще будем писать и решение принимать, задержались бы на полчасика.

— Все уже решено, — отвечает за всех Арина Афошина. — Подите на Озаровку спервоначала одни, а потом и мы к вам, дорогим дружкам, пожалуем.

— А ведь верно старая говорит, — ухватился за эту мысль дядя Федя. — Двинемся сперва одни, утвердимся там, а по теплу весной и семьи перетащим. Так-то способнее будет. Меньше слез и хлопот. Куда я, например, сразу-то свою ораву там дену, где ее упомещу? Налегке, одни, мы там скорее утвердимся.

* * *

В полдень солнце поднялось над лесом, изумленно посмотрело на деревню, будто хотело сказать черногубовцам: „Эх, как вас тут снегом-то занесло, сердечных".

Пухлый снег на крышах изб засиял мириадами искринок.

Встретился Игнат Кувшинов. Он вез в розвальнях три лубяных короба клюквы, которую скупал в Черногубове и соседних деревнях и продавал в городе.

— Тпру-у,— протрещал он тонким голосом и туго-натуго натянул вожжи. Крупная откормленная лошадь медленно расставила ноги и встала прочно, непоколебимо.

Кувшинов любил учить, делать внушения, давать советы, считал себя милостивцем и уверял всех и каждого, что Черногубово живет его благодеяниями и умом.

— Подойди сюда! — крикнул он мне. — Мне надо слово тебе сказать.

Сухощавый, седобородый, он был одет в новенький дубленый полушубок оранжевого цвета. Редкая длинная борода его падала на полушубок, как поземка на песчаный гребень.

— Слышал я, что ты совсем домой пришел? — оглядывая меня, с притворной ласковостью спросил Кувшинов.

— Совсем!..

Кувшинов сокрушенно покачал головой и повздыхал:

— Жалко что-то мне тебя... Ну, что ты здесь будешь делать? Надо бы тебе остаться в городе или сейчас уехать к Лизе Шараповой. Там вы и жили бы да жили в свое удовольствие. Так ли я говорю?! А здесь тебе приходится с мужиками возиться, собранья устраивать... Не велико это утешенье для молодого человека. На Озаровку собираешься? А знаешь ли ты, что там можно хребтюг себе сломать? На разработке целины, на корчевке пней кожу на руках себе сотрешь. Не завидую тебе. И жалею тебя...

— Жалеть меня не надо, я знаю, что делаю.

— Ничего ты не знаешь, — мягко возразил Кувшинов. — Отца у тебя нет, на ум наставить некому. Ты хоть приходи ко мне, поговорим, радио послушаем.

Кувшинов протянул руку в сторону своего дома. На крыше — высокая, тонкая, светложелтая, как свеча, жердь; от нее протянута на крышу мельницы к другой такой жерди проволока.

— Больших денег это мне стоило, — продолжал Кувшинов, — из города специального человека привозил. У меня радио поет и разговаривает так, что любо слушать. Теперь по вечерам понятливых мужиков к себе допускаю просвещаться. Вот! И ты будешь у меня не лишний. Мне радио не жалко, его у меня не убудет, а тебе удовольствие.

— Удовольствий я не ищу, а радио мы скоро свое заведем, — ответил я, собираясь расстаться с Кувшиновым. Его речи показались мне приторными.

— Ох, какой ты занозистый стал, — недобрым взглядом окинул меня Кувшинов. — Не по достатку гордость у тебя; забыл, видно, что на дворе у матери только курицы и корова. Лучше пришел бы ко мне, попросил на лошаденку и пахал бы себе тихо-мирно, раз в городе осесть толку нехватило. Не живется тебе в покое, охота, вишь, людей тебе баламутить... Связался с голытьбой. Ну скажи: чего ты от нее получить можешь?

— Ничего от нее я получать не собираюсь, на свой аршин ты меня не мерь! Это ты от нее получаешь и боишься, чтобы тебе ее обирать не помешали, но мы теперь помешаем...

Я быстро пошел вдоль улицы. Кувшинов с силой дернул вожжи, лошадь один миг потопталась на месте и рванула розвальни.

„Хитрыми уловками жалостливого милостивца ты прибирал бедняков к рукам, — мысленно я все еще разговаривал с Кувшиновым. — Они работали на тебя исполу, и ты не хочешь выпустить их из своих рук."

Дальше встретился со мной на улице дядя Миша Сургучев. Оглянулся вокруг — нет ли кого поблизости — и заговорил приглушенно:

— Вчера Кувшинов меня к себе зазвал радио слушать. Пришел я, вижу: на столе ящичек махонький... Приладил мне Кувшинов на голову слухач, в ушах тоненько-тоненько засвирикало, различаю — песня, но очень тиха, будто ее под землей играют. Поскучал я, поскучал, потом снимаю блюдечки: — „Интересная, говорю, штучка...".

— Это детекторный приемник, — пояснил я.

— Вот, вот — приемник, — продолжал дядя Миша, — но только что-то слаб. „Мало слышно, — говорю я Кувшинову, чтобы поскорее отвязаться от него. — И голова у меня что-то кружится." — „Это, говорит, с непривычки, заходи ко мне почаще, слушай дольше — привыкнешь". Еле отпустил он меня. — Дядя Миша помолчал и добавил: — В дружбу что-то набивается. И не к одному ко мне. Ко всем мужикам, которые позажиточней.

Я спросил:

— К чему бы это он?

— Понадобилось, видно, ему... Что-то задумал. Его ведь не сразу разгадаешь.

* * *

Через несколько дней мы собрали вступительные взносы и отправились в город. Первым делом зарегистрировали

артель в Колхозсоюзе. Была на первых порах колхозного движения такая организация.

Пришлось внести вступительный взнос (так полагалось тогда, это я хорошо помню) — восемнадцать рублей. Дядя Федя принял квитанцию, прочитал ее, повертел так и этак, потом бережно завернул в большую тряпку, в которой хранились у него остатки артельной кассы, и спрятал в потайной карман пиджака. Я заметил, что дядя Федя стал вдруг неразговорчивым, настороженным. Я тихонько спросил: что с ним?

— Деньги-то общественные, — прошептал мне на ухо дядя Федя. — Надо с ними осторожно. Гляди! Зря бы куда не заплатить. Мужики-то нам с тобой последние рубли отдавали.

Я завел разговор о Будилихе, а дядя Федя сидел и молчал, опустив руку в карман, в котором лежала большая тряпка, а в ней деньги и квитанция.

Землемеры и агрономы Колхозсоюза оказались ребятами моих лет, а может и немного постарше; они происходили из трудовых семей, недавно только окончили учебные заведения, а потому разговор с ними у меня наладился легко. Я живо передал все наши чаяния и мечтания о создании артели на новом месте.

Молодой землемер развернул карту, смело обвел Будилиху красным карандашом и, подумав немного, предложил еще взять пустошь Озаровку, прилегающую к Будилихе. В Черногубове мы много говорили об Озаровке, но когда землемер обвел на карте круг вдвое больше прежнего, меня оторопь взяла, и я невольно обронил:

— Не много ли будет?

— Глядите, как вам удобнее, — говорил молодой землемер, разглядывая карту и будто собираясь отхватить нам еще кус земли: — Глядите, но знайте, что вы будете шириться и расти, к вам еще люди будут прибывать, земля пригодится!

Агроном согласился с землемером и, в свою очередь, посоветовал взять Озаровку, которая вклинивается в Будилиху. Он рассказал, что на Озаровке в первые годы революции работала сельскохозяйственная артель из рабочих фабрики „Авангард", нечто вроде ее подсобного хозяйства. Она просуществовала до пуска фабрики после разрухи, и там до сих пор сохранились кое-какие постройки.

— Там есть распаханная земля, на ней легко обосноваться. В общем Озаровку вам следует взять, — искренно посоветовал нам этот, видать, внимательный и душевный человек.

Дядя Федя толкнул меня локтем, строго посмотрел в глаза и громко, требовательно заговорил:

— Озаровку мы возьмем! Земли нам много надо! Мы пашни там большие раскинем и скота страх сколько разведем!

— Правильно, дядя! — восторженно посмотрел на него землемер: — Земля мужику сгодится. Располагайтесь там шире и смелее. Видно, что вы народ крепкий, идете на новые места великое дело творить. Желаем счастья! Закрепляйтесь там.

Мы взяли и Будилиху, и Озаровку; подали, еще в Черногубове заготовленное, заявление о ссуде для артели и стали прощаться. Нас проводили добрыми пожеланиями. Оттуда мы направились в чайную. Там дядя Федя побранил меня:

— На-т-ко, чуть не отказался от целого богатства. Дают — бери! Земля мужику всего на свете дороже!

Он все еще держал руку в кармане, и я сказал ему:

— Ты, старый ворчун, хоть руку-то из кармана вытащи.

— Нельзя, тряпочку с деньгами и квитанцией берегу. Потеряешь, что тогда будет? Совесть покоя не даст, и мужики нам с тобой верить перестанут.

Когда мы сели за стол, я сказал ему:

— Ну, казначей, раскошеливайся!

Дядя Федя вытащил из-за пазухи овсяный колоб с растрескавшимися краями и стукнул им по столу:

— Давай вот пожуем, да и все тут.

— Нет, мы с тобой будем жить по-человечески, — возразил я ему, вытащил свой кошелек и заказал чаю с баранками.

В тот же день мы вернулись домой, отмахав по сырому снегу и лужам пятнадцать километров: у нас было такое приподнятое настроение, что мы не заметили, как дошли до Черногубова.

Вечером у нас опять изба была полна народа. Мы с дядей Федей с воодушевлением рассказали о своих успехах в городе и предложили в ближайшее время отправиться на Озаровку и готовиться там к весеннему севу.

* * *

На болоте появились полыньи, широкие и синие. Они смотрели на наше Черногубово, словно глаза самой земли.

Леденящие сквозняки низины сменились неукротимыми набегами теплых ветров. Кусты тальника под страшными порывами ветра пригибались к земле подобно сухой траве.

В тот день шел густой снег хлопьями и обвивал, как повитель белыми цветами, избы, сараи, журавцы колодцев.

Жены залатали одежду, положили в сумки продовольствия на много дней. Все готово. В полдень двинулись в дорогу,

Ивановская областная Библиотека Красной обяз. экз.

11.1966.

чтобы к вечеру быть на Озаровке. За нами потянулась вереница односельчан.

На околице все остановились.

— Прощайте, больше не увидимся, — насмешливо сказал кто-то из провожающих.

— А может еще доведется, — откликнулся Тихон Зайцев и кивнул на меня. — Вон матрос говорит, что вы все к нам придете.

— Мало ли что он вам говорит...

— Кусты да пни о вас на Озаровке тоскуют...

— Сломаете там себе хребтюги.

— Кожу на руках сдерете...

— Если на погост не угодите, то пришлепаете обратно.

Я слушал выкрики провожающих и думал: „Ведь все они повторяют слова Кувшинова, это он им напел... Многие из них пошли бы с нами, если бы он их не запугал трудностями".

Я встал на сугроб около дороги и протяжно проговорил:

— Настанет вре-емя — все-е придете к нам на Озаровку! У нас будет электричество, много скота, много хлеба! Придете, попроситесь. Мы не злопамятные, мы всем, кто захочет с нами честно работать, скажем: добро пожаловать! А пока до свиданья!

Мы поправили котомки за плечами и длинной цепочкой двинулись по дороге.

Далеко за деревней нам встретилась молодая учительница с группой учеников. Дети несли ветки деревьев с набухшими почками.

Дядя Федя подошел к своей дочурке-первокласснице, взял на руки, полюбовался и крепко поцеловал. Потом спросил:

— Куда вы ходили?

— Наблюдать живую природу.

Он опустил девочку на землю, и мы пошли дальше.

— Счастливо устроиться вам, — пожелала молодая учительница.

— Спасибо, — хором ответили мы, а старик Афошин сказал по-старинному, с поклоном:

— Премного благодарим.

Минут через пять учительница окликнула нас. Мы оглянулись. Она махала нам рукой, ученики ветками.

— Сча-стли-во-го бу-ду-ще-го, — по слогам кричали ребята, чтобы мы лучше расслышали.

Мы приподняли шапки, постояли и снова пошли.

Дети знали, что мы пошли добывать счастливое будущее. Им сказала это молодая учительница.

На сердцах у всех нас потеплело.

* * *

Перед отходом на Озаровку я зашел к тете Саше, матери Лизы Шараповой, той самой Лизы, которую все в нашей деревне считали моей невестой. До отъезда во флот я часто бывал у Шараповых.

Помню, придешь к ним, и сразу повеет на тебя милым сердцу уютом: в избе тепло, чисто, всюду кружевные занавесочки, полоски и косячки бумаги с вырезанными искусно узорами.

Пышноволосая стройная Лиза сидит за столом — читает или вяжет. Тонкая, подвижная, она легко поднимется и непременно встретит у порога, скажет что-нибудь приветливое.

Тетя Саша поспешно примется разжигать самовар и непременно уронит самоварную трубу. С шестка в страхе спрыгнет старый кот и шмыгнет на печь. Лиза звонко рассмеется и хлопотливо примется помогать матери. Посмотришь, бывало,— дело так и горит в ее тонких руках.

Ко мне подойдет ее братишка-школьник и расскажет какую-нибудь невероятную историю, которая якобы произошла на лесной дороге из Черногубова в город. Его привлекали только страшные происшествия, в которых фигурировал непременно бешеный волк или необычайно свирепый медведь. Я слушал его снисходительно и говорил:

— Ишь ведь что!

Или:

— Вот ведь какое дело-то!

На этот раз, когда я зашел к Шараповым перед уходом на Озаровку, мне бросилось в глаза запустение. В избе не было прежней чистоты. Кружевные занавесочки запылились, закоптели, косячки и полоски с узорами обвисли или совсем были оборваны. Пол давно не мыт: от порога до печки протянулась грязная тропка.

Нелегко, видно, переносила тетя Саша разлуку с любимой дочерью, постарела, поскучнела.

— Садись,— пригласила она меня, кивнув на скамью, на которой сидела сама.

Заскрипели полати. Это Костя, слезая с полатей, ухватился за край, повис, подтянулся и перевернулся через голову, как на турнике.

— Эт-то что такое?— вскинулась на него мать.

Костя опустился на пол и ответил:

— Гимнастика!

Он повзрослел, стал выше, плечистее. Подошел ко мне и подал руку.

— Нешто ты не поедешь учиться-то?— спросила меня тетя Саша: — Слышала я, что ты тут с нашими мужиками...

— Зачем он поедет,— перебил ее Костя: — Он колхоз здесь затевает.

— Вот — сбылись мои слова!— горестно воскликнула бесхитростная тетя Саша, у которой никогда не было ничего тайного на душе; она не умела ни скрывать, ни хитрить. — Я говорила ей, когда она собиралась уезжать: „Дожидайся Павла!" А она мне: „Он ко мне учиться приедет." А я ей: „А вдруг не поедет." А она мне: „Поедет, ему здесь делать нечего." А вышло так, что дело-то и нашлось. Все по-моему и вышло. Как же вы теперь? Она будет ученая, а ты не ученый останешься. Если сойдетесь потом, жизнь-то у вас не сладится. Лизавета губу-то загнет, пожалуй: она ведь гордая.

— Наверно теперь уже и не встретимся,— печально проговорил я: — А встретимся, так получится так: сорок лет, сорок зим не видались, а сошлись и поговорить не о чем. Я буду пахарем, а она...

— Врачом,— подсказал Костя: — Стану, говорит, людей лечить. И тебя, говорит, вылечу, ежли захвораешь... Ничего, говорю, мне не сделается, а, если простуда присунется, я стакан вина хлопну и все пройдет; соли в вино положу, так всю стынь наверх выкинет.

— Хватит тебе молоть, мелево,— прикрикнула на него мать: — Право мелево... Наслушается всякой всячины и несет нивесть что... Совсем на сестру не похож,— пожаловалась она мне: — Та слова неаккуратного не скажет, а этот болтает вкривь и вкось.— Тетя Саша оставила в покое Костю и опять заговорила о дочери: — Вот жалко, что ваши дороги врозь пошли. И сойдутся ли они опять?

— Врозь, тетя Саша,— вздохнул я,— а сойтись теперь нашим дорогам нелегко.

В потускневших глазах тети Саши блеснул лучик надежды:

— А, может, ты соберешься к ней?

— Не могу, тетя Саша, я здесь большое дело затеял! И мне хочется жить в деревне. Я пахать люблю, сеять. Мы здесь колхоз вот создадим, по-новому жить станем.

— А ей во сне и наяву все город виделся, — задумчиво сообщила тетя Саша. — Характеры-то у вас, видно, разные... Жалко мне вас.

Я шел на Озаровку и думал о Лизе. Покидая Черногубово, я покидал тропки и дорожки, по которым в юности ходил с Лизой, покидал все памятное о ней и мысленно навсегда прощался с любимой.

Задумчивые и молчаливые, мы тихо брели друг за другом, сгибаясь под тяжестью своих котомок.

Я — холостой человек — думал о девушке. О чем думали мои суровые, обремененные семьями, спутники?

Малонаезженная дорога размякла, ноги вязли в снегу. Ни одного путника на этой лесной дороге, ни одного живого существа! Только в одном месте показались два грача, пролетая над лесом.

— Главное выстоять!— нарушая наше раздумье, говорил дядя Федя. — Это важно и в большом и в маленьком деле. Выстоишь — добьешься. Ежели уступишь, вильнешь, смалодушничаешь, тут на тебя все беды-напасти и навалятся. А в нашем деле, которое мы затеяли, уступать ни на один шаг нельзя! Невозможно!

* * *

От артели „Заря" остался на Озаровке сарай и несколько бревен, разбросанных там и сям. Сарай мы отремонтировали, приспособили под жилье.

Купили котел, эмалированный чайник и организовали небольшую артельную столовку. Первое время корчевали пни— готовили землю под пашню. В такую пору корчевать пни легче: водянистая земля ранней весной не так крепко держит корни.

Вскоре к нам приехал уполномоченный райкома партии Семен Федорович Метлин. Мы узнали от него не только о жизни всей нашей страны, делах и подвигах ее людей, но и о положении за границей, о борьбе рабочих и крестьян за рубежом, за лучшую долю, за ту самую долю, которую уже добыли себе мы — советские люди. Он говорил нам:

— Вы создаете артель, чтобы лучше жить и производительнее трудиться на родной земле; вместе со всем советским крестьянством вы творите историческое, большой важности дело, которое скажется во всем мире, и придет время—к нам приедут учиться крестьяне других стран.

Беседы с ним по вечерам у костра бодрили нас и так поднимали дух, что даже спать не хотелось. Мы готовы были слушать его всю ночь и, не ложась, идти по первой зорьке прямо на работу, но Семен Федорович говорил нам:

— Я вижу, что вы энтузиасты и готовы работать день и ночь, но поспать надо... Надо!

Мы уходили в сарай, ложились спать и слышали перед сном приглушенный голос Семена Федоровича:

— Хочешь, дед, я докажу, что ты счастливый человек!

— Чем же я, батюшко, счастливый-то?

Метлину почему-то особенно пришелся по душе Амплей Афошин. Он любил говорить с ним об охоте, о природе, часто шутил и ложился спать рядом со стариком.

— Чтобы быть счастливым,— четко продолжал Семен Федорович,— необходимо думать о счастье народа и работать на благо народа. Думать о счастье народа — значит любить его,— так говорил один великий мыслитель.

Амплей вдумывался в слова Семена Федоровича и неопределенно тянул:

— На то он и мыслитель, чтобы думать...

— Но ты не только думаешь,— развивал свое доказательство Метлин,— ты делаешь вместе с народом счастье, добиваешься счастья делом... Делом!

— Как же так?— старался понять Амплей.— Где же я его добиваюсь?

— Ты вступил в артель, а она принесет счастье не только вам, но еще и многим десяткам людей.

— А принесет?

— Обязательно! Ты старательно, дружно работаешь с товарищами, добываешь счастье вместе с ними и любишь их! Ведь любишь?

— Лю-юблю,— оживлялся Амплей.— Всей душой люблю. Мужики они хорошие!

— Стало быть, ты опять счастливый.

— Выходит, что так,— задумчиво заключал Амплей.— Вот гляди: счастье мне под старость пришло.

— Пришло, дед, пришло!— горячо говорил Метлин.— Берите его, развивайте, укрепляйте артель. Вы не одиноки, с вами все советское государство, с вами большевистская партия! Партия интересуется каждым вашим шагом и своевременно окажет помощь в любом затруднении.

Семен Федорович был из тех людей, которые во многом могут разобраться и многое умеют делать, а если что и не умеют, то быстро могут научиться. Он учил нас работать на машинах, которые мы получили от государства, советовал, где и что сеять, чем удобрять.

Когда кончался срок его пребывания у нас, мы уговаривали его остаться еще хоть на денек, а потом еще на денек, а, провожая, просили приехать опять. С безобидной усмешливостью Семен Федорович называл нас куликами, помня, что мы до перехода сюда жили на болоте.

Появляясь у нас вновь, он радостно здоровался со всеми и с весельцой, любовно говорил:

— Ну, как вы тут, черногубовские кулики, живете?

И еще упорнее мы работали в полях, и опять текли пламенные беседы по вечерам у костра, а перед сном на нарах опять слышался веселый, задорный голос Семена Федоровича:

— А хочешь, дед Амплей, я докажу, что ты бессмертен!

Старик теперь уже интересовался такими доказательствами. Он повертывался на другой бок лицом к Метлину и подзадоривал его:

— А ну, докажи!

И Семен Федорович уверенно и четко доказывал. Он говорил, что все сделанное Амплеем в колхозе не забудется. Потомки будут помнить, что Амплей Афошин участвовал

в организации колхоза, работал усердно, сделал то и то, а все это и станет его бессмертием.

Мы, конечно, хорошо понимали, что все это в равной степени относится ко всем нам, и еще сильнее проникались мыслью о важности того дела, которое свершали.

Семен Федорович Метлин работает теперь в области. Когда я бываю там, меня всегда невольно тянет заглянуть к нему. Он всегда искренно обрадуется, увидев меня, душевно поговорит, расспросит. Амплея Афошина он хорошо помнит и никогда не забудет спросить о нем:

— Счастливый-то старик жив ли?

— Жив.

— Привет ему передай. Замечательный старик.

Приветы Семена Федоровича до глубины души трогают старика. В его выцветших глазах блеснет иногда даже слеза:

— Вот человек!— восклицает Амплей: — Душа! А голова какая у него светлая. Когда еще мы спали с ним рядом в сарае, он мне, как дважды два — четыре, доказал, что я счастливый человек, и все по его словам точно вышло.

* * *

Да, незабываемы те дни, их радости и печали, трудности и заботы, волнения и надежды. Когда я вспоминаю их, мне приходят на память песенные слова: „И останутся, как в сказке". Да, останутся, как в сказке: и первая борозда, и первые всходы на общем поле, и вечерние беседы о будущем колхоза, и первые достижения коллектива ..

Я был тогда молод, любил Лизу, но она не дождалась меня, уехала в город. В сердце моем назревала укоризна, но за что же мне укорять ее? Неужели за то, что она уехала учиться.

Воспоминания мелькают и теснят друг друга. Но что в них? Вот, если бы Лиза вдруг появилась здесь! И мне немного начинает вериться, что Лиза может появиться здесь. Она такая решительная и горячая, что может неожиданно приехать сюда.

Весенний вечер. Мы поужинали. Колхозники ушли спать, а я сижу на полушубке у костра. Мысли мои разбегаются, в теле чувствуется легкость, кровь быстро бежит по жилам, сердце учащенно бьется. Соки земли, поднимающие буйную жизнь и любовь в природе, как бы проникают в меня.

В лесу, и там и тут, и где-то совсем близко токуют тетерева, над пустошью пролетели две утки. Ночная лесная окрестность клокочет тетеревиным квохтаньем, словно котел кипящей воды.

Я поднимаюсь, набрасываю на плечи полушубок и отправляюсь бродить по Будилихе и Озаровке.

Я хожу и стараюсь думать о том, что нам нужно делать в ближайшие дни, но образ любимой девушки не оставляет меня.

Долго шагаю по берегу ночной Прошвы. На реке то и дело слышатся всплески и расходятся широкие круги по воде. Это кормится рыба. Прошва богата рыбой. Вот бы нам достать сеть. Можно бы тогда по вечерам варить на костре уху.

Коротка весенняя ночь. Вон уже белеет восток. Еле переставляя ноги, я бреду поперек пустоши к сараю. Надо, все-таки, хоть немножко поспать.

Клочок белесого тумана, цепляясь за кусты, вздымается над землей, пересекая мне путь. За ним я замечаю очертания женской фигуры. Лиза? Откуда она? С полустанка? Что это — сон? Я давно не спал, устал и, может, сейчас хожу в полусне. Девушка приближается, но туман мешает мне разглядеть ее лицо. Лиза, конечно, может неожиданно приехать. У нее такой порывистый характер. Что будет со мной, если это Лиза? От радости у меня, наверно, подкосятся ноги. Но это, кажется, не она. У Лизы более легкая походка... И Лиза меньше этой девушки. Еще одно мгновенье, и вот из тумана выступает, приближается ко мне девушка, веселая, юная, улыбчивая, как сама весна.

Это Лена Сургучева! Она учится в городе, кончает нынче среднюю школу. Дочь дяди Феди. Девушка рослая, статная, в отца. Высокий, широкоплечий, сильный отец богатырем выглядел бы, если бы не сутулился. Она моложе меня лет на шесть. Ей сейчас восемнадцать или девятнадцать. Дядя Федя, помнится, говорил, что он только через год после окончания сельской школы смог снарядить ее в город учиться.

— Как ты сюда попала? — удивляюсь я.

— У нас завтра выходной, а я папу давно не видела!.. Я сюда прямо из города...

— Ты из города, а папа в город. Мы ссуду получили, он за семенами и за покупками уехал.

Девушка грустнеет: за пятнадцать километров примчалась к отцу, а его нет.

— Когда же он приедет?

— Сегодня ждем. Он еще вечером должен был вернуться, но что-то задержался. Сегодня должен приехать... Он знает, что нам семена дозарезу нужны, сейчас каждый час дорог.

Лена веселеет:

— Тогда я увижу его. А вы уже выспались?

— Я сегодня совсем не спал.

— А сейчас хотите спать?

— Нет. Да сейчас и некогда, скоро на работу.

— А знаете: такое чудесное время идет, что его жалко терять на сон. Я тоже сегодня не спала. Не хочется...

Длинный путь из города на Озаровку, очевидно, мало утомил Лену. Она свежа, энергична, весела:

— Посмотрим утреннюю реку?

В голосе девушки и вопрос, и просьба, и повеление. Властная нотка прорвалась довольно явственно.

— Пройдемтесь по берегу!.. Какие красивые здесь места. А река! А лес! Папа говорил, что здесь хорошо, но я никак не могла представить... А теперь вижу, что тут не только хорошо, но просто прекрасно... Кончится учебный год, я немедленно приду сюда и буду тут жить. Мне здесь очень нравится!

Иду рядом с Леной по холмистому берегу Прошвы, слушаю, отвечаю, вглядываюсь в нее и думаю:

„Милая девушка! сколько в тебе свежести чувств, радости жизни!"

— Эх, сейчас сюда бы нам удочки-и-и,— певуче говорит Лена.— Я выросла, как и вы, на болоте и ни разу в своей жизни еще не удила... Аксаков пишет, что это очень интересно! Достаньте удочки! В следующий раз, когда я буду здесь, можно бы пойти удить рыбу.

* * *

В полдень вернулся из города дядя Федя с Иваном Куделиным. Привезли семена, новые плуги, бороны, привели трех коров и пару лошадей.

Колхозники заметались туда и сюда, не зная, что сперва разглядывать.

Таких борон и плугов они еще никогда не видели: это были усовершенствованные сельскохозяйственные орудия. А семена-то чистые, крупные.

Амплей Афошин полюбовался и даже поцокал языком:

— Вот они, государственные-то!.. Чисто янтарные... От такого семя будет и хорошее племя.

Дядя Федя находил, что скот он купил удачно, и был доволен поездкой. Особенно хорош был небольшой конь, с крепкими ногами, с широкой грудью.

— Кругляк!— определил Амплей, любовно оглаживая ему шею, спину и бока.

Другая лошадь — высокая, вороная — не приглянулась: костиста и взгляд вялый.

— Эта неприглядна, но крепкая, работящая лошадь,— уверял дядя Федя.— Она послужит нам.

Амплей ощупал ее:

— Жила да кость, но в таких, верно, бывает сила...

— Вот эту корову за веселые глаза купил,— на радостях разглагольствовал дядя Федя.— Приглянулась она мне: голову держит высоко, глаза веселые, живые... Давай, говорю, Иван, купим, ноги от нее не отходят. Ну и купили. И хорошо сделали, раскаиваться, надо быть, не придется.

— Что и говорить: веселая коровка,— похвалил Амплей.— Ко двору нам придется.

— Дядя Федя,— спохватился я,— к тебе дочь повидаться пришла.

— А где она?

Мы нашли Лену за нашим жилищем. Девушка сидела, прислонившись спиной к стене, и спала. Раскрытая книжка лежала у нее на коленях.

— Вставай!— нежно заговорил отец.— В гостях не спят.

Лена проснулась, увидела отца и обрадованно улыбнулась ему.

* * *

— Весенняя ночь,— говорил Амплей,— только на птичьем коготке держится. Проснулась птичка, тряхнула ножкой, и — нет ночи. На то и весна.

Потухала вечерняя заря, а через час-полтора в белесой тьме загоралась утренняя, и опять наступал долгий трудовой день.

По берегам Прошвы цвела черемуха. И цвела так буйно, что берег Прошвы издалека казался длинным снежным сугробом.

Запах ее цветов смешивался с дыханием парной земли и кружил голову. Ярко зазеленел заливной луг, листья на деревьях были уже величиной с детскую ладошку и верхней стороной маслянисто блестели на солнце.

Купленный скот, высокосортные семена, новенькие плуги и бороны — все веселило колхозных новоселов. Они чувствовали себя спокойно, уверенно, трудились много и охотно, и вечером у костра с удовольствием вспоминали прожитый день. Сев шел успешно, жизнь наша стала многообразной и хлопотной. Послали подводы в Черногубово за семьями. И в тот же день перед вечером на Озаровку прибыл шумный обоз. Скрипели телеги, нагруженные домашним скарбом, скамьями, табуретками, столами, корытами. Позади возов шли женщины, переговариваясь между собой. Коровы, привязанные к телегам, брели устало, низко опустив головы. Подгоняя их дубцами, тащились старухи, бежали дети.

Обоз остановился. Колхозники приласкали детей, стали выпрягать лошадей, развязывать возы. Дядя Федя сказал женщинам:

— Располагайтесь!

Они осмотрели наше жилье и взгрустнули. Как тут располагаться, что делать, к чему прилепиться!

— Тут нам и жить?— придирчиво спросила Глафира, жена Тихона Зайцева.

— А где же больше!— вспылил муж.— Ты, может, думала, что мы здесь дворец воздвигли к твоему прибытию.

— Сейчас такая пора, что каждый кустик ночевать пустит,— утешил Амплей Афошин.— Вы под крышей поместитесь, а мы в шалаши перейдем. Так-то по-хорошему все у нас и пойдет.

— Мы живем трудно и неустроенно потому, что сразу два больших дела затеяли: и артель создали, и переселились,— сказал я женщинам.— Но мы скоро получше устроимся. Засеем поля, перевезем сюда избы и заживем хорошо. В других колхозах, конечно, куда лучше. Это уж мы такую трудность на себя взвалили: захотелось с болота на сухое место перебраться.

Женщины устроились и на другой же день принялись расчищать новые пространства пустоши под посев, а мы распахивали целину и засевали пашню высокосортными семенами.

Моя мать жила вместе с женщинами в сарае, приспособленном нами под жилье, а я с Амплеем Афошиным и дядей Федей обосновался в шалаше. За делами и хлопотами я редко видел ее, и меня больно укололо однажды сознание, что я совсем забыл свою старую мать. Как она себя чувствует здесь, что делает? Немедленно поднялся, чтобы повидать, поговорить с ней, а может быть и утешить. Отыскал ее на пустоши. Мать по-руку с молодыми сильными женщинами вырубала кусты ивняка.

— Тяжело тебе?— спросил я участливо.

— Что это?— удивилась она.— Взялся за гуж, так не говори, что не дюж. Потрудимся, поломаем спины, так за то будет чего ждать: эта земелька уродит.

Посеяли мы весной больше того, что вначале предполагали, потом взялись расчищать новые участки и поднимать землю под озимое. Решили посеять не только рожь, но и озимую пшеницу, которую в здешних местах крестьяне никогда не сеяли.

* * *

Невзгода началась с того, что заболели двое из троих детей Тихона Зайцева. Женщины принялись лечить больных домашними средствами.

В те дни Лена Сургучева, окончив среднюю школу, пришла к нам на Озаровку. На житье мы ее определили в сарай, к женщинам. Вскоре она вышла оттуда и обратилась ко мне:

— Вы заглядываете сюда?— начала она сурово и кивнула на сарай, и я не узнал в ней ту девушку, которая так весело и беззаботно весенней ночью щебетала о красотах Оза-

ровки, о рыбной ловле. — Что же это у вас делается? Вы так детей погубите... И взрослые заболеют... И некому будет убирать урожай.

— А что такое?— напугался я.

— Идемте со мной. Надо сейчас же принимать меры.

Больные дети Тихона Зайцева разметались на нарах. Мухи гудели над ними. Я увидел испитые лица детей, взлохмаченные волосенки, страдальческие взгляды. Дети смотрели на нас жалобно, умоляюще.

— Как вы допустили такое?— твердила Лена. — Разве так можно...

В ее словах и тоне, каким они были сказаны, звучала такая укоризна, что я растерянно стал оправдываться перед этой юной девушкой:

— Все время я в поле и в поле... Придешь поздно вечером, когда все уже спят... А сюда и входить-то неудобно: тут одни женщины. Они бы сами должны следить за чистотой...

— Эти ребятишки недавно еще бегали,— заговорила бабушка Арина Афошина, на попечение которой колхозницы оставляли своих детей, уходя в поле. Она сейчас сидела около детей и помахивала березовой веткой, отгоняя мух.

— По-вашему выходит, если ребенок еще может передвигаться, то он, значит, не хворает?!— подступила к ней Лена и вдруг резко повернулась ко мне:

— Вот они как рассуждают.

— Мы рассуждаем так, что им,— Арина показала веткой на больных детей,— занедужилось от переменной воды.

— От какой воды?— не поняла Лена.

— От переменной. В Черногубове одна вода, а здесь другая. Вот от перемены воды их и схватило.

— Больше так не говорите, бабушка!— сдержанно-строго проговорила Лена.— Это неправильно. Заболеть можно от грязной воды, а не от переменной. Но некогда говорить об этом.— Девушка резко повернулась ко мне.— Давайте немедленно подводу! В больницу их... В город! Я сама с ними поеду. Скажу, что лечение в наших условиях невозможно, а детей этих обязательно надо вылечить, чтобы не говорили, что в колхозе гибнут дети.

Лена опять повернулась к бабушке Арине:

— Здесь, пока я буду в городе, все вымыть кипятком!

Голос дебушки звучал властно. Ее уверенность, решительность оказали разительное действие на старуху. Та встала и поклонилась:

— Слушаюсь, матушка...

— Посуду всю прокипятить!

— Понимаю, матушка...

— Подстилки обварить кипятком, и на реку! Там выполоскать и выжарить на солнце. Дайте ей в помощь женщин!

— Сделаем, голубушка...

— Детей одеть в чистенькое, а с них все перестирать, и не просто пополоскать в реке, а кипятком... Давайте же подводу!

Перепрыгивая через пни, я выбежал в поле, сказал Глафире Зайцевой, чтобы собирала детей в больницу, выпряг из плуга лошадь. Вскоре подвода двинулась по дороге к городу.

— Лена, постарайся там!— крикнул я.

— Она сделает,— успокоил меня дядя Федя.— Она хоть и молода, а толкова.

Все, что велела Лена, в тот же день было сделано. Женщины почувствовали, что у нас появилась такая хозяйка, которая будет заботиться не только о своей, но и о всей большой колхозной семье.

Вечером дядя Федя, Амплей Афошин и я сидели у костра и ждали возвращения Лены из города.

Костер затухал. Темнота смыкалась вокруг его.

Наступала ночь, темная и душная.

Лес вокруг безмолвствовал.

— Дыхание что-то стесняет,— пожаловался Амплей.

Я расстегнул ворот рубахи: какая-то тяжесть давила грудь.

— Должно быть к дождю,— сказал дядя Федя.

— Дождика беспременно надо... Освежило бы... Люди полегче вздохнули бы, а то жарит и жарит,— говорил Амплей.— Первая жара с непривычки сильно томит...

В тишине донесся с дороги скрип колес. Мы встали и пошли туда. Встретили Лену и облегченно вздохнули.

— А мы тревожились,— сказал отец,— не приключилось бы, мол, чего с ней в дороге.

Лена сообщила, что в городе детей обещали вылечить, и вдруг резко спросила меня:

— А почему вы до сих пор избы из Черногубова сюда не перевозите? Что вы медлите?

— Работы много... Некогда... И тягло все занято.

— Избы во что бы то ни стало надо перевезти!— не слушая меня, продолжала Лена.— Люди живут скученно и могут заболеть... Доктор спросил, откуда и чьи это дети. Я ответила и рассказала, как мы здесь живем. Он тогда мне говорит: „Немедленно ликвидируйте скученность!“ Вот! Избы надо перевезти. Просите лошадей для перевозки в городе, в соседних деревнях, где хотите... Все можно сделать, если разъяснить людям.

* * *

Дядя Федя сказал мне:

— Ты поговори с этим самым Бесталанкиным как председатель. Он, гляжу я, что-то не в нашу сторону тянет...

Таланкин, которого у нас все звали Бесталанкиным, свою семью на Озаровку не перевез и часто уходил в Черногубово. Я стал подозревать, что он подослан к нам Кувшиновым и бегает осведомлять его о положении в колхозе.

— Ты или работай, как следует, или совсем уходи от нас,— прямо заявил я Таланкину.

— А я работаю,— с притворным простодушием ответил он.

— Если все так станут работать, так дело у нас ни на шаг не подвинется вперед. Ты зачем в Черногубово так часто отлучаешься?

— Хочется ведь, Павел Сергеич, своих-то повидать,— смиренно проговорил он, вздыхая.

— А почему ты семью не перевозишь сюда?

— Жена не едет. Она ведь у меня почти из благородных, на манер барыни... Отец-то у нее пономарем был. В бедности живем, а она все равно нос высоко загинает...

— Пономарь — невелик чин...

— А все-таки считался не мужик...

— А ты скажи ей, чтобы она нос высоко не задирала, а привыкала к честному труду, и перевози семью сюда.

Колхозники заметили, что Кругляк, самый лучший наш конь, повесил голову и стал худеть.

— Чахнет и чахнет,— вздыхал Тихон Зайцев, которого мы поставили конюхом.— День ото дня все хуже и хуже.

Потом колхозницы встревожились: новокупка — веселая корова, которой так хвалился дядя Федя, перестала давать молоко, а через несколько дней не смогла уже выйти на пастбище. Какой-то тяжелый недуг снедал ее.

Дядя Федя поугрюмел, ходил будто пришибленный и говорил мне:

— Неужели я купил хворых?.. Нет, не может этого быть!

Однажды утром, проснувшись в шалаше, я услышал шум, крики. Я вышел, огляделся. У загона, где по ночам стоял скот, толпились колхозники.

— Это наша, общая! Не тронь! Руки отрубим, если не выпустишь,— слышались женские голоса.

— Я всю весну... Труда сколь заложил,— срывающимся голосом басил Иван Поспелов.— Это мне за работу...

— И греха не заводи, Иван, а то мы тебя по руке-по ноге разорвем,— грозили колхозницы.

Рассвет хмурого дня уныло брезжил над лесом. Туман белел на опушке. Низкое серое небо сулило долгожданный дождик.

Оказалось, что Иван Поспелов с другом своим Власом Курочкиным собрались уезжать с Озаровки. Поспелов забрал свой скот, инвентарь и прихватил с собой телочку от колхозной коровы. Он держал теленка, крепко обхватив. Колхозницы разгибали его руки, стараясь высвободить телочку, но их усилия были тщетны: могучие руки Ивана, казалось, окаменели.

— Давайте сюда топор,— кричала Глафира Зайцева,— я ему лапы отрублю, раз нашего языка он не понимает.

Телушка смотрела на всех робкими карими глазами и время от времени жалобно взмыкивала.

— Павел Сергеич,— обратился ко мне Поспелов,— похерь меня в списке-то, я уезжаю. И Курочкин со мной...

— Почему же ты надумал от нас уходить?

— Так уж мы с Власом порешили... И жена требует... Вот! За своих ребятишек боится... Говорит: хворь, пожалуй, прихватят... И насчет своей коровы опасается: скот здесь стал валиться...

— Подумай! Спокаешься после... Невзгоды эти не навек, мы справимся с ними.

— Думал. И жена тоже вот... Порешили!

— Крепко?

— Да уж передумывать не станем.

— Ну, что ж делать, раскланяемся, значит; силой удерживать в колхозе никого не будем. Только ты телочку оставь, не беспокой, она не твоя, а колхозная...

— Не моя, но мне за работу... Я всю весну... Сколь труда положено, сколь пережито...

— Телочка колхозная, Иван! Телочку не тронь! Оставь ее... Оставь! Не послушаешься, увезешь, под суд отдам.

Поспелов посмотрел на меня, разжал руки и разогнулся.

Муж и жена Поспеловы сели в телегу, куда уже раньше забрались их ребятишки. Жена взяла вожжи и тронула лошадь. За Поспеловыми двинулись и Курочкины.

Выход из колхоза двух семей удручающе подействовал на колхозников. Они стояли понурые, молчаливые. В тишине пасмурного утра слышался только голос дяди Феди:

— Раз мы пошли по этой дороге, так с нее никуда не свернем! Чтобы ни случилось, мы останемся здесь! Не сойдем с этой дороги!

Я почувствовал, что колхозников в эту тяжелую минуту надо приободрить, и заговорил:

— Мы никогда не обольщали себя мыслью, что у нас пойдет все гладко. Мы затевали большое новое дело, зная, что оно без трудностей не обойдется, а потому нас не испугают и не собьют с намеченного пути ни болезни, ни выходы из колхоза. Болезни мы поборем, а те люди, которые сейчас уехали, поймут свою ошибку и вновь придут к нам и

попросятся в колхоз. Придут! А мы будем тверды и, не боясь трудностей, станем упорно добиваться здесь счастливой жизни!

Колхозники двинулись на работу.

Мы остались втроем: дядя Федя, Амплей Афошин и я.

— Глядите, братцы: речи-то речами, а дело-то наше к развалу пошло... Охотники последовать за Поспеловым и Курочкиным еще, пожалуй, найдутся,— сказал Амплей.

— Ты наскажешь!— вскинулся я на него.

— Погоди! Не кипятись!— остановил меня дядя Федя:— Мы сейчас отправимся в поле, а ты поезжай в город, заяви в райкоме о нашем положении и попроси, чтобы опять к нам Метлина прислали. И привези сюда еще ветеринара. Нам пугаться нечего, за нас партия и все советское государство.

Стал накрапывать дождик.

— Вот она, благодать пришла,— довольно проговорил дядя Федя и снял картуз, подставив голову под теплый дождь.

— Хоть полегче дышать-то станет,— жадно вдыхая влажный воздух, сказал Амплей Афошин.— И землю хоть немножко размочит, а то под озимое пашешь, а плуг обратно выскакивает.

* * *

Приехал ветеринар, осмотрел корову и решил, что надо прирезать ее. Мы препятствовать не стали. Он вскрыл ее и сказал:

— Кто-то дал ей кусок хлеба с булавкой. Сейчас составим акт. Ищите виновника.

Осмотрев Кругляка и расспросив Тихона о поведении коня во все дни болезни, ветеринар заключил:

— Этот, надо полагать, был отравлен, но не смертельно. Выпишу лекарство, может, еще поправится.

Райком партии опять прислал к нам Семена Федоровича Метлина. Я высказал ему все свои домыслы и подозрения.

Надо искать виновника в Черногубове,— заключил он.— Поедемте туда, следует взяться за вашего захребетника, а то он вам жизни не даст.

В Черногубове Метлин провел собрание крестьян, и они вместе с нами подписали приговор о раскулачивании Кувшинова. После собрания в колхоз вступило еще шесть хозяйств.

Когда мы заявились к Кувшинову, дядя Федя сказал:

— Никогда не думал, не гадал у тебя в гостях быть, а вот довелось.

Кувшинов злобно покосился на него.

Председатель сельсовета объяснил цель прихода и приступил к описи кулацкого имущества.

— Так вот, Пашка, — с трудом заговорил Кувшинов. В горле у него пересохло, и он после каждого слова откашливался.— Вот зачем ты в деревню пришел.

— Зачем по-твоему? — заинтересовался я.

— Чтобы хороших людей изничтожать.

— Напрасно ты причисляешь себя к хорошим... Мирские захребетники никогда хорошими людьми не были. Ты скажи лучше нам, кого ты заставлял наш скот губить?!

— Никого я не заставлял, он и без меня у вас весь передохнет.

Я разгорячился и хотел еще что-то сказать, но милиционер остановил меня:

— Не беспокойсь, председатель, он в городе все спокойно расскажет.

— Да, хорошо было чорту в дудку играть, сидя на болоте,—одну сломает, другую вырежет. Это я про тебя говорю,—обратился к Кувшинову Тихон Зайцев.— Места наши были глухие, темные. Ты здесь, что хотел, то и делал. Одного измотаешь, ограбишь, за другого принимаешься. Бывало и так — нескольких сразу.

Лицо Кувшинова скривилось в презрительную ухмылку.

— Федька Зайцев заговорил! Федька, которого раньше слушать никто не хотел, голоса его не было слышно на деревне, а я и за человека не считал. А ты, Михайло, что глазами хлопаешь?— накинулся он на дядю Мишу Сургучева.—Мужик ты достаточного состояния, зажиток имел, а связался с голытьбой, на меня вместе с ней пошел. Чем я тебе досадил? Что я тебе плохого сделал? Совести у тебя, Мишка, нет.

— Совести у меня побольше твоего,—с достоинством ответил Михаил Сургучев.—Я не опутывал крестьян, не обирал их, не заставлял на себя работать, а у тебя вся жизнь за этим прошла. Задумали мы артелью жить и трудиться, а ты нам подножку за подножкой подставляешь, прямо дух вон. Мы ведь все хорошо помним. Довольно. Нет у нас охоты падать и отступаться от начатого дела. Раз мы решили соединиться в артель, то и пойдем по этой дороге и всех, кто нам мешает, сметем со своего пути.

Я благодарно посмотрел на дядю Мишу: хорошо сказал, молодец!

Когда мы вернулись в Озаровку, нам сообщили, что Таланкин ночью скрылся из колхоза.

— Вот и второй виновник нашелся,—заключил Метлин.— Кувшинов повелевал, а подкулачник выполнял. Удар они сильный метились нанести: гибель скота, выходы из колхоза...

Подкулачника вскоре разыскали, но я не буду больше рассказывать о судьбе этого ничтожного человека, никому теперь это не интересно.

Семен Федорович Метлин организовал нам помощь рабочих фабрики „Авангард". В свой выходной день большая группа их приехала к нам на автомашине и помогла перевезти из Черногубова на Озаровку четыре избы. Мы поселили в них многодетных.

* * *

Были потом и жаркие дни, и дожди, и грозы, и бури, и ливни.

Хлеба росли невиданные. Сена накосили много. Весь луговой берег уставили островерхими стогами. Но особенно радовал урожай.

— Я давно топчу землю, но таких хлебов не видывал, — говорил Амплей Афошин. — Надо бы показать их тем, кто нам недоброе предсказывал. Порадовала нас Озаровка урожаем. Ну тут, стало быть, нам и жить, и счастье свое получить.

Первые колхозные радости теплились в наших сердцах. Мы уже чувствовали себя силой и знали, что теперь уже никто и ничто не собьет нас с колхозного пути.

Привезли ребят из больницы. В этот день Тихон и Глафира Зайцевы ходили, не чувствуя, кажется, земли под собой. Детям колхозников по случаю выздоровления их товарищей мы устроили скромное, но вполне праздничное угощение. Они шумливой стайкой орудовали за столом, а взрослые стояли поодаль, любуясь ими. Все были радостно взволнованы. Бабушка Арина, ласково оглядывая детские лица, с чувством говорила нараспев:

— Милые мои, опять вы все вместе... Не распорядись тогда Елена Федоровна, вы бы, может, и вольный свет покинули... Мы по темноте своей только охаем да ахаем, а она как глянула, так все и распознала. Потому — образование... Не зря советская-то власть школы везде строит, свет грамоты всем дает...

Колхозницы поручили Лене Сургучевой уход за их детьми. Она приучила детей вести себя культурно, умываться, мыть руки, во-время ложиться спать. Добилась она этого без окриков и строгости, мягко и требовательно. Прогулки на реку и в лес вместе с Леной были для детей праздниками. Дети всюду чувствовали ее заботу и любовь к себе.

Эта девушка сумела внести в наши временные жилища порядок и уют. Культурной хозяйкой стала она в нашей большой артельной семье. Чудесной хозяйкой она вошла потом в мою жизнь.

* * *

Был вечер, теплый и тихий. Мы вернулись с поля и собирались ужинать. Тишина торжествовала над полями. Амплей стоял у шалаша недвижимо.

— О чем ты задумался?—спросил я.

— Ни о чем... Хорошо здесь! Так бы век и дышал этим воздухом.

Из леса высыпали дети; за ними вышла Лена—все с корзинками грибов. Ребята гордились, что набрали так много.

Амплей Афошин, чтобы порадовать детей, всплеснул руками и крикнул дяде Феде, который отдыхал в шалаше:

— Федор, гляди, кормильцы-то наши сколь грибов нам на ужин принесли!

— Ты забыла, наверно, про удочки?—вкрадчиво спросил я Лену.

Девушка слегка зарумянилась и скромно опустила взгляд.

— Я — нет. Может вы забыли?

— И я нет. Надо бы собраться...

— А это от вас зависит.

Дядя Федя вышел из шалаша и похвалил ребят. Они наперебой принялись ему рассказывать о своем походе за грибами.

— Сейчас всех угостим,— сказала Лена. Она по-особенному сегодня оживилась, позвала несколько женщин к костру и вместе с ними стала чистить грибы. Ребята, помогая им, говорили:

— Мы это для колхозной столовки набрали.

Амплей долго смотрел на Лену. Потом подошел ко мне и шепнул:

— Хороша! Пригожа!

Девушка на самом деле была хороша.

Голос ее, тихий и мягкий, ласкал и успокаивал. Скромный взгляд, округлый подбородок, правильный нос, брови высокие, дужкой, делали ее лицо приветливым. Пышные волосы и широкий лоб придавали ей одухотворенный вид.

Своим обаянием она даже покоряла женщин, постоянно озабоченных и усталых. В отношениях с ней они всегда были ласковы и предупредительны.

Лена навсегда осталась жить в Озаровке.

* * *

Поспелов и Курочкин вернулись.

Они подгадали приехать поздно вечером, когда все улеглись спать, чтобы избежать насмешек, колких замечаний со стороны колхозников, меньше испытать стыда.

К нам в шалаш заявились ночью.

— Мы с повинной,— в один голос заявили они. Потом начали раскаиваться, перебивая друг друга:

— Толкнул нас тогда нечистый...

— Пораздумали мы потом и видим, что не то сделали...

— И видим, что работается нам теперь в одиночку не так...

— И кажется нам, что все у нас идет неладно, неладно и неладно. Так-то нас нечистый подвел.

— Каким-то нечистым решили загородиться,— поморщился дядя Федя.— Какие невинные, темные мужички... Вы ведь не с маленькими разговариваете! Я еще весной упреждал вас, что надо выстоять, а вы не выстояли.

— Не выстояли,— признался Поспелов.

— Не выстояли, испугались трудностей, поддались на уговоры кулака,— громко и сурово продолжал дядя Федя.

— Испугались и поддались, — согласился Влас Курочкин.

— А что он вам сулил? Что он вам говорил?— дядя Федя почти кричал. Поспелов и Курочкин молчали.

— Вы не отмалчивайтесь, вы нам откровенно скажите, что он вам говорил! — требовал дядя Федя.— Все равно вам на собраньи придется открываться. Без собрания мы вас обратно не примем.

— Он сказал, что колхоз до осени не протянет,— сообщил Поспелов.

— Говорил, что все здесь прахом скоро пойдет,— добавил Курочкин.

— „До осени не протянет“,— повторил дядя Федя.— А мы здоровеем, в силу входим. Вон какой урожаище-то спеет!— Дядя Федя оставил Поспелова и обратился к Курочкину:— „Прахом пойдет“... Он верно—пошел прахом, а мы утвердились и полным ходом вперед пошли.

* * *

В том году мы собрали большой урожай и сразу же после уборки принялись заготовлять лес и перевозить остальные избы из Черногубова. Ставили их сами, пришлось нанять только несколько столяров и печников.

К зиме на Озаровке выросла целая деревня, и мы зажили здесь так, как еще никогда не живали.

Тракторы и различные сельскохозяйственные машины с каждым годом все больше и больше облегчали труд колхозников, высвобождая рабочие руки. Мы расширяли фермы, заводили мастерские, строили, становились зажиточными.

Впоследствии к нам переехали все черногубовцы.

— На вашей стороне правда оказалась,— говорили они.— Как вы толковали тогда, так и вышло: все из Черногубова к вам переехали.

— На готовенькое прибыли,— говорила резкая на слово бабушка Арина Афошина,— а каково нам здесь начинать-то пришлось.

* * *

Давно то было.

Прошло с тех пор без малого двадцать лет.

Я не берусь описывать наши труды и достижения за это двадцатилетие. Слишком много нужно места и времени, чтобы рассказать, как наш колхоз рос, богател, обзаводился все новыми и новыми машинами, фермами, становился коллективом культурных людей и культурным селением, маленьким городком в глухом углу среди полей и необъятных лесов.

Такой труд мне не по силам.

Вспомнив немного о нашем переселении на Озаровку и создании здесь большого артельного хозяйства, я сразу перейду к нашим дням и расскажу об одном событии.

Началось с того, что ко мне в правление пришел дядя Миша Сургучев. Второй десяток лет он заведует колхозной конюшней, считается хорошим специалистом по коневодству, работает прекрасно.

В правление дядя Миша заходит редко, только по важным делам, а поэтому я жду, что он скажет что-нибудь значительное.

Дядя Миша присел к моему столу, закурил и заговорил как бы между прочим:

— Александра Шарапова заходила ко мне насчет лошади в город съездить...

Изумленно смотрю на него и молчу. Дать лошадь колхознику для поездки у нас может бригадир или сам дядя Миша; разрешения председателя на это не требуется. Лошадьми после войны мы вновь развелись и недостатка в них у нас сейчас нет.

Дяде Мише понятно мое безмолвное изумление. Он после долгой паузы поясняет:

— Тут особое дело! Оттого я и зашел к тебе. Может быть, думаю, тут некоторая политика требуется?! К Александре Шараповой дочь из города едет... Человек образованный... Может парадный выезд приготовить?! Она орденоносец и...

— Кто, говоришь, едет? Лиза? Откуда она взялась?

— Мать говорит, что всю войну была на фронте врачом, потом еще долго оставалась в армии, а теперь демобилизовалась и переправилась в город, где училась. До войны, говорит мать, много раз писала обещания приехать и только вот теперь собралась. Хочет повидаться с матерью — все очень понятно.

— Понятно,— повторяю я и говорю.— Надо заложить Курда!

— Мне думается, что так,— подхватывает дядя Миша.— Она ведь наша... И девушка, я помню, была умная. И вот достигла своего: образование, ордена...

Курд — гордость нашей конефермы. Мы используем его только для парадных выездов, только для таких поездок, когда надо показать себя, поддержать честь колхоза.

— Кучером с тетей Сашей,— добавляю,— пошли самого лучшего конюха!

— Известно, что Курда я доверяю только тебе, Тихону Зайцеву и себе... Курду ведь цены нет...

— Вот пусть Тихон и съездит.

— Нет, я сам... Надо проветриться и уж прокатить, так прокатить гостью. Человек, опять сказываю, она высокого образования, не прежняя Лизутка Шарапова. Надо показать ей, что и мы не прежние, не бывалошние... Да, да! Тут некоторая политика есть! Вот за этим я только и приходил. Занимайся, больше мешать не буду. Пойду. Пора ехать.

Я смотрю в окно. Дядя Миша медленно и важно шествует к конному двору, будто уже сейчас собрался показать гостье, что не прежний, не бывалошний черногубовский мужик. Сейчас он с помощью конюхов заложит в пошевни Курда (его выводят из стойла вдвоем) и махнет на нем к дому тети Саши Шараповой. Там усадит ее в пошевни и повезет на станцию встречать дочь.

* * *

Лиза! Далекая юность! Бедное Черногубово! Жалкие поля и болото.

Мои первые мечты о светлом будущем и моя первая любовь!

Лиза! Моя первая большая радость и первая большая печаль.

Первые годы после окончания гражданской войны. Я был еще очень молод, но работал уже „вполне за мужика", как говорили тогда в деревне.

Весенним вечером, вернувшись с пашни, я распрягал лошадь у своего двора.

За углом нашей избы на один миг показалась девушка и тут же отпрянула. Я узнал в ней Лизу Шарапову, нашу черногубовскую девушку, мою ровесницу.

В деревенской школе мы учились с ней в одном классе, сиживали на одной парте.

Она была очень способной девочкой, знания, кажется, сами шли к ней... И была она еще бойка и задириста, со многими ребятами ссорилась, но со мной всегда была ласкова. Я тогда уже замечал, что она относится ко мне не так, как к другим.

Сейчас я уже считался парнем, а она девушкой невестой. О школьной непосредственности в отношениях между нами и помину не было.

Лиза вновь показалась из-за угла. На этот раз она подошла ко мне, смущенная и трепетная. Подошла близко, заложив одну руку за спину, вскинула голову и глянула мне прямо в глаза.

Ее смущение передалось мне, и я спросил срывающимся голосом:

— Что-о?

Лиза отвела из-за спины руку и протянула мне книжку:

— Ты читал?

— Не-ет...

— Прочитай! Такая, понимаешь, книжка...

Лиза отдала мне книгу, улыбнулась ласково и зазывно и скрылась опять за углом.

После ужина я сел за книгу и провел за ней всю ночь.

Рассвело. Пастух заиграл на рожке. И только тогда я догадался погасить лампу. Потом я увидел в окно: мужики потянулись в поле с боронами и плугами. Я сунул книгу в карман, чтобы дочитать на полосе, и пошел запрягать лошадь.

Второй раз мы встретились в сенокос.

Я шел лесом с косой на плече. Лиза собирала ягоды на опушке. Мы неожиданно столкнулись за кустом, отпрянули в первый миг друг от друга и несказанно обрадовались. Тоненькая, юркая, быстроглазая, она показалась мне такой чудесной, такой пригожей, что я не мог вымолвить ни одного слова, а только смотрел на нее во все глаза.

Лиза, заметив мое странное состояние, метнула на меня быстрый взгляд и спросила:

— Испугался?

— Не-ет...

— А почему же ты такой?

Мы стояли друг перед другом в неловком молчании. Первой овладела собой Лиза и распорядилась:

— Бери ягоды!.. Тут их ковер-ковром...

Я поспешно повесил косу на молодую березку, сорвал с себя кепку и в нее стал собирать ягоды.

— Приметь березку-то, а то косу не найдешь,— предусмотрительно посоветовала Лиза.

Я пристально оглядел все вокруг, чтобы заметить это место, но кроме Лизы, кажется, ничего не видел. Ее смуглая кожа густо загорела, темные волосы над высоким лбом выцвели на солнце и светом своим напоминали сосновую кору. Лиза гибко склонялась и быстро-быстро собирала ягоды. Не отрываясь от дела, она спросила:

— Книжку прочитал?

— В тот же день...

— Почему же до сих пор не вернул?

— Некогда.

— Знаем это некогда... Говори прямо, что не смеешь!

„Почему же, верно, я не возвратил? Все собираюсь отнести и никак не соберусь. А ведь, пожалуй, Лиза права“,— мысленно согласился я, но не хотел ей признаться в этом и недовольно ответил:

— А чего тут не сметь-то?

— Не смеешь, не смеешь,— поддразнила Лиза.— Боишься, что смеяться над тобой станут...

— А сама тогда из-за угла еле решилась выйти,— напомнил я.

Сквозь густой загар на ее щеках пробился темнокрасный румянец, напоминающий вишневый сок.

Она резво разогнулась, тыльной стороной ладони откинула с виска тяжелый виток волос:

— Не смела, а потом решилась и подошла, а ты не можешь решиться... Не можешь!

Я понял ее: она хотела, чтобы я был смелым и дружил с ней открыто.

Шел тогда тысяча девятьсот двадцать пятый год. Наше глухое Черногубово по-старинке еще не признавало такой дружбы. Встречи и прогулки парня с девушкой наедине решительно осуждались взрослыми и вызывали насмешки товарищей и подруг. Молодежь встречалась и гуляла только в общей компании. Такой обычай соблюдался в нашей местности с испокон веков.

Я решительно заявил:

— Ничего не боюсь и сегодня же принесу!

Лиза, видно, только того и добивалась.

— Посмотрим,— примиренно проговорила она.

От разогретого жарким сенокосным солнцем болота исходил дурманящий запах пахучих трав. От этого запаха у меня кружилась голова, и я никак не мог найти косу, повешенную на молодую березку. Вокруг стояло множество березок, похожих на ту.

Лиза разыскивала вместе со мной пропавшую косу, шла рядом, и от ее близости у меня еще сильнее кружилась голова. Кусты, березки, осинки, цветы подымались в моих глазах над землей, колыхались и плыли передо мной, а Лиза, оступаясь в мягкой траве болотной окраины, касалась плечом моего плеча и твердила:

— Я говорила тебе: запомни березку! Говорила ведь, говорила?

Наконец, она нашла косу и ласково пожурила меня:

— Вот слепой... Если бы не я, без косы тебе пришлось бы домой идти.

В деревню мы шли вместе, людной дорогой, и медленно, как бы всем напоказ, и спорили.

Лиза уверяла, что можно прожить, питаясь одними ягодами, а я не соглашался.

— А хочешь я докажу, что проживу на одних ягодах?— задорно заявила она, блеснув глазами.

— Не хочу. Заболеешь, пожалуй, а мне тебя жалко.

— А вот и не заболею.

— Зачахнешь и высохнешь, как былинка осенью.

— Нет, не высохну.

— Не надо, не надо,— решительно запротестовал я.— Какая неволя себе здоровье портить! Мне хочется беречь тебя, а ты придумала одними ягодами кормиться.

Лизе, видно, по душе пришелся мой протест, она покорно посмотрела на меня и тихо проговорила:

— Ла-адно, не буду.

Я впоследствии много раз вспоминал этот наивный полудетский спор (до чего ж мы тогда молоды были) и покорно-послушное, милое, как воркование голубки, „ла-адно"; вспоминал предусмотрительное „запомни березку" и назидательное „говорила ведь, говорила". Тогда я не придавал значения этим словам и только впоследствии понял, что в характере юной девушки проглядывали уже черты будущей заботливой, ласковой жены, которая была бы в семейной жизни и предусмотрительна, и властна, и послушна.

Вечером я принес Лизе книгу на дом и просидел у Шараповых часа два. Пересилив несмелость раз и навсегда, я стал навещать Лизу часто, и подростки кричали вслед, когда я направлялся к дому Шараповых:

— Шараповский зя-я-ять.

И мужики на сходках, когда нужно было составить какую-нибудь бумагу, говорили:

— А вон шараповский зять напишет; у него писанье складное.

Так прошел год, и другой; дружба наша переросла в большую любовь. Нас тянуло друг к другу, и мы встречались каждый день то и дело: и в деревне, и в поле, и на гулянках.

Потом призвали меня в Красную Армию, назначили на Балтийский флот. „Шараповский зять" гордился этим, но Лиза замкнулась в себя и загрустила. Я добился от любимой обещания дождаться меня, не выходить здесь замуж. Она обещала твердо.

Само собой разумелось, что она будет меня провожать, но ни на улице Черногубова, ни на вокзале Лиза не появлялась. Я проглядел все глаза, истерзался сердцем. Самый дорогой, самый любимый человек не вышел меня проводить.

Я почувствовал себя огорченным, обиженным. На меня напала тяжелая рассеянность, и мне стоило больших трудов,

чтобы быть внимательным с матерью и поддерживать разговор.

Последний звонок, а Лизы нет и нет. Поезд сейчас тронется. Все. Так и нет ее. Я наскоро простился с матерью, прыгнул в вагон. „Не пришла,— с сердцем подумал я, и от обиды слезы навернулись у меня на глазах.— Из-за нее я и с мамой простился кое-как, и чувствовал себя плохо. Она, конечно, материнским сердцем разгадала мое состояние".

Поезд тронулся, исчез вокзал, мелькнула водокачка, колеса застучали часто-часто. Я стоял у окна, смотрел на родные леса, охваченные необъятным пламенем листопада, думал о Лизе, а колеса выпевали мне: не пришла, не пришла, не пришла... Они всегда угодливо напевают пассажиру то, вокруг чего вертится в это время его мысль. Не пришла! А я теперь долго не увижу ее, очень долго.

Вдруг кто-то сзади ласково, чуть-чуть, еле ощутимо потянул меня за рукав. Я вздрогнул и обернулся:

— Ли-иза!

Она стояла передо мной раскрасневшаяся, веселая, видимо очень довольная своей проделкой.

Она приблизила свое лицо к моему лицу и, смеясь глазами, спросила:

— А ты думал, что я не приду!?

— Я думал, что ты меня забыла проводить.

— А вот и не забыла... Разве я могу забыть..

— Я глядел-глядел, ждал-ждал...

— Я знаю, что ждал.

— Откуда ты здесь взялась? Почему не хотела проводить в деревне, на вокзале?

— Я решила проводить тебя одна! По-своему! Не могу я расставаться с тобой при людях... Я ведь не жена... Я решила расстаться с тобой без посторонних глаз, сказать тебе ласковое слово, поцеловать на прощание последний раз...

— Почему последний раз?

— А мы ведь долго теперь не увидимся.

— Долго, но, все-таки, увидимся! Ты подождешь, я вернусь...

— Я подожду, ты вернешься,— медленно повторила Лиза, как бы вдумываясь в эти слова.— Тебе хорошо так говорить, ты—счастливый, я завидую тебе!

— Чем же я счастливый?

— Тем, что уезжаешь. Тебя там будут учить, ты увидишь большую жизнь, мо-оре! большие города!..

— А ты, выходит, несчастная?

— А что я... Опять у меня все то же: деревня, болото, лес... Завывание ветра, лесной шум, болотные огни...— Лиза склонила мне на плечо голову:— Нет, ты вернешься, а меня, пожалуй, здесь не будет!

Я насторожился:

— Почему? Куда ты денешься?

Лиза почувствовала в моем голосе тревогу и, чтобы успокоить меня, жарко прильнула ко мне и деланно весело рассмеялась:

— Меня здесь скука съест.

Впоследствии я понял, что она тогда хотела сказать большее, но не решилась меня огорчать и в последнюю минуту свернула в сторону.

— А ты не давайся, тогда — не съест. Годы пройдут незаметно, приеду — женюсь.

— На ком? — Лиза вопросительно вскинула на меня взгляд. Она хотела, чтобы я подтвердил еще раз то, что ей неоднократно уже говорил.

— Есть тут у меня одна чернявенькая на примете. — Я нежно тронул ее черный локон, выбившийся из-под платка.

Она задумчиво улыбнулась. Помолчали. Подумали.

— В деревне жить не будем! — вдруг резко и твердо сказала Лиза, нахмурив свои густые черные брови: — в город уедем!

— Нет, мы будем жить в деревне! — так же резко возразил я.

— Нет, в городе!

— Нет, в деревне! Я люблю деревню...

— А я хочу в город!

Я смешался на миг.

— Что — нашла коса на камень? — спросила Лиза. — Как тут быть?

— Очень просто: мы деревню превратим в город.

— Ну, это ты картинок нагляделся... Плакатов, я хочу сказать...

— Картинки эти я люблю смотреть и думаю, что все это мы сделаем в жизни.

— А кто это мы?

— Хотя бы мы с тобой.

— Вдвоем?

— Вместе со всеми.

Поезд замедляет ход. В окне мелькнула крыша полустанка.

— Деревню превратим в город, — вслух думает Лиза. — Ловкий какой. На словах-то легко, а вот на деле...

Поезд останавливается. Лиза быстро устремляется к выходу из вагона. Я — за ней.

Вот она спустилась на первую ступеньку, вскинула мне руки на шею и поцеловала долгим, крепким поцелуем.

Я хотел привлечь ее к себе, но она отстранила мои руки и легко спрыгнула на песок.

Поезд тихо тронулся дальше. Лиза помахала мне рукой и крикнула:

— Вот как я далеко уехала...

В голосе ее я уловил что-то трепетное.

— А как же теперь домой?— крикнул я.

— До тё-ёмки дойду-у...

Лиза порывистым движением приподняла над головой платок и опустила его на плечи, будто ей стало жарко. Потом она стремительно подалась вперед по направлению поезда, хотела что-то еще крикнуть, но вдруг резко отвернулась, и мне показалось, что плечи ее вздрогнули. Неужели она заплакала? О чем? Я льстил себя мыслью, что обо мне.

Это была наша последняя встреча в молодости.

На всю жизнь остался у меня в памяти этот день. Приглушенное погромыхивание колес отходящего от полустанка поезда; низкое небо пасмурного дня; последнее тепло поздней осени; темное кружево галочьей стаи над убранными полями; удаляющаяся фигура девушки — все помню и не могу забыть.

Если бы я владел кистью, я нарисовал бы эту величественную картину багряной осени, и это огромное серое небо, и поезд, уносящий меня к большой жизни, и мою любимую девушку, удаляющуюся к своей судьбе. Я нарисовал бы эту картину для себя; и вспоминал бы это самое большое, самое знаменательное перепутье дорог моей молодости.

Я часто писал ей. Лиза охотно отвечала. Она жила в глуши и в своих письмах описывала незначительные случаи серой жизни единоличной еще тогда деревни и свое черногубовское житье; жаловалась на скуку и свою неустроенность. Этой девушке было много дано, и ей хотелось развить и применить на пользу людям свои способности.

„Я все думаю и думаю о нашем разговоре в вагоне,— писала она мне в одном из писем.— Ты хочешь превратить нашу деревню в город. И я хотела бы этого, но что я — незаметная деревенская девушка — могу поделать здесь. Вместе с тобой я могла бы многое сделать, но тебя нет около меня и долго не будет.“

Меньше чем через год — следующим летом она неожиданно сообщила, что уезжает в город учиться. Дальше она на правах влюбленной и любимой буквально повелела мне после службы немедленно отправляться на учебу и называла на выбор несколько учебных заведений, в которые я мог бы поступить, сообщала, какие там условия и сроки учебы; строила предположения, где и когда мы можем встретиться.

В конце она восторженно изобразила нашу окончательную встречу в будущем, когда мы, получив образование, съедемся работать в один какой-либо город (она перечислила на выбор несколько городов) и заживем счастливо.

В ответном письме я не обвинял ее ни в чем, не порицал (обещание свое не нарушила, а за стремление учиться осуждать нельзя), писал даже, что поступила похвально.

Но, все-таки, ее решение уехать в город, признаться, огорчило меня, хотя, уезжая из Черногубова, я верил и не верил обещанию Лизы дождаться меня в деревне. Сердце хотело верить, а сознание подсказывало, что такая способная девушка, девушка порывистая, с огоньком в душе, не усидит в глухом болотном Черногубове. Но самолюбие мое было затронуто и дало себя знать в последней части письма, где я, по моему мнению, довольно тонко намекнул, что сам способен подумать о своем будущем, а в конце пошутил, написав, что, дескать, „нельзя запрячь в одну телегу коня и трепетную лань".

Хотя о способности определить свое будущее я сказал в письме, на мой взгляд, очень мягко и осторожно, но для Лизы, очевидно, это прозвучало вызовом. Она, видимо, только так, а не иначе и поняла мои слова и больше не написала мне ни одной строчки.

Служба моя во флоте проходила успешно; там я получил много знаний, несколько квалификаций (электрика, радиста, моториста) и впоследствии использовал их во всех отраслях колхозного строительства.

Электричество, телефон, радио в колхозе, все техническое оснащение нашего хозяйства (как бы это сказать покруглее и поскромнее, чтобы не показаться хвастливым) имеет некоторое отношение к моим знаниям, а следовательно, и к нашему флоту.

Сколько лет прошло с тех пор, как мы простились на полустанке? Я припоминаю, прикидываю даже на бумажке. Ого! Получается кругленькая цифра.

* * *

Утром появился в правлении дядя Миша и, как бы между прочим, сообщил, что гостью доставил благополучно.

Я попросил его присесть и рассказать, как съездил.

— Вот уж прокатил, так прокатил,— с удальцой в голосе начал дядя Миша.— И сам очень хорошо проветрился. Когда Курд шел полной рысью, так Александра Шарапова умоляла меня оставить ее душу на покаяние...

— А Лиза?

— А Лиза смехом заливается да спрашивает: „Дядя Миша, а еще быстрее можно?" — „Можно, говорю, но тогда Курд вдребезги разнесет все... Пошевни не выдержат..."

Мне хочется узнать больше о Лизе:

— Она, стало быть, не боится?

— Разве ее испугаешь... Она такая же огневая, как и была. И веселая... Обо всем любопытствует... Закидала меня вопросами...

— О чем спрашивала?

— О колхозе, о людях, которых помнит...
— А как выглядит?
— Почти такая же...
— Не может быть?!
— Ну пополнела немножко.
— И постарела, наверно?
— Невдомек что-то мне... На морозе-то разрумянилась, так ровно девушка... Ну, одета во все хорошее и по фасону. В пальто с пышным воротником, в шляпке, в туфельках с калошками... Уж мы с Александрой кутали, кутали ей ноги и голову...

После ухода дяди Миши я посмотрел в окно; вот сейчас выйдет Лиза и направится в дом правления, но у избы Шараповых никаких признаков жизни, только холодный ветер обстругивает сугроб, завивая кудри снежных стружек.

Мне хочется видеть Лизу. Несколько раз я порываюсь встать и запросто отправиться к ней, но что-то останавливает меня.

В обеденный перерыв ко мне заходит дядя Федя.

С первых лет создания колхоза он является главным нашим животноводом. Под его началом все фермы с рогатым скотом, свиньями, овцами.

Дядя Федя — душевный старик, умница; он всегда скажет что-нибудь значительное, интересное или смешное. Я жду. О чем он пришел сказать? О кормах, о приплоде, об удоях?

— Женщины у меня сегодня спор затеяли,— нехотя начинает он.

— О чем?

— Да вот насчет гостьи. Одни говорят, что ты первый навестить должен: она уважения заслуживает, а другие стоят на том, что она должна. Спорили, спорили, гляжу — ко мне идут. Как по-твоему быть, дядя Федя? Он, мол, председатель, а поэтому в лице его ей следует почтить весь наш коллектив. Тут доярка Микина и говорит: „А если она не пойдет?"—„Это уж, отвечают ей, дело ее..."

— Какие тонкости,—усмехаюсь я.

— Тонкостей, братец мой, в жизни много.

— Может посольство снарядить?

— Посольство не посольство, а повидаться вам как-то надо. Все это понимают...

— Почему надо? Дел к председателю колхоза у нее никаких нет, она просто приехала повидаться с матерью...

— Не затуманивай ты мне ясный вопрос.— Дядя Федя кладет себе на грудь руку:— Я же пришел поговорить по душам. Вы росли вместе, гуляли, ухаживали друг за другом... И вышли оба в люди... И надо вам повидаться, поговорить...

— Надо!— тихо отвечаю я.

— Вот про то я и говорю, что надо. И надо так, чтобы получилось хорошо, душевно, по-советски...

Дядя Федя поднимается со стула и застегивает на себе пальто.

— Лиза, наверно, зайдет сюда; она ведь сообразительная...

„Тонкости, тонкости,— говорю я себе: — В жизни не так-то все просто... Тебе вот хочется к ней пойти, но что-то останавливает. У тебя есть жена, дети! Ты любишь их всех. Она подумает: не успела, дескать, Лиза приехать, как он со всех ног бросился к ней. Хорошо это? Нехорошо. Огорчит это ее? Огорчит и может внести непогодь в семейную жизнь.“

* * *

Дни стояли холодные, но уже все мы ждали приближения весны и готовились к весеннему севу. В амбарах сортировали зерно, протравливали семена; яровизировали семена; готовили удобрения, в мастерских ремонтировали к весне инвентарь. Там то и дело вспыхивал, потрескивая, слепяще-синий огонь электросварки. На молокозаводе шумел сепаратор, на фермах принимали новорожденных, чистили, кормили, поили скот. В обычных хлопотах и заботах проходили будние дни.

Из овчарни зашла колхозница Нина Гостилова и сообщила, что одна овца в ее группе принесла пять ягнят.

— Это бывает не часто,— радовалась Гостилова,— только на таких фермах, где поставлено дело...

Из города звонил Евгений Поспелов, заведующий нашей механической мастерской, сын Ивана Поспелова. Там, видите ли, одно учреждение недорого продает грузовой автомобиль.

— Куда его... Он разбитый, наверно...

— Сварим, починим, станет не хуже нового.

— У нас же есть две автомашины,— продолжал я, чтобы охладить его приобретательский пыл.

— Нам не то что двух, а скоро и пяти мало будет.

Мы много сделали, много всего понастроили, но каждый у нас знает, что нам во много раз еще больше надо сделать, построить. Мы мечтаем ввести электропахоту, электродойку, поставить на огородах дождевальные установки... Да мало ли всего мы собираемся сделать, всего не перечислишь.

— Бери,— соглашаюсь я,— но только, чтобы машина была как новая!..

— Сделаем!— уверяет он.— У нас мастера не хуже городских...

Городские, город — эти слова постоянно мелькают в наших разговорах. С городом мы связаны крепко.

Почти каждый день кто-нибудь из наших колхозников бывает в городе по делам артели. А сколько нашей молодежи находится там в средних и высших учебных заведениях и на различных курсах!

В правление заявляется дядя Федя. Ничего интересного он сегодня не рассказывает, о тонкостях человеческих отношений, видимо, совсем забыл; он расстегивает пальто, присаживается к столу и требует концентратов:

— У меня концентраты на исходе, а снижать удои я не намерен. Посылай в город!

В городе у нас овощной ларек. Звонит его заведующая:

— Наши овощи здесь хорошо идут! Запасы иссякают, засылайте новый обоз.

Вот кстати. Кладовщик наших овощных и картофельных хранилищ получает распоряжение отправить очередную партию овощей. Возчики уезжают с наказом ничего не поморозить в дороге, а в обратный путь захватить концентраты.

Потом приезжает председатель отдаленного колхоза с просьбой поменять беспородное зерно на наше высокосортное. Другой сосед просит принять двух пареньков на выучку в мастерскую, чтобы потом иметь своих мастеров.

Соседи к нам ходят учиться, заимствуют наш опыт; мы учим, но и сами учимся по книгам и на кружковых занятиях, ездим набираться ума-разума в далекие, прославленные колхозы.

За делами и разговорами я на время забывал о Лизе, но потом вновь вспоминал, и с досадой думал: „Нейдет. Не увидимся".

Уходя из правления в мастерские, на фермы, в амбары, я сказывал счетоводу, куда иду, и просил немедленно известить, если заглянет сюда Елизавета Алексеевна.

„Неужели она не придет?— в сотый раз спрашивал я себя. — В конце-концов я пойду к ней; надо же повидаться, ведь детство, отрочество и юность провели вместе, ведь любили..."

Вечером счетовод подал мне записку; я с нетерпением развернул ее. Наконец-то!

„Павел Сергеевич,— писала Лиза,— эти дни я здесь отдыхаю, веду бесконечные разговоры с мамой, с подругами детства, которые забегают ко мне повидаться, но перед отъездом мне надо взглянуть на тебя, перемолвиться с тобой, а потому зайду завтра часов в десять утра."

Отправляясь вечером домой, я невольно обвел взглядом в правлении столы, стулья, стены, потолок.

Счетовод понял меня.

— У нас прилично,— заверил он,— не стыдно человека принять. Пол у нас в правлении примывают каждое утро, печи топят на совесть, а остальное завтра мы (он кивнул

на свою помощницу Надю) доделаем. Придем пораньше и наведем чистоту. Палехский прибор надо поставить! Махорочного дыма, чтобы ни-ни... Она ведь врач!..

— Сообразишь тут...

— Сообразим!

На другой день я приоделся и отправился в правление.

Зимний день. По улице стелется поземка. Свищет ветер в проулках между домами. За ними покатое поле. По нему разбросаны ветки для того, чтобы задерживался снег. Поземка, ударяясь смаху о ветку, вздымается вверх и курится, словно дымок полупотухшего костра.

Таких дымков на необъятном поле — тысячи.

Утро проходит быстро. Вот уже десять. Сейчас здесь будет Лиза. Пять минут одиннадцатого. Минуты начинают казаться бесконечными, время как бы застывает. Вот уже десять одиннадцатого...

Я не увидел, а почувствовал, что в доме Шараповых открылась сеничная дверь, и взглянул в окно: Лиза спускалась с крыльца.

Вот она такой знакомой мне — легкой и стремительной походкой пересекает проулок, идет по дороге, свертывает к дому правления.

В боях, в минуты самых тяжелых опасностей, я, кажется, твердел весь, сердце реже начинало биться, а сейчас оно колотится, как у парнишки перед первым свиданием, и лицо мое, выдубленное ветрами Балтики, морозами и солнцем Озаровки, пылает... Я прикладываю к нему руку: лоб холодный, а щеки горячие.

В первой комнате слышится уже ее голос и приветственные слова счетовода, его помощницы и колхозников, пришедших получить деньги по трудодням.

Слышно, счетовод поднимается, отодвигая стул, шаркает подошвами и говорит:

— Он там!.. Пройдите... Нет, вот в эту дверь, а тут у нас хата-лаборатория...

Я волновался, а получилось все очень просто и непринужденно.

Лиза вошла и сразу оживленно заговорила:

— Вот он где!.. У вас, как в настоящем учреждении,— так двери и так двери... Здравствуй, Павел!

Последние два слова она сказала так, что душу мою обдало каким-то тонким, оживляющим теплом.

Она расстегнула меховой воротник и присела к столу.

— Сними пальто, здесь сегодня жарко натопили!

— Нет, я думаю, мы недолго здесь засидимся.

— Потолкуем,— предложил я.

— Как хочешь...

Я принял пальто и шляпу, повесил, потом сел и посмотрел ей в лицо.

Передо мной Лиза. Та и не та. В глазах нет молодого задора, черты лица резко определились, к ним присоединились заметные морщинки. В черных волосах назойливо пробивается седина.

— Постарела? — спокойно спросила она и, наперед зная ответ, добавила: — Но и ты уже не тот паренек. Много лет прошло с тех пор... За эти годы мы пожили и поделали... Что же ты не приехал тогда учиться?

— Я хотел жить в деревне. Вернулся тогда с флота и занялся организацией колхоза...

— А я хотела жить и работать в городе. На этом месте наши дороги и разошлись... И наша юношеская любовь осталась трогательным воспоминанием на перекрестке тех дорог.

С первых минут прихода Лиза заинтересовалась письменным прибором из папье-маше, расписанным палехскими художниками по мотивам русских народных сказок. Она рассматривала его, разговаривая со мной. Потом указала на один из рисунков. Я посмотрел на него: Иван-царевич с Еленой Прекрасной мчался на сером волке через дремучие леса и буреломы.

— Я тогда мечтала в Черногубове, что так вот мы помчимся в город к своему счастью.

— Я тоже мечтал об этом счастьи, но только в деревне.

— И ты поймал его. — Лиза указала на другой рисунок, на котором был изображен простой русский парень, ухвативший жар-птицу за огненное перо. Лиза улыбнулась: — И парень-то на тебя похож.

Я согласился:

— Немного смахивает... И тебе ведь перо жар-птицы досталось: ты в городе добилась того, чего хотела.

— Верно: я не уступила и добилась своего, но любовь не жалует неуступчивых...

— Это каких же неуступчивых?

— Таких, как мы... Я не уступила тогда тебе, ты не уступил мне, и наша любовь отошла в сторонку.

— Ты любила, наверное, потом... Может быть, даже сильнее... Ты замужем?

— Была. Муж погиб на фронте. Мы с ним отправились на войну вместе. Он был заместителем командира полка по политчасти, а я работала в санбате.

Лиза рассказала о всех обстоятельствах смерти мужа, о своей фронтовой жизни и спросила:

— Ты был на фронте?

— На Балтике...

— И приходилось сражаться?

Я стал рассказывать, как мне приходилось сражаться. Лиза немного послушала и остановила меня:

— Вы, мужчины, не умеете рассказывать... Мы... мы... Ты говори, что ты переживал, что ты чувствовал, что ты делал, а не мы...

Она поправила волосы и решительно поднялась:

— Идем! Покажи мне ваше хозяйство, вашу жар-птицу!

— Идем-идем... Тебе интересно посмотреть! В городе расскажешь: вот в колхозе на моей родине то и то...

На околице на большом пространстве раскинулись скотные дворы, овчарни, конюшни; по другую сторону — амбары, сараи, хранилища овощей и картофеля. Из дверей одного большого сарая тянулась пыль: там сортировали зерно.

Вздымались силосные башни, густо дымила кормозапарка, похожая на деревянную фабричку.

Лиза окинула все взглядом, подивилась и кивнула головой на скотные дворы:

— И все эти здания полны скота?

— Набиты доотказа, тесно в них, надо еще строить. Идем — посмотри.

— Много же вы тут всего понастроили.

Дядя Федя находился в своем кабинете, если можно назвать этим словом небольшую бревенчатую комнатку с письменным столом, несколькими стульями и полкой с книгами.

В глубокой задумчивости он сидел за столом. Перед ним лежала раскрытая книга, в которую он что-то записывал крупными буквами.

Он показался мне в эту минуту похожим на ученого. Это впечатление усилили роговые очки, темносиний пиджак и расчесанные взалыс седые волосы на крупной голове.

Еще на заре нашей артельной жизни он взял на себя заботы о животноводстве и теперь является прославленным мастером своего дела. Его фермы считаются образцовыми в районе. За два минувшие десятилетия он много прочитал, два раза ездил на курсы животноводов повышать свою квалификацию, много слышал дельного и полезного, много передумал и на работе приобрел огромный опыт.

В его ведении сейчас сотни голов скота. Он знает племенные и молочные качества каждой коровы и даже овцы. Он оказался животноводом по призванию. Под его легкой рукой на фермах все живое плодится, жиреет, доит, кормит, растет и никогда не болеет.

В самые трудные годы нашей жизни на Озаровке ни разу не поколебалась его уверенность в будущем артели; в самые тяжелые дни созидания колхоза я не видел его унылым. Он никогда не теряет душевного равновесия, он во всех случаях жизни спокоен и полон достоинства.

Дядя Федя немногословен и внешне неласков, но колхозники питают к нему братскую привязанность. Я уже не говорю о том укоренившемся уважении, которым он пользуется у нас в артели.

Он занимался сейчас письменным делом так сосредоточенно, что не сразу заметил нас.

— Извините, Федор Андреевич, что мы помешали вам,— душевно заговорила Лиза: — Вы тут, очевидно, творите...

— Творю,— усмехнулся дядя Федя,— творю, Лизавета Лексеевна.

Он встал и ловко подкинул ей стул:

— Присаживайтесь! Здравствуйте, здравствуйте! Мы на вас в обиде, Лизавета Лексеевна...

— Что такое?

— Редко посещаете нас. Здесь ведь корень ваш! От него ведь вы пошли ростком к солнышку.

— Далеко я жила, Федор Андреевич.

— Далеко? Тогда, знамо, часто не наездишься, но можно бы написать...

— Маме я писала часто...

— И нам бы следовало написать. Мы ведь интересуемся своими земляками! Да-а... А теперь, поближе, что ли, живете?

— Переехала поближе. Человека всегда тянет к родным местам под старость...

— Да вы еще не стары!..

— Но и не молода.

— Конечно, время идет... Что ж, разве показать вам мое рогатое население? Вы, врачи, здоровье охраняете, а мы, животноводы, ему... народу-то, молочком, мясном да жирком сил подбавляем! И выходит, что наши профессии родственны; вместе для народного здоровья стараемся.

— Выходит, что коллеги,— оживленно отозвалась Лиза.

— Вот это я и хотел сказать. Самое хорошее лекарство — питание хорошее... Без нас вам трудно было бы работать. И я думаю, что вам интересно будет посмотреть хоть одну нашу ферму.

Дядя Федя закрыл толстую книгу, в которой недавно писал, и приподнял ее в руке:

— Вот где мука-то моя мученская, Лизавета Лексеевна.

— Известно, Федор Андреевич, что творчество мучительно,— пошутила Лиза: — Говорят, что Пушкин лед прикладывал к голове...

— Я не Пушкин, но и мне, я думаю, не миновать этого,— усмехаясь в бороду, проговорил дядя Федя.

— Что же тут у вас? Повесть своей жизни?

— Повесть-то, может, лучше бы далась... Тут дело потруднее.. Новые существа стали появляться... До весны-то их прибудет на молочной ферме около двухсот, а каждому

кличку надо дать, да не какую-нибудь, а красивую, и в племенную книгу занести. Сколько каждый год хороших слов надо! И надо все новые и новые, а то спутаешься... Нехватает мне слов-то!.. И с каждым годом все труднее и труднее...

— Действительно трудно! — посочувствовала Лиза.

— Без шуток говорю,— продолжал дядя Федя: — Все слова, кажется, перебрал... Думаешь-думаешь... А слова ведь надо подбирать такие, чтобы сердцу мило... Надо быть уже все сердечные слова перебрал...

— Каждый год сколько кличек! — удивленно покачала головой Лиза.

— Так ведь это одних телят,— подхватил дядя Федя.— Какую мы махинищу молочную воздвигли... С поросятами, баранчиками, ярочками легче: их прямо по номерам.

— Слов нехватает? — спросила Лиза.

— Их бывает каждый год до тысячи; наберешься ли тут слов. Вот сегодня, сколько я натворил.— Дядя Федя раскрыл книгу и начал читать: — Майка, Волна, Бархотка-вторая (видите ли: приходится римскую цифру два иногда подставлять), Незабудка, Хорошавка, Ясная-вторая, Княжна, Калина, Нимфа, Минерва...

— Федор Андреевич, а о нимфах и минервах вам откуда известно? — изумленно воскликнула Лиза. Она, видимо, никак не ожидала услышать такие слова от старика-колхозника, которого помнила полуграмотным мужиком.

Дядя Федя молча закрыл книгу, положил на полку и сквозь очки пристально посмотрел Лизе в глаза:

— А ведь тут мы в колхозе-то, Лизавета Лексеевна, кой-чего почитываем, почитываем...

Это вышло у него так ловко, что Лиза даже покраснела слегка.

* * *

В комнате, где стояли бидоны для молока, сепаратор и кадки с маслом, нас заставили надеть белые халаты. В такой же халат облачился и дядя Федя. При входе на скотный двор нам сказали, что надо вытереть ноги о подстилку, искусно связанную из соломы и облитую дезинфицирующим раствором, чтобы посетители на подошвах не занесли сюда вредоносных бактерий.

Гостье надо было только поглядеть, а дяде Феде показать созданное его умом и неусыпными заботами, плодовитое, продуктивное хозяйство, а поэтому он не утруждал свою спутницу длинными разговорами и специальными пояснениями.

Мы проходили между стойлами. Дядя Федя с Лизой впереди, я следом за ними.

— Небольшая?.. Мышастенькая,— слышался голос дяди Феди.— Хорошая коровка! Помесь красногорбатовки с швицей...

— По эту сторону ярославки. Ярославка — славная коровка, но легковата; мы стараемся ей придать побольше крепости и мясистости...

— Здесь так называемые беспородные... Лучшие из местных, стародавних... Выносливы, нетребовательны... Мы многие годы отбирали самых лучших...

— Здесь наши знаменитости! Наша гордость. Вот Сирень! Живой вес пятьсот восемьдесят килограммов... За четвертую лактацию дала восемь тысяч четыреста килограммов.

— А это наша Пава... Живой вес шестьсот пятьдесят килограммов. Высший удой, который она давала,— десять тысяч двести. Теперь стала стара... От нее мы вырастили хорошую семью. Вот ее дочь Пава-вторая... По четвертой лактации двенадцать тысяч семьсот восемь килограммов молока.

Дядя Федя взял Лизу под руку и отстранил немного в сторону. Навстречу нам быстро катилась вагонетка. Мотовозом управляла девушка лет семнадцати, румяная, круглолицая. Она успела почтительно кивнуть нам, тряхнув кудрявым витком волос.

— У вас железная дорога! — удивилась Лиза.

— У нас много всего,— вставил дядя Федя.

— И чистота у вас доведена до блеска,— продолжала Лиза.— Все вымыто, выскоблено, вычищено, даже запах скотного двора, кажется, вывезен отсюда на быстрых вагонетках.

Мы осмотрели два коровника, телятник, овчарню...

— Начали мы с двух коров, купленных на базаре, а теперь вон сколько у нас всякого живота,— сказал дядя Федя:— Только обойти, так устанешь. Но это не все... У нас в Черногубове еще скотный двор!

— Да-а!? — спохватилась Лиза.— Что теперь в Черногубове?

— Большой скотный двор, несколько домов наших животноводов и склады сена. В общем отделение нашего хозяйства. Болото мы там осушили, посеяли травы...

Лизу многое приводило в изумление, а для нас все это было обычно.

Потом мы осмотрели конный двор и завернули на мельницу.

Мельница наша занимала небольшую пристройку к зерновому складу и приводилась в движение электрическим током. У пристройки стояли подводы с зерном из соседних артелей. В помещении у чугунной печки отогревались помольщики. И мы присели с ними погреться.

— Это и есть ваша мельница? — заговорила Лиза. — Какая маленькая.

Я пояснил, что это последнее слово техники: один из наших заводов стал выпускать для колхозов такие удобные мельницы.

— Карманная, — сказал один из помольщиков.

— Малышка, — молвил другой.

— Поглядеть-то не на что, а три тонны муки в день выдает, — вступил в разговор мельник. — Я работаю и каждый день спасибо нашей технике говорю — здорово придумано.

В слесарной мастерской Лизу ослепил неожиданно блеснувший огонь электросварки. Лиза зажмурилась.

— Смотреть нельзя, а иметь такой огонек приятно, — заговорил один из мастеров. — Приварит, так уж навечно! Такой огонек вы еще не в каждом колхозе встретите, а только в таких передовых, как наш.

— Какие они у вас бодрые и... я бы сказала гордые, — заметила Лиза, когда мы шли из слесарки на электростанцию.

— Колхоз в славе, — говорю я, — это радует людей и подымает... Каждое их усилие идет впрок, укрепляет и украшает колхоз — вот они и стараются изо всех сил. Нашли вон через своих фронтовых друзей грузовик, купили, притащили сюда и теперь мудруют над ним. Уверяют, что скоро он покатит не хуже нового, и я знаю, что так и будет.

На электростанции в этот час находился только дежурный электротехник — девушка лет двадцати, небольшая, чернявая, с маленьким острым носиком на круглом, румяном лице.

При нашем появлении девушка поспешно встала.

На столе ее мы увидели книгу, скользнули взглядами по заглавию и переглянулись. Мне показалось, что глаза Лизы стали немного влажными, и она прищурилась, словно от слепящего света. Девушка вопросительно посмотрела на нас: что, дескать, вас так интересует эта книга. Лиза нашла нужным объяснить и взволнованно заговорила:

— Мы вспомнили себя такими, как вы... В такие годы мы тоже читали эту книгу... Не эту самую, которая у вас, в руках, а вообще этот роман. Он по-хорошему волнует молодежь и переиздается без конца... — Лиза взяла со стола книгу. — Это уж вот новое издание... Этого года... На прекрасной бумаге... Приятно в руки взять...

Мы присели и разговорились. Говорила больше Лиза:

— Я помню, какое впечатление он произвел на меня, этот роман... Он всколыхнул во мне много таких чувств, которых я не знала до того времени. Мне хотелось, чтобы и тот, к которому летело мое сердце, узнал их...

Лиза рассказывала это мне, как будто я был посторонним слушателем:

— Мне было тогда лет восемнадцать. Помню весенний вечер... Было тихо и немного пасмурно... Солнце село в облака... Пахло сырой пашней... Я спрятала книгу под кофточку и... с замирающим сердцем отправилась. Употребила всю силу воли, чтобы на это решиться. Улица была безлюдна, а мне казалось, что вся деревня следит за мной, все черногубовцы смотрят на меня, зная, что я несу книгу парню. Тогда это в нашей деревне считалось предосудительным. Он вернулся с пашни и распрягал у своего двора лошадь...

Она говорила обо мне в третьем лице, чтобы девушке-электрику непонятно было наше объяснение:

— Я долго стояла за углом, не решаясь появиться перед ним... Потом решилась, выступила из-за угла и отпрянула... Затем окончательно решилась, выступила из-за угла, подошла...— Лиза прервала рассказ и втянула в себя воздух, словно вновь переживала прежнее волнение.— Сказала несколько слов, рывком передала книгу и скорее прочь от него...— Нынче девушки развитые, смелые, а мы,— Лиза вздохнула,— тогда были еще только первыми светлячками в только что пробужденной деревне того времени...

— Твой парень прочитал тогда роман? — спросил я, чтобы побудить Лизу к дальнейшим признаниям.

— Прочитал. И мы с той поры полюбили друг друга.

— И что же стало с той любовью?

— Она рассеялась... Так бывает весенним утром... Все утро стоит на небе светлое облачко. Милое такое, радостное, прозрачное. Потом разгорается жаркий день и оно бледнеет, перестает светиться, расползается клочками, косичками...

— Светлое облачко, стало быть, ты сравниваешь с любовью .. Что же тогда будет жарким днем?

— День человеческой жизни. Пришел он и принес жаркие стремления, большие заботы...

— Почему же он рассеял их любовь?

— Потому, что они оказались людьми упрямых характеров. Когда он мне написал, что сам способен подумать о своем будущем...

— Она обиделась?

— И обиделась, и поняла, что он непоколебим в своем решении, и почувствовала, что все ее попытки склонить его на свой путь напрасны. В общем вышло так, что каждый из них свой путь поставил выше любви; каждый из них по-своему хотел провести этот жаркий день жизни: она искала свое счастье в городе, он — в деревне...

— И они нашли его?

— Нашли. Они добились того, к чему стремились...

— Правильно ли они сделали, что ни тот, ни другой не уступили ради любви?

— Правильно! — решительно ответила Лиза.—При уступке

один из них должен был принести в жертву свои стремления, поступиться своим облюбованным путем, а это чересчур большая жертва.

Мне захотелось показать Лизе, с чего мы начали здесь строить свое счастье. Я подошел к телефонному аппарату, который чернел на стене, и сказал в трубку:

— Дядю Федю!

Наш колхозный телефон насчитывал три десятка абонентов, и телефонистка, она же помощник счетовода, знала всех поименно.

— Надо показать Елизавете Алексеевне наш музей,— сказал я дяде Феде.— Ты, помнится, являешься его хранителем!?

Дядя Федя сразу понял меня и ответил, что увидит нас в окно и тотчас же выйдет.

— Какой же может быть у вас музей?— изумилась Лиза.

— Музей у нас очень интересный,— ответила девушка-электрик.— Он состоит из двух отделов, показывает настоящее и прошлое колхоза. Настоящее — наши дома, наша жизнь и все наше хозяйство, а прошлое сейчас вы посмотрите.

Лиза разговорилась с девушкой и узнала, что зовут ее Зиной, она дочь Власа Курочкина.

— А где вы изучили электричество? — спросила Лиза.

— Я окончила техникум.

— Окончила техникум и вернулась в деревню?

— У нас много таких. А что вас удивляет?

— Нет, я просто так...

— Мы живем в деревне и нам нравится,— заговорила Зина.— У нас все есть: работы вдоволь, достаток хороший, и на недостаток культуры пожаловаться нельзя. Кино бывает два раза в неделю! Чаще-то и вы в городе, наверно, картины не смотрите... Приезжают к нам и артисты. Но мы и сами артисты — ставим спектакли, устраиваем концерты... У нас даже есть танцовальная группа и хор... Мы не скучаем.

— Да-а,— задумчиво протянула Лиза, собираясь уходить.— На вашем месте я, наверно, поступила бы так же... Но когда я была молода, деревня была совсем другая. Совсем-совсем не та, что теперь!

Мы вышли из электростанции и направились в обход плотины к дяде Феде.

— Сколько молодежи у вас подросло,— медленно и задумчиво говорила Лиза.— Мелькают такие чудесные девичьи лица... Рядом вот с такими девушками хочется быть молодой-молодой, и читать опять этот роман, а жить вот в такой деревне...

— У нас много таких, которые окончили техникумы и вернулись в родной колхоз. Работают здесь зоотехниками, учительницами... Одна акушеркой... Один агрономом... Ты

первая, а потом уже многие из нашего колхоза получили высшее образование и работают в разных концах страны.

Я говорил, но Лиза едва ли слышала меня: гул воды в плотине заглушал мой голос.

Перед плотиной многоводная Прошва разлилась широким озером.

На льду мелькали юркие фигурки подростков. Через лунки они ловили рыбу на блесну. На берегу горел костерок и ребята изредка подбегали к нему отогревать руки.

— Есть ли улов?— крикнул я.

— Окунек попадается...

В поле, за рекой, боясь подступиться близко к плотине, стояла тишина. Провода, уходящие от гидростанции к деревне, были так густо покрыты инеем, что напоминали белокурые косы.

Лиза остановилась на пригорке и вгляделась в колхоз, раскинувшийся перед нами.

— Идем, поторопил я,— нас ждет дядя Федя; вон он стоит у музея.

— А ведь верно: Озаровка похожа на город,— обронила Лиза и поспешила за мной.

Дядя Федя открыл нам дверь в заборе, и перед нами предстал музей. Это был тот самый сарай, в котором мы приютились первое время на Озаровке.

В нем сохранились еще нары, и на них стояли теперь сохи, косули, деревянные бороны... С этими дедовскими орудиями мы приехали сюда начинать коллективное хозяйство. На видном месте были выставлены хомут с мочальными гужами и рваные лапти.

— А это что?— заговорила Лиза.

— Лапти,— поспешил ответить дядя Федя.— Видела, поди, их каждый день у нас, бывало, в Черногубове. Сама еще, может, носила...

— Я знаю, что лапти, но это память о ком-нибудь или вообще?

— Это как же о ком-нибудь вообще?— не поняв Лизу, переспросил дядя Федя.

— Ну вот, например, в Москве, в музее хранятся сапоги Петра Первого! Они интересны тем, что это были его сапоги.

— А-аа, ты вот о чем... Это мои лапти. Я в них в колхоз пришел, как и все черногубовские мужики. Сапоги были только у Павла Сергеича, он их со службы принес. Вот я лапти и выставил на память о том, какие мы тогда были...

— Неужели с тех пор они сохранились?

— Хранил — вот и сохранились. Я в них в колхоз пришел,— повторил многозначительно дядя Федя,— бедняком был, а теперь для перевозки заработанного моей семьей каждый год сотни подвод требуются, а про лапти в моей

семье только от меня знают. Я самоучкой грамоте выучился, а дети мои со средним и самое малое семилетним образованием И все специалисты по какой-нибудь части колхозного хозяйства. Так сейчас здесь в каждой семье. Пожилые и даже старые теперь тоже здорово навострились; не найдешь ни одного среди нас, который не умел бы управлять какой-нибудь сельскохозяйственной машиной.

Дальше стоял большой чайник и котел, в которых мы готовили чай и пищу в первые недели пребывания здесь.

— Все это мы храним на память нашему потомству, чтобы знало оно, с чего мы начали и чего добились при советской власти.

Потом мы зашли в колхозную столовку, ясли и детский сад.

Здесь нас встретила заведующая детскими учреждениями колхоза.

— Это моя жена,— сказал я.

— Слышала-слышала,— быстро заговорила Лиза, и в ее голосе я заметил покровительственные нотки: — Лена Сургучева! Когда я уезжала из деревни, ты была еще подросточком.

— Что вы?! Я только на четыре года моложе вас.

— А разве это мало! Сейчас это почти незаметно, а в юности очень большая разница. К тому же вы не на четыре года меня моложе, а на целых пять.

— А вы свои годы не считайте! Ни к чему эта арифметика,— заметил я и добавил.— Тут еще ведь целый выводок наших ребят.— Я показал на себя и на жену, чтобы Лиза точно поняла слово „наших".

— Да-а? Покажите мне их!

— Он шутит,— улыбнулась Лена,— здесь всего только двое.

— У вас только двое? Вы разве недавно поженились?

— Нет, давно. Еще двое у нас в школу ходят, а одна уже в техникуме.

— А у меня сын уже в суворовском училище!— с гордостью сообщила Лиза.

Женщины разговорились о своих детях, я оставил их и ушел в правление.

Через час, примерно, мне позвонила жена:

— Елизавета Алексеевна,— сообщила Лена,— производит сейчас медицинский осмотр и дивится на наших колхозных крепышей. Она завтра уезжает! Я хочу ее сегодня пригласить к нам. Следует? Я думаю, что следует. Будем хорошими друзьями. И отец, твой любимый дядя Федя, советует. Сам знаешь: он ведь любит у нас праздники.

„Дело не в том, что он любит праздники,— мелькнула у меня мысль.— Он хочет, „чтобы получилось хорошо, душев-

но, по-советски", как мне вот здесь говорил. И он прав, конечно".

— Тогда я все приготовлю, а ты приглашай своих друзей. Я еще с ней не говорила об этом, если она откажется, тогда я тебе еще раз позвоню.

Времени прошло много, Лена еще раз не звонила, стало ясно, что приглашение принято. Я пригласил своих самых близких друзей, старых колхозников, с которыми душой сроднился с первых лет жизни артели, и раньше обычного ушел из правления, чтобы кое-что приготовить к приему гостей.

Дом был ярко освещен. С крыльца в ярко освещенные окна я увидел две женские фигуры. Лиза была уже здесь. Что ее так рано привело сюда? Захотелось поближе увидеть нашу семью, наш быт, наше счастье и представить себя на том месте, от которого когда-то отказалась. Так мне хотелось объяснить себе ее ранний приход на вечер, но, возможно, что это было не так.

Рядом с высокой Леной небольшая тонкая гостья казалась младшей сестрой.

Они вели оживленный разговор. Лена то и дело опускала на гостью свой добрый и приветливый взгляд, а Лиза, чаще чем обычно, вскидывала по своей манере голову, встряхивая пышными кудрявыми волосами, тронутыми теперь сединой. Седина эта, мало заметная днем, острее проглядывала под ярким светом электрической лампочки.

— Папа? — раздался под крыльцом голос моего восьмилетнего сынишки. В темноте он, видимо, не совсем узнал меня.

— Что?

— Это ты?

— Да-а...

— Что ты тут стоишь?

— Домой иду. Идем вместе.

Он возвращался с горы и тащил за собой большие санки, на которых можно было кататься вдвоем, а при нужде и втроем.

— Втащишь ли их?

— Еще бы...

Покряхтывая, отдуваясь, шмыгая озябшим носом и громыхая тяжелыми санками, он поднялся на крыльцо, прошел в сени, оставил там санки и ввалился в избу.

— Кто там? — окликнула мать из передней.

— Это я-а-аа, — басовитым с мороза голосом ответил сын.

— Что ты сказал?

— Я сказал — ого...

— Ты, мое милое „ого", иди к ребятам, поужинаете и ляжете спать. Очень долго гуляешь, мальчик!

Тем временем я прошел в другую комнату, чтобы там заняться своими приготовлениями. Женщины, не заметив меня, продолжали прерванный разговор.

— Да-а,— чему-то удивляясь протянула Лиза.— И все это ухода и обихода требует. Я представляю себе, как это трудно с большой семьей. И вы со всеми этими делами успеваете управляться и даже детским садом заведовать.

— Летом в горячие моменты к тому же в поле работаю,— добавила Лена.— Ребята теперь большие — помогают. Так помогают, что даже дел нехватает. Кроликов вон они еще завели, понтера где-то достали... Умная собака, с одного взгляда их понимает.

— Жизни-то вокруг сколько, цветущей жизни,— думая о чем-то своем, воскликнула Лиза.— Я сейчас стараюсь представить себя на вашем месте...

— А вы бы могли быть на моем месте,— подхватила Лена.

— Возможно, если бы я тогда дождалась Павла или вернулась к нему,— проговорила Лиза и продолжала прерванную мысль:— Хочу представить и никак не могу. Так ли бы я стала жить, как вы, и был ли бы он со мной счастлив. Ну, что бы я стала делать все эти годы? Полоть, косить, жать, вязать снопы?

— Вероятно то, что делала и делаю я,— живо заговорила Лена:— Я создала тут ясли, потом детский сад... Это, знаете, большое и увлекательное дело! Я сама училась и учила колхозниц воспитывать детей. В горячие дни страды, когда еще продолжается сенокос, а уже поспела рожь, пожелтела пшеница, вот-вот поспеет яровое, и надо двоить пары, и молотить, и везти поставки, и сеять озимое, когда одно дело теснит другое, я работаю в полях, на току... Особенно много приходилось делать нам, женщинам, во время войны. И знаете: так хорошо на душе, когда с усердием и вволю поработаешь! Устаешь, конечно, но эта усталость быстро проходит. Отдых же бывает такой сладкий!.. Бредешь летним вечером с поля, в руках и ногах усталость, а голова светлая, светлая... Заря потухает... С реки веет прохладой... С огородов пахнет укропом... Дым из трубы столбиком высится над избой... Ласточки носятся низко над землей и, кажется, вот-вот порежут тебя крылом... Тишина одолевает деревню и наперекор ей хочется петь. Может оттого у нас так часто и поют по вечерам, и так ласково, и так протяжно и певуче скликают матери детей на покой!

— Вы, очевидно, очень любите эту жизнь?— спросила Лиза и сама ответила:— Надо очень любить эту жизнь, чтобы так поэтически говорить о ней! Я заслушалась... Знаете что: я тоже, очевидно, в душе крестьянка,— задорно заявила Лиза, воодушевленная словами хозяйки, и я представил себе, что она в это время, по своей манере, вскинула, не-

пременно, голову и тряхнула своими кудрями с иголками седины: — Я училась, лечила людей, в общем трудилась умом и часто ощущала в себе тягу к физическому труду. Я крестьянка по происхождению и это, вероятно, дает себя знать. Так иногда хочется в поле, в луга... Метать бы стоги сена, возить бы снопы...

Лиза замолчала и напомнила Лене:

— Ребятки ждут нас, им пора спать.

Лена усадила ребят ужинать, и разговор перескочил на другую тему.

— Они чудесные у вас, — с нежностью заговорила Лиза; она, видно, любила детей: — Здоровые, крупные, спокойные. А мой сухощавенький, подвижной, остроглазый...

— Верно — в мать, — вставила Лена.

— На меня много похож. Тоненький, но крепкий и...

— Жилистый, — подсказала Лена.

— Вот именно — жилистый! Цепкий, мускулистый такой...

— Павла что-то долго нет, — вспомнила Лена. — Ему следовало бы сегодня пораньше домой придти.

— А Павел стал совсем другой, — подхватила Лиза: — Я его все помнила пареньком задумчивым, стеснительным...

— Где там, — молвила Лена, — ведь столько лет прошло!

— Да-а, — вздохнула Лиза, — столько лет... Где тот паренек Паша, селькор Иван Серпов — так он подписывался под заметками, который бегал по Черногубову с книжечками, устраивал в школе спектаклики, ходил в село за газеткой. Теперь это уважаемый председатель знаменитого колхоза...

Воспоминания Лизы так тронули меня, что рука дрогнула, и я, разливая наливку, стукнул графином о графин.

— Кто та-ам? — пропела Лена. Голос у нее был приятный и сильный. Юркая Лиза, не дожидаясь ответа, приоткрыла слегка дверь, выглянула и увидела меня. Я ответил ей:

— Где та девушка, которая носила этому Паше, этому селькору Ивану Серпову книжечки, переписывала ему начисто заметки, уверяла, что можно питаться одними ягодами? Теперь это опытный врач...

— Хватит, хватит, — со смехом остановила меня Лиза. — Займемся другим разговором. Знаешь что: я сегодня встретила Тихона Зайцева и еле узнала его. Я сказала ему: ты, Тихон, удивил меня! — Лиза заранее рассмеялась, собираясь сказать что-то веселое. — До сих пор, говорю ему, мы знали, что человек идет от молодости к старости, а ты, наоборот, — от старости к молодости.

— В колхозе он поправился, располнел, — сказала Лена.

— Брюшко даже отрастил, — добавил я.

... Тихон Зайцев рос в полуголодной семье. В детстве он питался кое-чем, вечно хотел есть и выглядел маленьким

стариком. На широком морщинистом лице ребенка стыли в вопрошающем удивлении большие серые глаза.

Стояла дождливая осень. Тишка сидел дома и смотрел в открытое оконце. На безлюдной улице Черногубова в непролазной луже застрял воз сена. Хозяин воза — мужик из другой деревни — пробовал помогать лошади, потом выбился из сил и раздраженно крикнул Тишке:

— Хватит тебе глазами хлопать, выйди — помоги человеку! Самому, поди, в такой беде бывать случалось.

— Мне четы-ыле-е го-да,— глуховатым баском ответил Тишка.

— Четыре года!?— расхохотался мужик,— а издальки-то, ну чисто дедушка ты показываешь.

Эти слова мужика кто-то подслушал, подхватил и дал Тишке прозвище Дедушка. Так самого бедного черногубовского бедняка бывало и звали Дедушкой. Но все это было давно забыто и вспоминалось при случае теперь только нам — его друзьям-одногодкам.

— Мне в самом деле кажется, что сейчас он выглядит моложе, чем в детстве и юности,— с серьезным уже лицом заключила Лиза.

Сходились гости, старые мои друзья: дядя Федя, дядя Миша, Тихон Зайцев, Иван Поспелов, Влас Курочкин, неспешно вступали в разговор, спрашивали Лизу о городской жизни, о пребывании на фронте, о муже, о сыне, спрашивали осторожно, с тактом, чтобы, боже упаси, не затронуть ничего ее интимного или неприятного ей.

* * *

Лена пригласила гостей к столу.

Первым двинулся дядя Федя. Большой, костистый, сутулый, он прошел между стульями и столом бесшумно. Рядом с ним тихо уселся тонкий, сухощавый дядя Миша.

Потом тронулся Тихон Зайцев, широкий, толстый, громоздкий. Жирным боком сдвинул стол, задел ногой за один стул, за другой...

Стук стола и стульев смешался со смехом гостей.

— Тише, Тихон, повалишь все,— прикрикнула на него жена и обратилась к женщинам.— Располнел так, что везде ему тесно.

За Тихоном проследовали за стол Иван Поспелов и Влас Курочкин, приставляя по пути стулья, сдвинутые Тихоном.

„Вот в таком же порядке они шли в колхоз, включались в дела“,— вспомнилось мне.

Я посмотрел на них, и они показались мне такими, о которых так говорят в деревне: „Это не старики, а молодые молодчики“. Бывшие черногубовские лапотники, они сидели

сейчас за столом в шерстяных костюмах, при галстуках, аккуратно подстриженные, побритые. „Они не только внутренне, но и внешне не прежние, не бывалошние“,— подумалось мне.

Женщины чинно, скромно опустились на стулья по другую сторону стола.

Гости вели себя так церемонно, словно сидели за пустым столом. Они сидели не шевелясь, не притрагиваясь ни к чему и спокойно продолжали разговор.

Лена наполнила рюмки и попросила приступить, начать, но никто из гостей даже рукой не повел. Немного погодя Лена опять просила начать, но ее просьба осталась пустым звуком.

— Забыла, что ли, наши порядки,— сказал ей дядя Федя.

— Начинает хозяин,— бросил Тихон Зайцев.

— Первую,— начал я,— за тех, которые пошли в науку и познали ее силу. Они теперь работают в разных концах страны, они — высокая честь нашего колхоза, наши знатные земляки... Первой проторила путь от нас к науке Елизавета Алексеевна... За нее... за Елизавету Алексеевну, за наших городских друзей!

Гости выпивали медленно и задумчиво, и молчали, занятые какими-то своими думами.

— Хороший тост,— нарушила молчание Лиза.— Наливайте еще: мне надо ответить.

Лиза взволнованно поднялась, вскинула голову, глаза ее заблестели.

— За тех, кто остался ловить жар-птицу счастья в своих полях, лесах и болотах, поймал ее и сравнял родную деревню с городом! За вас, мои незабываемые, дорогие и близкие!

Она сказала это с тем огоньком, который я замечал в юности, опустилась на стул и мило поникла в приливе сладкого ощущения любви к этим людям, которые сидели с ней сейчас за столом.

Внешне сдержанный, но чувствительный дядя Федя стоя медленно пропустил рюмочку, обернулся и сделал вид, что ищет свой стул, стараясь в это время незаметно вытереть правый глаз.

Лена заметила и разгадала его состояние.

— Это ничего, папа,— успокоила его Лена, протягивая платок,— это хорошая слеза, радостная...

— Предатель у меня этот глаз,— пожаловался дядя Федя,— стал часто выдавать.

Приложив к глазу платок, дядя Федя дал мне знак налить по третьей и объявил:

— Мне надо сказать то, что вы не договорили.

Дядя Федя поднялся над столом:

— За тех, которые в городе, и за тех, которые в деревне... Мы живем одной дружной советской семьей... И этим мы и крепки, и сильны! Так вот: за тех и за других!

Гости раскраснелись, развеселились; жены дяди Феди, дяди Миши, Тихона Зайцева, Поспелова, Курочкина принялись рассказывать разные истории из своей жизни. Некоторые житейские случаи они передавали с тонким юмором; за столом тогда рассыпался веселый смех, разговор оживлялся, то и дело слышалось:

— Нет, вы погодите — вот я расскажу...

Потом Лена завела песню — у нее был хороший голос. Все охотно подхватили ее запев.

Лена разрумянилась, голос ее звучал сильно и уверенно. Я подпевал, смотрел на Лену и думал:

„Она осталась со мной в лесах, полях и болотах, была всегда верной помощницей, перенесла, вместе с нами преодолела все трудности. Спокойная, жизнерадостная, неутомимо деятельная, умеющая управляться со всеми делами не спеша, а скоро, мать пятерых ребят, она и сейчас выглядит еще совсем молодой. А сколько пережито с ней счастливых дней!“.

Когда расходились по домам, развеселившаяся Лиза обратилась ко мне:

— Я живу далеко отсюда... И мне завтра надо поспеть к вечернему поезду.

Я ответил, что подвода будет подана во-время.

Ей все в один голос советовали погостить еще, отдохнуть здесь, но она сказала, что торопится...

* * *

Дым из труб высится прямыми стволами сосен и разветвляется только на большой высоте.

Тихое морозное утро украсило синий небосклон широкой лентой зари и парой светлых облаков.

Снег скрипит под ногами, словно мальчик, касающийся смычком самой тонкой струны.

Заведующий колхозным клубом прилаживает у стены большую фанерную афишу. Крупные слова, написанные красной краской, пламенеют на ней, будто поленья в печке.

Дымит кормозапарка. Дым над ней поднимается уже не сосной, а вековым дубом. Одни подводы возят к ней сухой корм, другие увозят запаренный.

От овчарника доносится блеяние новорожденных ягнят, от коровника бряк бидонов.

Шумит мельница, шумит вода на Прошве, звенят молоты о наковальню, стучат сортировки, бешено шипит автоген, пугая сердитый мороз брызгами синего огня.

Из гаража вырвалась автомашина и понеслась куда-то, взвихривая снежную пыль.

На колхозной усадьбе, то и дело пересекаясь, тянутся

дороги. По ним на лошадях и пешком спешат колхозники в разных направлениях.

В поле виднеется группа людей. Это колхозный агроном со зеньевыми исследует снежный покров озимых.

Лиза бродила по сети дорог колхозной усадьбы и всматривалась в окружающее. Я подошел к ней, поздоровался и спросил:

— Утренняя прогулка?

— Прогулка с раздумьем,— мило улыбнулась Лиза.

— О чем же это раздумье, если не секрет?

— Нет, не секрет... И можно сказать, что мое раздумье для тебя представляет некоторый интерес.

— Да? Вот как! Скажи тогда!

— После как-нибудь... У меня ноги озябли, я ведь давно тут прогуливаюсь.

Она была обута в туфли с галошами и зябко переступала с ноги на ногу.

Мне хотелось не „когда-нибудь", а сейчас узнать, в чем тут кроется этот „некоторый интерес", и я предложил Лизе зайти в правление. Она не отказалась.

— Снимать пальто я не буду, всего несколько слов,— заговорила Лиза, расстегивая верхнюю пуговицу и откидывая меховой воротник.— Я ведь недавно вернулась в город,— продолжала она тихо и смущенно,— и пока не устроилась... Много возможностей, но одна меня особенно привлекает.— Лиза смолкла, подумала.— Тут недалеко есть место в сельской больнице. Я приезжала сюда, признаться, посмотреть...

— Посмотреть, как живет теперешняя наша деревня?

— Пожалуй, что так... Сейчас ходила, глядела, думала...

— И что же надумала?

— Все еще думаю... Что ты мне посоветуешь?

— Мне трудно советовать. Для меня вопрос давно решен, а для тебя не знаю как... Помнишь, ты говорила мне тогда в вагоне, что хочешь жить в городе...

— То было тогда,— вздохнула Лиза.— Тогда была большая разница между городом и деревней, а теперь все равно, что здесь, что там. А от жизни в единоличной деревне у меня в душе остался тяжелый осадок; я помню, как трудно мне было, когда ты уехал, помню и последний поцелуй. То был в самом деле последний... Я тогда напророчила.

— Тебе, видно, сердце подсказывало, что нашей любви предстоит испытание?

— Я знала, что уеду... И я уехала, но своего обещания, Павел, я не нарушила. Я долго не выходила замуж, долго ждала, хотя ждать было нечего. Я все чего-то ждала даже после вести о том, что ты женился; не выходила замуж: все еще давали себя знать те чувства, они долго никак не могли выветриться. Первая любовь...

— Но потом выветрились?

— Павел, зачем ты задаешь этот вопрос, когда он и так ясен.

— Хорошо, будем считать, что ясен. Я виноват, что не поехал тогда к тебе, но не поехал потому, что не мог. Я поставил себе целью вместе, рядом, плечо к плечу, со своими односельчанами преобразовать...

— Дорогой Павел, я тебя не виню,— перебила Лиза и замолчала. Поднялась со стула, собираясь уходить.

Я слушал, сам говорил и все строил догадки, в чем же тут „некоторый интерес", на который намекнула Лиза в разговоре на улице. Неужели в этих признаниях? Неужели в ее душе остались с тех далеких юношеских лет какие-то чувства по отношению ко мне и она из-за этого хочет переехать сюда. Неужели она надеется воскресить их и во мне? Не может быть! Слишком много времени прошло с тех пор, и чувства у нас не те, и все надо начинать сначала, а это невозможно. И ничего нельзя ломать. За плечами каждого большой груз пережитого, перечувствованного, жизни наши — и лизина и моя — на второй половине... Кажется Лиза достаточно умна, чтобы понимать это!

Она опять присела к столу, пристально посмотрела на меня, понимающе, сочувственно усмехнулась. Усмешкой своей она как бы говорила мне: я ведь понимаю твое недоумение.

— Я догадываюсь, почему ты задал мне этот вопрос,— вновь заговорила она.— Я тебе не ответила потому, что ты должен меня знать хорошо. Без любви я бы не вышла замуж. Теперь, я думаю, тебе все ясно. И еще: ты, наверно, сидишь и гадаешь, в чем же тот „некоторый интерес", о котором я заговорила?! Надо сказать, чтобы не оставить неясности. Помнишь! мы спорили в вагоне, когда ты уезжал во флот. Ты говорил мне тогда: „А мы деревню превратим в город". Я теперь вижу это не на плакате, а в жизни. Я выросла в деревне, хорошо помню старое Черногубово, а потому глубоко понимаю, какую большую работу нужно было совершить, чтобы осуществить такое превращение; это могла сделать только такая сила, как наша партия, наше государство, наши люди. И в числе этих людей — ты! И за это я тебя глубоко уважаю! Вот это мне и хотелось сказать.

Лиза протянула руку для прощанья:

— Я еще подумаю... Мысль о переезде у меня возникла только здесь. До свиданья! Может когда-нибудь еще доведется встретиться.

Я поднялся и с чувством пожал ее маленькую руку:

— Переезжать или не переезжать? Решай сама... У нас и в городе, и в деревне одинаково хорошо, там и здесь теперь большая жизнь. Но где бы ты ни была, помни, что я на тебя не в обиде, как и ты, наверно, на меня: я нашел

свое счастье в деревне, ты — в городе. Помни еще вот что: ты была радостью моей бедной юности, и я тебе от глубины души благодарен за это. Мы теперь стали друзьями, останемся ими и будем жить и работать каждый по своему призванию. У нас и работы много, и сил еще много!

* * *

В полдень Тихон Зайцев подъехал к избе тети Саши.

Я вышел проводить Лизу. У крыльца собрались соседи и друзья.

Вышла Лиза, попрощалась со всеми, уселась в пошевни. Наши простые сердечные люди тепло укутали ей ноги.

Толстый Тихон Зайцев в черном овчинном тулупе темной глыбой возвышался на облучке.

— Вы приезжайте к нам летом!— пригласила приветливая, гостеприимная Лена.— У нас здесь уж очень хорошо. Одним словом — Озаровка...

— Думаю побывать, когда сын приедет на каникулы. Надо показать сыну родные места...

Она так произносила слово сын, что сразу чувствовалось: с ним, сыном, было, видимо, ее сердце, ее надежды.

— Вот и приезжайте!— настойчиво приглашала Лена.

Ее дружно поддержали:

— Он отдохнет здесь.

— Побегает с нашими ребятами...

— Сейчас у нас тихо, все под снегом,— заговорил дядя Федя.— Ты, Лизавета Лексеевна, действительно, летом побывай здесь. Тогда куда интереснее... Тут у нас и тракторы, и комбайны, и плуги всех назначений, и косилки, и жнейки, и электрическая молотьба, и чего-то чего только нет. Поглядеть интересно. А будущей весной пахать начнем электричеством, то есть его силой плуги тянуть заставим. Теперь у нас такой тут завод, что только дела подавай! Тогда вот и увидишь настоящую разницу между прежней деревней и нашим теперешним городом.— Дядя Федя повел рукой на колхозную усадьбу, на поля, хотел еще что-то сказать, но тут вмешалась в разговор тетя Саша Шарапова:

— Суворовца привози ко мне на все каникулы!— повелительно сказала дочери мать.— У нас о ту пору здесь любота.

— Там видно будет, мама... До свиданья!— Лиза раскланялась с колхозниками.— Не забывайте меня!

— Ты нас не забывай!— ответили в несколько голосов провожающие.

— Почаще заглядывай к нам!

Глыба на облучке качнулась, и Курд с места устремился по дороге своей быстролетной рысью.

Снег задымился под копытами и запел под полозьями.

Дм. СЕМЕНОВСКИЙ

МАТЬ И ДОЧЬ

Словно алый розан посреди садочка,
У ткачихи знатной подрастала дочка.
Говорила Тане мать:
— Будем, дочка, вместе ткать,
Чтоб родному краю
Больше тканей дать!

Подросла Танюша и ткачихой стала,
В корпусе фабричном на работу встала,—
И проворна, и ловка,
И задорна, и зорка,
У станков летает
Легче ветерка.

Девушка всю душу вкладывает в дело,
Мать свою в работе перегнать сумела:
— Ты стучи, стучи, станок,
Ты играй, играй, челнок,
Белую основу
Обнимай, уток!

Весело станками зал поет-грохочет.
Отставать от Тани мать никак не хочет.
И следит за ними цех,
Мысль одна волнует всех:
— Чья работа лучше?
У кого успех?

Белыми ручьями всюду льются ткани.
Знать, никто не хочет отставать от Тани.
Все хотят ее догнать,
Все хотят, как Таня, ткать,
Чтоб родному краю
Больше тканей дать!

ГОСТИ В ЧЕГАНОВЕ

Ой ты, Волга полноводная,
Ой, приволжская земля! —
Вдаль уходят хлебородные
Обновленные поля.

Поспевает рожь-красавица,
Наливается овес.
Далеко хлебами славится
Наш Чегановский колхоз.

И недаром к нам в Чеганово
Поезда везут гостей
Из столицы, из Иванова,
Из далеких областей.

Раз крестьяне из Румынии
Приезжали в наш колхоз.
Было тихо небо синее
Над вершинами берез.

Полевой дорогой торною
Потихоньку гости шли.
На пшеницу крупнозерную
Наглядеться не могли.

Молодой крестьянин спрашивал,
Разминая колосок:
— В чем секрет успеха вашего?
Ведь земля у вас — песок!

Поделитесь с нами тайною,
Как сумели вы, братки,
Сделать нивой урожайною
Эти скудные пески?

— Наша тайна — объяснимая:
Эти желтые поля —
Наша родина любимая,
Сердцу милая земля.

Та земля, где стерты-сглажены
Межи дедовских полос,
Где у сел сады насажены,
Где хозяином — колхоз.

Хорошо на ней работает
Наш Чегановский народ,
И она, как мать, с охотою
Урожаи нам дает!

ЛЕНОК

Ой ленок, ты ленок,
Ты зеленый наш ленок,
Поднимайся, колыхайся
На приволье у дорог!

Где прошли стальные кони,
Лён — силен и волокнист.
Засушил мне сердце Лёня,
Наш колхозный тракторист.
Я дала ему заветный
Самоцветный перстенек.
Отдавала, называла:
— Лёня, Лёня, мой Ленок!

Цвел по склону лён высокий,
И сердца у нас цвели.
В полевой простор широкий
Мы рука с рукой брели.
Тихо шла я с милым рядом,
На ходу плела венок,
И глядел счастливым взглядом
Мой любимый, мой Ленок.

Весел бодрый шум уборки,
Кос и жнеек перезвон.
Выходили мы на зорьке
Теребить созревший лен.
Лён-ленок не любит лени,—
Торопилась я на ток.
Светел был денек осенний.
Был со мною мой Ленок.

Сердце пело, словно птица:
— Пусть, росою окроплен,
На полях у нас родится
Самый лучший в мире лён!—
Синеокий и высокий,
Как пригожий паренек,
Частый, чистый, шелковистый
Наш Ивановский ленок!

Ой ленок, ты ленок,
Синий-синий наш ленок,
Ты цвети в широком поле
На приволье у дорог!

МАША-ЗВЕНЬЕВАЯ

Вьется вдаль дорога полевая
Меж покрытых жнивою полос.
Вышла замуж Маша-звеньевая,
Уезжает жить в другой колхоз.
Все подружки счастью Маши рады,
Да прощаться-расставаться жаль:
Вместе с Машей поливали гряды,
С ней растили в поле урожай.

Ой ты, край привольный Юрьевецкий,
Ширь покосов да хлеба стеной!
Все колхозы на земле советской —
Дети матери одной.

Сколько раз на полосе, бывало,
Удивляла девушек она:
То, как пташка, звонко распевала,
То была задумчива, грустна.
Знать, не зря глаза ее большие
Застилались дымкою мечты,
Только руки, руки золотые,
Расстилали лен до темноты.

Улеглась любовная тревога.
Как туман, развеялась печаль.
Запылила ровная дорога,
Вихрем кони полетели вдаль.
— Маша, Маша, ты теперь не наша.
Поскорей к нам в гости приезжай!
Будь счастлива в новом месте, Маша,
И взрасти богатый урожай!

Ой ты, край привольный Юрьевецкий,
Ширь покосов да хлеба стеной!
Все колхозы на земле советской —
Дети матери одной.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ, РАСЦВЕТАЙ!

Под бурей военной мы грудью вставали
За наши леса и поля.
Мы землю родную в боях отстояли.
Цвети же, родная земля!

Мы землю родную трудом возрождаем,
Бросаем в нее семена.
Цвети, хорошей, богатей урожаем,
Великая наша страна!

Цветы и деревья из южного сада
Лелеет Ивановский край,
На севере зреет янтарь винограда.
Родная земля, расцветай!

Прохладные парки к фабричным громадам
Стеной подступают живой.
Красуйся зеленым тенистым нарядом,
Кремнистая грудь мостовой!

Цветам — распускаться, хлебам — колоситься,
А радости в сердце — расти.
Душистою веткой, узорами ситца,
Родная сторонка, цвети!

М. КОЧНЕВ

ИЛЬЮШКИН ПОЛУШУБОК

Совсем недавно дело-то было, в эту войну, в начале. Ильюшка Елкин примахал из ремесленного к себе домой, в колхоз, на недельку отдохнуть, с родней, с друзьями повидаться. Каникулы — на то и даны.

Одиннадцатым номером катил, только снег дымится из-под лыж, палки бамбуковые — за кондуктора, рюкзак на спине — за проводника. А прямая колея лежала через все белые поля. Раздолье. Ветерок поземку понизу прядет, в ушах поет, заглядывает под заячью ушанку.

В избу ступил, подмороженные подметки стучат, а щеки-то так и пышут. Походка у Ильюшки отцовская, неторопкая, но твердая. Ростом невысок, но коренастенький мужичок, в плечах ладный, русые волосы никак все до завитушки не загонишь под шапку, не слушаются, гулять просятся. И нос у него приличный. Только чуть-чуть привздернут, не в пол, а на потолок чаще поглядывает. За это и прозвали девчата его курносым. Ну, да это не беда.

Работяга Ильюшка, — не успел из-за стола вылезть — и за долота, за молотки скорей. Ну, как водится, на дворе прясло овечье уладил, калитку поправил, сестренкам валянцы подшил. Больше, кажись, ему и делать нечего — гуляй до вечера. Из четверых мужиков он один остался в избе. Отец на войне, двое братьев тоже там. На стене тульская берданка висит. Из нее отец зайцев по зимам шугал из саду. Эта берданка и достала Ильюшке шапку-ушанку.

Тут вспомнил Ильюшка, как до войны все обещал ему отец подстрелить серого волка на шубу. Да так и не подстрелил, — то волк не приходил близко к саду, а то и волк близко, да отец далеко, на войне, в незнакомой стороне. Словом, война помешала. А и теперь не плохо бы пофорсить в волчьей шубе, вместо пухлого-то ватника, скажем, явиться в такой обновке к себе в ремесленное после каникул. Вот сколько шуму-то будет! Все мальчишки сбегутся

смотреть. Да если бы посчастливилось самому волка убить,— тогда и совсем хорошо, можно тогда ходить героем.

Следов волчьих, видишь ли, около огорода много эту зиму, у самого частокола. Наверно, ходят по ночам собачек из пелед выманивать. Лес недалеко. Дом Елкиных как раз стоит на краю села. Под окнами — в полверсте болото, частым ивняком да белоплечим березняком заросло. Летом ильюшкина мать сюда за вениками ходит, а осенью и весной ребятишки бегают за клюквой.

Около болота на снегу следов звериных настегано — не разберешься, кто и гостил здесь. И заячьи, и лисьи, и волчьи попадаются.

Ильюшка в тот же день проведал закадычного дружка Егорку Корочкина, он на санях на пеганке за гуменники возил навоз со скотной. Потолковали о новостях городских, деревенских, кто из солдат пишет, кто не пишет, а кого и вовсе уж нет.

Навестил Ильюшка всех друзей. В колхозной конторе побывал, поговорил со счетоводом, степенным человеком с красной звездой на гимнастерке и с двумя костылями в углу. Сходил по старой памяти в кузню к деду Мелентию, хрипуну. Когда он говорит, у него что-то похрипывает под дубленым полушубком. Заглянул на конюшню — на орловских рысаков и владимирских тяжеловозов полюбоваться. Долго рассказывал мальчишкам о ремесленном. И опять делать нечего, скучно без работы. Село в сугробах затонуло. Ведь не летом, когда под каждым кустом приветный дом.

Взял Ильюшка топор за пояс. Дай-ка, схожу в сухое болото, нарублю лапнику, прикрыть понадежнее яблоньки от грызунов. Санки-поскользушки захватил. Отправился. Идет матросской походкой в развалочку, чуть покачивается. В болоте снегу намело березам по пазухи. Горькой осиной попахивает. Нарубил он лапнику, покидал на поскользушки, тронул, повез. Нелегко, забродно, снежищу невпроворот, как оступился с усатой кочки, ухнул — вот тебе и полны голенища.

Тихо в болоте, даже, кажется, слышно снежок неторопливо падает. Где-то дятел-старатель в свою колотушку-погремушку долбит по дуплу, как по капустному корыту. Следов звериных на снегу целы тысячи. Приметно Ильюшке, что-то больно беспокойно сороки загалдели над чащарником. Что за диковина? Словно мороженую требуху делят. Остановился он, варежкой обмахнул снег с бровей.

Дай-ка загляну туда! И полез чащобой вместе с санками. Он через заснеженные кочи ковыляет, санки за ним кувыркаются, не отстают от хозяина, мерзлые сучья под сапогами потрескивают в снеге. Белые клочья осыпаются с кустов ему на плечи, на шапку.

Глядь — дивище небывалое: под высоким густым можжевеловым кустом на снегу бордовом лежит матерый серый волчище — выдранное бочище. Красная прошва за ним тянется по следу. Лежит — встать не может. Глаза остеклянели, зубы ощерил, шерсть на загривке сердито ощетинил. Зубами-то он хоть и щелкает изредка, а хвост поленом откинул. Сразу видно — больше не жилец на этом свете.

Струхнул было малость Ильюшка. Потом, братец ты мой, смекнул, видит, что пугаться нечего, волк на ладан дышит. Видимо, где-то в хорошую переделку попал мужикам, ну и угомонили вора-овчарника. Устыдился Ильюшка своей трусости. Взвалил волчища поверх лапника, пристегнул веревкой, чтобы сидел волк на возу со всеми удобствами, не сваливался — и айда домой с находкой!

Везет Ильюшка, радуется. Без берданки дело обошлось, да как чисто. Теперь у него, если не шуба, то куртка во всяком случае будет. Да какая куртка: на волчьем меху! В новой куртке приедет он к себе в ремесленное училище. Освежевать волка дед Мелентий поможет, он мастер по этой части, а выдубить,— мечтает Ильюшка,— попрошу Овчинникова, дядю Григория.

Размечтался Ильюшка, щеки его так жаром и пышут на трескучем морозе, ветер полы крутит. Везет, торопится, в сугробах вязнет, то и дело оглядывается на возок: тут ли серяк, не ускакал ли в болото? А волку не до лесу больше, голова с лапнику свесилась, волочется по снегу, в глазах угасают синие огоньки, из зеленых веток торчит серебристый мягкий хвост.

Вот и привез лесного хозяина. Вся мелюзга сельская сбежалась под окна к Елкиным волка чествовать. Хватит — пошкодил, пришла пора расплачиваться за все свои проделки. Почествовали да и шубу долой с гостя длинноногого. Дед Мелентий знает, как расстегнуть шубу на волке. Он и освежевал. На пяльцы натянул, повесил сушить за очолок.

Овчинник Григорий в колхозной овчинной дубил, он заодно Ильюшкин заказ принял. Выдубил на славу. Волчище попал матерый, ну, прямо, без мала его шуба как раз Ильюшке в самый раз, по плечу. Позарился на эту шубу сам овчинник Григорий, торговал, но Ильюшка не продал. Самому нужна. Сестренка Граша просила уступить ей на воротник, хоть и не смело, но и ей отказал,— сам изношу. Девки, будто, приходили торговаться, дорого сулили, а тут Егорка изгодился в избе у Елкиных, он и шепчет Ильюшке:

— Ни за что не продавай, продашь — дурак будешь. Попробуй еще такого-то волка убить, пожалуй, двое валенцев измолотишь, да и воротишься с пустом.

Ильюшка и без уговоров твердо решил пустить волка только на свои нужды. Радовался и Егорка,— как же все-таки

приятно, если даже твой товарищ форсит в волчьей шубе.

Егорка вместе с Ильюшкой бегал к портняжнику деду Матвею. Просил Ильюшка, мол, поскорее сшей мне из волка, что сошьется по моему росту. А дед Матвей, колхозный конюх, седую бороду пошарил, очки на синем носу поправил, говорит:

— Было бы из чего—за нами не встанет шитво!

На завтра вечером обещался Ильюшка принести заказ деду Матвею. Шли они с Егоркой по улице и все обсуждали, как лучше сшить куртку—с хлястиком или без хлястика. Решили, что лучше всего с хлястиком. Так советовал Егорка, с ним согласился Ильюшка.

Наутро в окно палкой постучали, на собранье в колхозную контору зовут. Мать ушла. Егорка забежал за Ильюшкой:

— Пойдем, послушаем, о чем там сход.

И полетели они в контору. Вход свободный. Народу—битком. Пожилым — место на скамье, малолеткам —на полу. Кислыми овчинами пахнет, а накурено,—хоть отбавляй. Примостились Егорка с Ильюшкой на задней скамье, степенно посиживают, слушают, что большие говорят. Сидят, никому не мешают. На повестке дня один серьезный вопрос: родной нашей армии поможем всем, чем можем!

Так и заключил свое краткое слово председатель сельсовета Донат Петрович Колосков, на плакат указал, на красные печатные слова:

Родного бойца теплее одень,
Ближе будет победы день!

А у людей эти слова давно в сердце написаны. Не под золото и под серебро народное добро продавали и не в долг давали, а от чистого сердца в дар безвозмездный приносили,—всяк приносил то, что его совесть велит.

Роща рук поднялась, только успевай в список ставить. А собирать после собрания. Ильюшкина мать первая пару валенок пожертвовала, да две одинаковых овчины. Дед Мелентий отдал в дар новый полушубок, желтой дубки, с воротником, да овчину в придачу. Сходил за полушубком, благо дом-то рядом, первый на стол положил и наказал:

— Доставайсь любому молодцу, но только обязательно храбрецу!

Егорка Корочкин лето на паре за мужика пахал, от больших не отставал, сидит рядом с Ильюшкой, думает, в пол глядит, прикидывает излишки в своем хозяйстве. Не зря его тугодумом прозвали. Не любил он торопиться.

Председатель сельсовета всех знал по имени, по отчеству, от старого и до малого. Он и спрашивает из-за стола:

— Ну, а ты, Егор Иванович Корочкин, знатный наш передовик, стахановец колхозного поля, как думаешь? Есть ли что у тебя?

Как Егором Ивановичем назвали, встал Егорка, как взрослый, с достоинством, шапку помял в ладонях и говорит неторопливо:

— Пишите: четыре овчины выделанных, да пять фунтов шерсти самой лучшей, летнины. Выделяем от нашего хозяйства.

Все на него оглянулись с передних рядов, и мать тоже. Помолчал, на мать поглядел, обратился к ней:

— Мамка, а может, и белые чесанки, которые за трубой в мешке, ведь все равно они лишние. Ведь дело-то такое, что нельзя тут скупиться.

Мать у него сознательная, с догадочкой, с умом, не уронила хозяйского достоинства своего сына перед всем честным собранием:

— Как хозяин дома решит, так и я!

И чесанки записали.

Все вписывают у кого что есть, а про Ильюшку и помина нет на собранье. Вот уж и список на другую страницу перешел. Тут Мелентий-хрипун и вспомнил про Ильюшку Елкина.

— А что же это Илья Федотыч Елкин сам лично ничего не кладет на алтарь отечества советского? А ведь мы, крестьяне, привыкли в нашей жизни во всем брать хороший пример с рабочего класса. По-моему, есть чем посоответствовать нашему завтрашнему рабочему Илье Федотычу. Эй, Илья Федотыч, где ты там прикурнул? Твой подарок тоже достоин славного молодца — первого храбреца! Давай так и напишем.

Тут все и загудели, все про городского гостя Ильюшку Елкина вспомнили.

За Ильюшку его мать Секлетея вызвалась.

— Ну, ладно, Мелентий Арефьич, на Ильюшкин пай, так и быть, пиши еще одинцовую овчину с нашего двора!

А Мелентий себе на уме посмеивается в бороду:

— Может есть, что получше, попушистее, волосом посеребристее, хвостом подольше? Что нам сам Илья Федотыч скажет на это?

В жар бросило Ильюшку, не подумал он хорошо-то, всего не взвесил и брякнул с бухты-барахты:

— Хватит и овчины, романовской породы одинец!

Проговорить он проговорил и тут же самому стало стыдно за свои слова,—все не скупятся, а он, могут подумать, немножко пожадничал. Некрасиво получается.

— Ну, хватит так хватит, дело хозяйское, добровольное,— заключил дед Мелентий.

И уж слово вертелось на языке у Ильюшки, мол, коли так, что же делать, я не хуже других, пишите и моего волка. И сказал бы он, да как-то сразу все забыли про него. Сидит Ильюшка и думает: а похвалит его или нет Егорка? Наверное похвалит, хвалил же вчера за то, что он никому волка не уступил.

Выбежали из конторы после собрания, Егорка попенял Ильюшке:

— Чудак ты какой, чего жалеешь? Да будь у меня двенадцать таких волков, я и то бы не задумался в таком случае, всех отдал бы!

Обидно стало Ильюшке. Бежать в контору, исправлять промах, сейчас в конторе никого нет.

Пришел Ильюшка домой невесел, кудрявую голову повесил. Залез на печку, лежит и размышляет о своем, а у ног на шестке волчья шкура висит: мех теплый, серебристый.

Думает Ильюшка, как же ему лучше поступить: себе ли шубу сшить, подарить ли мех на общее дело?

За стеной мороз-мостовик трещит, метель куражится. Наверно холодно сейчас солдатам воевать? Может вот и его отец сейчас надел чей-то полушубок, сам говорит, варежками прихлопывая: вот спасибо, что кто-то о нас позаботился, не дал морозу в обиду.

Не больно почетно на печке лежать, волка у своих ног держать, не лучше ли отдать его тем, кто сейчас на морозе каблуком о каблук стучит, ладони трет?

Думал, думал Ильюшка, да так и уснул со своей думой. Только уснул — и очутился около своего отца на фронте. Видит Ильюшка — отец его тепло одет и обут. А другой солдат одевает на себя полушубок на волчьем меху, сам говорит ильюшкину отцу:

— Что только у тебя за парень твой Ильюшка. Смотри-ка, какой хороший подарок прислал он нам!

Ст такой хорошей похвалы у Ильюшки даже в горле защекотало. Взял солдат Ильюшку за руку, поблагодарить хотел, а Ильюшка и проснулся от радости.

Сумерки в избе. Кот под боком мурлычит. Соскочил Ильюшка с печи, глянул в оконце, на прогоне сани стоят, полны добра, выше дуги навили, а колхозники несут и несут валенки, шубы, полушубки, шарфы, шерстяные носки, овчины, мешки с шерстью, да мало ли чего!

Схватил Ильюшка волка с шестка и марш на улицу к саням:

— Возьмите и моего волчища! Доставайся моя шуба любому молодцу, только обязательно храбрецу!

Расписку в карман убрал.

С той расписочкой он прибыл после каникул коротких к себе в училище. Но такая необыкновенная расписочка ему

попалась, хотя и писана карандашом, словно перо из крыла жар-птицы, карман не прожигает, но душу Ильюшке греет, на всех путях-дорожках ему светит, куда бы он ни шел, что бы он ни делал.

Счастья-то эта расписочка ему принесла больше, чем теплый полушубок на волчьем меху.

И очень рад остался Ильюшка, что так он поступил, благодарен и деду Мелентию, что он назвал Ильюшку на колхозном собрании представителем рабочего класса.

Повеселиться вздумает Ильюшка—веселье само к нему идет.

В ученье у него успех лучше всех, на практику в ткацкую пойдет—и здесь мастера хвалят его. Услышит Ильюшка по радио приказ Верховного главнокомандующего—в этом приказе капельку благодарности и себе слышит, за прилежное ученье, за хорошую работу.

Раз прибежали мальчишки, ильюшкины друзья, в общежитие:

— Ильюшка, сейчас мы на улице видели Героя Советского Союза, гвардии младшего лейтенанта! В полушубке! Не в твоем ли?

— В каком? С волчьим воротником?

Пустились они догонять гвардии младшего лейтенанта. А его уже нет на улице, видимо, сел в трамвай, поехал к вокзалу.

Так и не догнали. Но шибко не горевал Ильюшка, все равно он твердо верил, что его подарок обязательно достался молодцу-храбрецу. А только храбрецы и бывают героями.

Может, этот самый лейтенант и был, как раз, в Ильюшкином полушубке?

ЗЕМЛЯНОЕ СОЛНЦЕ

Лесов в нашем краю и нынче много. Это правда.

И болотами мы не обижены. Раньше в них с весны до осени высвистывал кулик, синий гонобобель дремал, лягушки хозяйничали. А дождь прольет — заслезится косоногий кустарник, седой кочкарник. Званье-то кочкам дано было подходящее—чортовы бородавки. На щеках у кочек красной оспой клюква рябила. Доброе дерево да сладкая ягода и те считали за обиду поселиться на кислой земле.

А они, болота-то, разлеглись на сотни верст и полеживают себе. Ни рак с клешней, ни лошадь с копытом не показывались туда. А зачем? Чего в болоте взять? Разве когда охапку травы овцам натянет мужик. А трава какая? Одно названье, хуже соломы.

Испокон белоус да кислица—на болоте царь да царица. Не зря болото лежало, золотой клад оно таило. Наши люди к тому кладу и подобрались. Ни заклинанья, ни заговор на верный след навели—наука да техника.

Теперь шумно стало на болотах. Хоть куликам, может, не больно приятно, зато людям весело и машинам унывать некогда. А в этой пятилетке даже Старичку-Огневичку решили не оставить места. Чего тужить — пусть себе перебирается подальше куда-нибудь к Белому морю, может, там поспокойнее. И то навряд ли. Везде народ приноравливает природу на себя работать.

Жаворонки на все лады, на все голоса заливаются над болотами. Небо, что твой ситец ивановский. Солнце греет, комару в такую погоду на белый свет нос показать боязно.

Черным-черно раскинулось торфяное поле, черную спину греет, от его спины парок подымается. Если вдоль итти—сутки надобно. Поперек перейти—и недели мало.

Что за гриб боровик в белом картузе среди черного поля вырос?

То не гриб боровик. На березовом пеньке сидит старый Прон Андроныч, в руке у него клюшка-подпирушка. Борода до того седа, до того густа, хоть от ветра бородой загораживайся.

Чего он тут делает? Чего слушает?

Он — за сторожа.

Слушает он не комариный звон, не жавороночью трель. Недалеко гидромонитор пустили. Сильно струя бьет, весело поет! Как ударит вверх, у самых облаков на тысячу звезд рассыплется, струя вспыхнет радугой! Качнет мотор посильнее—еще выше радуга, чуть не до солнышка.

По земле струя бьет—пена белая, шипучая выше кустов, в деревцо струя попадет — нагнет его до земли, а послабже которое—как ножом смахнет.

Вот какая сила у водяной струи. Не заморская машина, своя, советскими инженерами построена.

Слушает Андроныч, как машины жидкий торф всасывают, глядит, как разливают они его по широкому полю. Велико поле—хватит работы неустанному солнышку, хватит работы и машинам и людям. Но не только машинам, но и лопатам дело есть. Болото необъятно. Где машина не управилась, там лопатами подчистят: конечно, не лопата дело решает,— высокая техника.

Лопаты сверкают, как серебряные; выбелились о бурую землю.

Не кукушка закуковала за кустами—паровозик бежит по узкой колее, а за ним вагоны торопятся. Прикатили сюда

прямо с ближней фабрики. Штабеля готового торфа сами на платформы просятся. Прокалило, просушило их солнце, всю сырость из них выпило.

Сидит Прон Андроныч, клюшкой-подпирушкой перед собой в воздух тычет.

Чего он делает? Комаров шугает? Комаров не видно. Слепней отгоняет? И слепни над ним не жужжат.

Шепчет Прон Андроныч, губами шевелит, будто с кем-то говорит. Но поблизости ни старого, ни малого, только жаворонок, как на парашюте, спускается с выси.

Не зря Андроныч губами шевелит, он свою думу черному полю говорит:

— Вот и дожил Прон, когда не за лесами, за горами, на родной земле, в родном краю, как по щучьему веленью, за одну ночь на пустом месте встают города с теремами и садами. Полвесны прошло, а сколь много сделано! Что за город-городок, что за улицы, что за площади! Невысоки дома, но все вровень, один к одному сложены по точной мерке.

Почтальон пройдет по этому городу — номеров не найдет.

Путник придет — дверей не найдет.

Добрый молодец пройдет — девушка-красавица на него из окна не выглянет! Ни в одном доме окон нет. Весь этот город в земле лежал, за одну весну на ноги встал, люди помогли. Все дома одноэтажные, чтобы в этом городе сосчитать их — нужно на высокую колокольню встать. И то со счета собьешься.

Вот эти дома-то и считает Андроныч, перед собой клюшкой тычет. До второй тысячи дойдет и собьется. Снова считать примется. Не легко сосчитать город: по часам растет, как день — так улица, а бывают дни — и на целых две-три версты протянутся. У Прона Андроныча святая обязанность — каждому новому дому счет вести.

Считал, считал Прон Андроныч, вынул табакерку, запустил в одну ноздрю понюшку и в другую тоже, да так чихнул, что из-под семи кустов чибисы вспорхнули, испугались, мол, не охотник ли.

И сказал он:

— Считай, не считай, все мое, все наше, все государственное и ничье кроме. Ну, Дедок-Огневичок, гидромонитор скоро и до твоего жилья дойдет. Придется тебе лето жить со мной в моей сторожке, спать на свежем сене.

Ты один без меня в этом городе заплутаешься. Эва сколько добренького подняли. Да и то пойми: люди делали не в обиду тебе.

Нужно нашим фабрикам топливо, да и мне, старику, зимой газетку почитать при электричестве, чайку вскипятить в никелевом чайнике. Берут люди у тебя огонька с каждым го-

дом все больше да больше, не тужи, болот много. Зато в твоих водоемах после карасей разведем — тоже нелишне.

Мимо деда Проныча торопливой поступью идет самая звонкоголосая бригада Альбинки Стрижевой. Стрижева-то только второе лето на болоте. Но приросла к делу. Помощники у нее одна к одной.

У Альбинки карие глаза с темным отблеском, словно вишни владимирские. Руки, щеки солнцем обласканы, косы завиты вкруг головы в три кольца. Глянет на кого — глаза сверкнут. Песни вечером запоет — соловьи замрут.

Да забота у нее большая в этот сезон. Доброй волей эту заботу она в сердце себе приняла. Не хотелось ей перед своими подружками показаться хуже других.

Тут вот какова петелька. На болоте том пятое лето к ряду гремит Анфиса Силантьева. Мастер своего дела. Не угонишься за нею и в десять рук. И больше всех и лучше всех сделает. На добытый ею торф Андроныч глянет, сразу скажет: Силантьевой старанье.

Четыре года всех она в соревновании опережала. А этой весной вызвала Альбинку Стрижеву. Мне, мол, с теми соревноваться интересу нет, дай-ка потягаюсь со Стрижевой, кто кого?

Силантьевой-то хорошо, у нее у самой да и у остальных опыт немалый. Альбинке же со своими новичками тянуться трудно. Но она помалкивает. Знает, что без труда — не поймаешь рыбку из пруда. Стали они работать. Весы колеблются и в эту и в ту стороны: день у Альбинки успех, на другой — у Силантьевой удача, рывок вперед.

Всем на болоте от Проныча почет, а этим двум особый. Силантьеву он давно знает, а вот новенькая-то, ему крайне интересно, выдюжит ли, выстоит ли? Кроме всего, у Альбинки уважительность к старым людям, это тоже ему шибко по душе, по характеру. Он и сам такой.

Он их-то участки каждый вечер обойдет, вроде и не его нужда, не его дело, а он, ради своего интереса, прикинет зверным глазом, сколько за день прибавилось у этой, сколько у той.

Он с первого вешнего дня старается угадать, за кем осень останется, кому подарит самое почетное место.

Недаром двадцать лет он на болоте живет, сколько хороших работников видал, а этой весной впал в затруднение. У Силантьевой уменья, сноровки побольше, у Стрижевой задор горяч, взгляд неуступчив, к машине могучей любовь большая.

— Прон Андроныч, ты весь век на болоте живешь, подсказал бы, где богаче да помягче пласт,— просят девушки.

— А что? И скажу. От других таил, а тебе, Стрижева, так и быть открою, благо Силантьева далеко, а то услышит, пе-

рехватит, она охотница до богатых-то пластов. Присядь-ка на короткий миг!

Глядит Андроныч на черное поле широкое, слово к слову ставит, не торопится.

—... Где Огневичок ходит — там богатый пласт. Как раз погудка старая есть: дверь-то у него под березовым обомшелым пнем, да чего гадать, верно, я сам не видывал, но еще от своего деда слыхал, будто иногда трубочка Старичка-Огневичка попыхивает над болотом. Будто бы курить он выходит наверх, проверить владенье. А на день дверцей хлоп, и пропал. Где его-то след,—так там торфа лучше нет на свете, нападешь,—только успевай струей поливать. И всасывать не надо, сам из-под монитора бежит на разлив. Днем что выберешь, а он за ночь еще столько припасет, только его не тревожь, жилье не рушь. Не любит такого беспокойства.

— Сердитый он?—Спрашивают, смеются девчата. Не Огневичок им интересен,—занятно, как дед Проныч рассказывает.

— Сердит, не сердит, а хмуро глядит, брови у него, как белоус, под его-то бровью хоть штабель ставь.

Не угодишь—лучше не показывайся. Уйдет поглубже, на наши заботы рукой махнет, трубку закурит на все лето, начнет чадить, всю округу болотную смрадным дымом заполонит, даже солнца не видно. Над полями дымище, в лесу-то гарью пахнет. Значит не угодили, помешали, убирайся с болота. Это раньше будто так-то случалось. Так чадит—не залить ливням. Морозы ударят, земля чугунной гремит, а он знай себе пускает дымки из-под коч. А сунься туда к к нему—застрянешь, не отпустит.

— А от чего он прикуривает?

— Огневичок-Мохыч-то? Да когда как, то подберет чей-нибудь окурок с огоньком, или уголек из забытого поблизости костра выкатит прутиком. А то и так бывает, это когда он сердит, увидит, что гроза находит, выберется с трубкой, встанет под березой и ждет: как в небе сверкнет, он рукой махнет—полымя прямо ему в трубку, ну и задымило.

Так, по дедовым приметам, вон за тем кустом, за Вороньей-то Ягодой, где-нибудь его лазея. Там будто чаще всего замечали Огневика-Мохыча. Там и пласт богатый. Там ищите пуще, никому не уступайте. Он по плохим пластам не любит ходить. Я вечерком неведаюсь, подскажу,—подморгнул старик.

За Вороньей-то Ягодой как раз и работала Стрижева с подругами.

Ушли девчата.

Покряхтел Андроныч, поднялся, побрел к Ракитникам на люди, а то скушно. У Силантьевой шумит, гудит монитор, пена белая гуляет, насос с захлебом жижу глотает, по тугому рукаву гонит на открытое поле.

— Вы, девчата, пуще след Огневика-Мохыча не прозевайте. Нападете на его след, озолотитесь, только успевай монитором орудовать. Мой дед сам видел, как по ночам Огневичок лопаткой свое владенье измеряет,—подсказывает Андроныч.

— Ты тоже, чай, с ним в сговоре,—говорит Силантьева, хоть на один его заказничек указал бы. Где хоть он ходит-то?

— Да, надо полагать, главная дорога его как раз здесь, где ваш агрегат шумит, в Ракитниках. Приходите ночью, услышите, как он песни поет.

Солнце—на жару, люди—на работу, Андроныч—на присказки. За день-то всех обошел, всем шепнул (обязательно с оглядкой, под строгим секретом), что, мол, ни-ни другим не говорите, тут где работаете — лежит самый богатый след, тропа хозяина болот Огневичка-Мохыча.

Никому его добрая подсказка, светлая улыбка не к помеху.

У красной доски постоял, всех знакомых и незнакомых перечитал. Силантьева со Стрижевой на красной доске, на верхней строке вот уж третий день стоят рядышком. И больно хорошо: ни той, ни другой не обидно, обе угодили на богатый пласт. Значит—обоим помог Андроныч.

Табакерку потряс, вынул из шляпы, развернул газетку, еще раз прочитал, кого больше всех хвалят. Силантьевой и Стрижевой чести воздано поровну.

В редакцию газеты заглянул. И здесь Андронычу рады.

Дело к вечеру. Белый пар клубится над поймами. Стрижева глянула, как дела у Силантьевой, и снова за дело.

— Те не кончили еще! Давайте и мы!

Кипит работа. Уж молочный туман берега соседней реки укутает. Роса падает на траву. Силантьева глянула, как дела у Стрижевой.

Скрылось солнце за горой. Бузинником пахнет, от земли поплыла сырость. Ни Силантьева, ни Стрижева первой с болота уйти не хотят. А меж участками целое широкое поле. Вот один гидромонитор будто умолк. На поселке гармонь запела. Силантьева глянула. Ничего не видно на том краю. Послушала—не слышно.

— Ушла Стрижева, а мы давайте, девчата, еще полчасика, да вон той тропой мимо бочажка пройдем домой, скажем: заходили купаться на реку.

Стрижева глянула на ту сторону поля, ничего не видно, никого не слышно.

— Ушла Силантьева. Обгоним их. Давайте еще полчасика, а домой мимо того бочажка пойдем, скажем, ноги мыть на речку заходили!

Стараются девушки и не ведают, что там тоже работа кипит. На бочажке-то две бригады и встретились.

— Эх, на вас и ночи нет, с болота вас не выгонишь, мы уж успели выкупаться, — начала Силантьева.

— Мы уж успели ноги вымыть, а вы все стараетесь обогн ать, — ответила Стрижева.

— Мы искали Огневичка-Мохыча след, — Стрижева смеется.

— А мы давно с ним договор заключили, он нам свой след уступил, — сообщает Силантьева.

Опять на красной доске, на верхней строке стоят имена Силантьевой и Стрижевой. Прон Андроныч к этой ли, к той ли бригаде днем подойдет, полюбуется на работу, обязательно пошутит:

— Ваше счастье — вам богатый пласт.

С гулянки вернулась Силантьева с подругами, спать укладываются, уговариваются, дескать, завтра рано встанем, а Стрижева распелась, разгремелась, завтра обязательно проспит, за ней обязательно зайдем, чтобы не отстала.

Шепчет Силантьева, с устатку на полслове засыпает. Умаялась за день, да наплясалась еще вечером, ноют, мозжат косточки, отдыху просят, рады они мягкой постели.

На заре, на зорьке позже всех пришла Стрижева. Утро туманное занавесы сдирает с земли, вот-вот пастушеский рожок запоет, спать-то некогда. Эх, да молодости ли бояться усталости!? Не жалеет Стрижева, что ночь так провела. Прикурнула она на какой-нибудь часик, засыпает и шепчет:

— Я-то не просплю, только бы Силантьева не проспала, утром за ней зайти надо. По-хорошему соревноваться — самой весело шагать и подруге помогать, — не досказала, на полуслове канула в забытье.

Еще весь поселок спит, заря восток золотит, над болотами туман космами, трава сырая в росной россыпи сверкает, один Андроныч в сером брезентовом плаще, с тросточкой в руке, с берданкой за плечами по черному безлюдному городу расхаживает между штабелями торфа, поглядывает на машины.

Мотористы поднялись и девушки тоже. Силантьева бежит Стрижеву разбудить, чтобы не проспала, а та к ней торопится, видно, в одну минуту встали.

У бочажка, где тропинки сходятся, как две первые ласточки, встречаются Силантьева со Стрижевой, задушевные подруги.

— А я за тобой! Боялась, что проспишь, — говорит Силантьева.

— А я за тобой! Ты ведь любишь на заре понежиться, — отвечает Стрижева.

Запели песни, под руки, в обнимку пошли на свое дело.

День за днем, неделя за неделей. А из города на задорную работу фабрики глядят. Моторы машин на болоте будто в лад говорят:

Будет торф — будет тепло!
Будет торф — будет и в домах светло!
Будет торф — и пряжа будет прясться!
Будет торф — и ткань будет ткаться!
Будет торф — и ситцы ярче расцветут!

Горячо летом на болоте поработали, значит — фабрикам на всю зиму силу дали. Болото — энергии склад, болото тысячи машин оживит, все колеса заставит вертеться.

От торфяного-то кирпича по стальным жилам побежит тепло в родные края и за сотни верст, а может быть, и за тысячи.

Ночь туманами клубится. Уж осень вот-вот бросит расписные салфетки под березками. Зябко Андронычу. Пошел вдоль карьера у Ракитников, чтобы разогреться. Идет да мурлычет сам себе:

— В саду ягода малина.

Сам думает: „Эва сколько нынче бригада Силантьевой торфа добыла". А из-за кустов Стрижева со своими девушками. Замолк Андроныч, притаился, а те ходят, проверяют, сколько у Силантьевой сработано, не отстала ли она, но помощи попросить стыдится. Тогда помочь ей надо. Догадался Пронович, улыбнулся, постоял да как гаркнет:

— Зачем здесь в неурочный час, чьи сережки ищите? — И вышел к ним.

— Прон Андроныч, мы след Огневичка-Мохыча ищем, глядим, не закуривает ли?

У меня много-то не накурит. Я же сказал вам: его след за Вороньей Ягодой.

Подался он к Вороньей Ягоде, бредет вдоль канавы. Видит: и здесь какие-то участок Стрижевой контролируют, мол, не отстала ли от нас, а подмоги попросить считает за стыд. В таком случае помочь ей надо. Вышагнул он им навстречу и берданку хвать с плеча:

— Это что за люди в неурочный час и зачем вы здесь? Горячим блином застрелю! — А это — Силантьева неугомонная с подругами.

— Прон Андроныч, мы заплутались, тропинку Огневичка Мохыча ищем, лето проходит, а так и не нашли, — жалуется Силантьева.

— Ах, вы ягода-морошка, какой же вам еще тропы? Вы же по ней целое лето ходите? Я же сказал вам давно: главная его тропа у Ракитников.

Убрались девчата с болота. Убедились: кажется ни та, ни другая бригада не отстают, обе вместе идут.

Так-то и лето минуло. По осени большой итог стали подводить. И та и другая сторона при большой чести. И дру-

гие бригады с большими успехами. Обеих поровну чествовали — и Стрижеву и Силантьеву, и еще многих.

На прощальном-то вечере в клубе, под электрическими лампами, деду Прону Андронычу прямо беда, хоть целый район зови себе в помощники за богатый стол, сразу тысячу рук протянулось к нему со стаканами:

— Прон Андроныч, за богатый пласт!

— Прон Андроныч, за хороший подсказ!

•

Стрижеву той осенью учиться послали в торфяной техникум. Зима в белой шубе ходит по городу. Мороз трещит.

Бежит трамвай по улице, искры над собой, как у Огневичка-Мохыча над трубкой. Думает Стрижева: „и моя в этом доля есть!“

Льется яркий свет из окон фабрики; думает Стрижева: „и моя доля заботы в этом есть!“

Входит она в просторную залу, светло, тепло, над каждым столом солнышко. Думает Стрижева: „и моя доля работы в этом есть!“

А по проводам за сотни верст с ГЭСА течет, течет живая сила, гудят заводы, гудят фабрики, молота тысячепудовые падают на наковальни, брызжет с наковален красная рябина. Крутятся веретена, стучит челнок, разливается белая река тканей, загораются краше живых цветов расписные узоры на тканях!

Будто вся земля поет в этот трудовой час. В земле это солнце лежало, а теперь в городах и селах засияло, во все концы прибежало. Трудовые руки это солнце из земли подняли, светить себе заставили.

ФАБРИЧНАЯ АЗБУКА

У стахановца раклиста Ефима Пахомыча Селезнева в бригаде-то семеро, и все — народ дружный, переимчивый. Сергей Дубасов подраклистом, Вася Звонков за крылового правит, чехольщики тоже парни не растеряхи, да еще ученик Егорка Мотков — такой смышленый, шибко к делу, мастерству приживчивый.

Ну, да и то сказать, Пахомыч не только каждому цветку-лепестку на ленте держит счет, он не хуже того умеет и с помощниками своими управляться, сам дисциплину трудовую чтит и с других спрос держит, потому-то у Пахомыча всякое дело оборачивается к людям нарядным боком. Печатная машина у них всегда в чистом теле, пушинки-соринки не заметишь.

Каждому в бригаде свое место, свое дело, свой гуж, вот ты его и тяни в полную меру сил, а на других не заглядывайся. Так-то делу веселей и мастерству на пользу. С Пахомычем не пропадешь. Он приохотил всех товар беречь, краски с толком расходовать. Большие вороха собираются по мелким крохам.

Он к особинке каждого особый ключ носит на поясу. В подраклисте, скажем, есть своя пружинка: этому молви слово потеплее, он еще задорнее за все берется. На крылового Васю порой потверже взгляни, это придает ему расторопности, смекалки. С чехольщиков, с этих почаще спрашивай,—не лишне. А Егорку, того хоть полсловом уважь за прилежание, так он готов жаворонком вскрылить над фабрикой.

И вот что: как Пахомыч в цех, кажись, машина помолодеет при нем.

— Машина, как человек, любит заботу, смазку, уход и ласку,—близкая сердцу поговорка у Пахомыча.

Подраклист с крыловым до самой секретной гаечки знают своего Пахомыча.

Глянул на ленту, вздохнул Пахомыч с присвистом, значит еще раз проверь подраклист, тот ли товар подал к машине.

Стал Пахомыч головой покачивать—не забудь позаботиться о щетках на заднем плане, все ли с краской в порядке. Схмурил брови Пахомыч—не спрашивай: в лотки краски надо подбавить.

У Пахомыча заведено: семь раз смеряй, один раз отрежь.

Уж он не уйдет после работы домой, пока не получит расписание на завтра. С вечера у него весь завтрашний день виден бригаде, как на ладони. Все ясно: номер рисунка, марка красок, сорт товара. В валовой валы подбирают, красковары краски готовят. Пахомыч знает толк в красках. Ему какой-то-нибудь не привезешь.

Он ради пользы дела не постесняется, будь ты хоть брат, хоть сват, всех расшевелит. Зато утром в бригаде весело, ни суеты, не толкотни бестолковой.

Еще за то Егорка и Вася крыловой уважали старого раклиста, что справедлив к молодым рабочим, всегда его душа повернута к молодому солнечной стороной. Готов он душу заложить, но чтобы ученик все понял до малейшего узелка. Прежде чем спросить с ученика, надо хорошо растолковать ему. Мало ли мастеров Пахомыч за свой век поставил на ноги?

К крыловому в свободную минуту захаживал друг его Саша Кирьянов, ремонтировщик.

— Эх, Вася,— примется Саша,— все вы какие крашеные.

— Зато и дело у вас красно. А у тебя что? Тюк да тюк, стук, звон, нынче железо, завтра железо. У нас интереснее.

— Ну, не скажи, я стукну молотком—сталь запоет, сразу во всех углах скачет эхо. Нет, брат, если бы на фабрике не стало молотка—все бы встало.

У Пахомыча не велик привет таким, кто за работой тары-бары-растабары разводит. Другой раз он жестко взглянет на крылового. Ты, мол, Вася, пряди, попрядывай да на дело свое почаще поглядывай. Вася помалкивает, не перечит старшему. Саша—этот поершистее. Однажды Пахомыч ему:

— Ты, Саша, как погляжу, ныне сам баклуши бьешь и других к себе заманиваешь.

— Не, мы свое знаем, нас не учи.

— Знать, может, и знаешь, да порой, по-моему, забываешь. Ты что свое рабочее место замусорил? Недавно заглянул я к тебе, ну и неурядица же в твоем углу.

— Мой угол вашим цветам не помеха, Пахомыч.

— Любая хорошая работа любит чистоту. Понял? Плохо ты усвоил фабричную азбуку. А она, ой, как ценна, нужна!

Хоть и отбояривался Саша, однако, придя к себе, немножко убрался.

Вскоре снова позабыл о фабричной азбуке. Опять вокруг его гора да куча, одна другой круче. Правда, он сам-то найдет, где что лежит.

У Пахомыча в бригаде что ни день то радость, работа на славу идет, дело за собой человек ведет. Пахомыч весел, и у всех его помощников на душе вешне. Только еще июнь по календарю, а они программу подняли, что намечено сделать к ноябрю.

Да как раз в это время забрела к ним в бригаду беда.

Пахомыч без году сорок лет простоял у печатной машины. Врос в свое дело, ну и дело мастера уважает.

В нашем государстве кто в работе впереди, тот и в чести. Орден Ленина на куртке старого рабочего.

Сосчитай-ка, сколько за сорок-то лет пропустил перед своими глазами цветков лазоревых, голубых? Не счесть, приблизительно не прикинуть. Если бы поднять все цветы с ситцев и маркизетов—рассыпать их по всей земле, то не осталось бы на земле свободного камушка, воробью негде было бы в пыли поваляться. И все равно бы все цветы не разместились.

Сколько краски за свой рабочий век проводил он под раклю? Если бы всю краску в одно место слить, то можно было бы по тому лазоревому морю пароходам плыть.

На подоконнике у раклиста краски на пробных лоскутках, все тона, все переливы переведены в цифры, в номера, в хитрые обозначения. Колористы это сделали. Пахомыч, как

чародей, по таблицам, по цифрам умеет читать краски, умеет за буквами видеть живые цветы, знает, как они на ткани лягут, знает он, какая таблица замыслу художника в помогу, какая в помеху. Глянет он в кадку с красками — сразу скажет: или засияет эта краска на ситце по-весеннему или же схмурится по-осеннему.

Раклист прямо перед грузовиком, на заднем плане — подраклист, справо-то на крыле — крыловой. А грузовик — эва толщина в три мужских обхвата. На барабане медные валы с гравюрой. Смотря по надобности, по узору, когда пять, а когда и все двенадцать. Под раклями ящики железные с красками. И сами мастера у печатной машины пестры, ярки, руки по локти в красках, да и на блузе изрядно поналипнет за день.

Вот стоит заботник Пахомыч, зорко, зорко смотрит на веселую ленту, а она мчится и мчится из-под барабана к потолку, конца края ей нет. Под валы с роликов она бежит белой-бела, а из-под валов стремится нарядная, вешняя, будто рой пестрых бабочек летит к потолку. Быстрота такая — не успел моргнуть, а она уже под потолком и в сушилку убралась на второй этаж. Меткий глаз нужен, внимательный, чтобы каждому летучему цветку держать строгий учет. Заботливое сердце нужно, чтобы о каждом цветке-лепестке успеть подумать в самую короткую минуту. А без волнения, без заботы — не жди радости от работы. Забота — мастеру порука.

У Пахомыча старым глазам есть молодые помощники — очки. Брови широкие, с шелковым подседом, мягкие, словно накладные из бархатных ленточек. Высок, сутул, а проворен, на ногу легок.

Вася крыловой до того ядрен, до того рыж, что кажется в шайку с краской окунулся с головой. В плечах широк. По полу пройдет — половицы под ним поскрипывают. На футбольном поле ловче его игрока нет.

...Пахомыч со своей бригадой натвердо решили держать у себя Красное знамя до конца пятилетки, а там видно будет. Но и сосед у них тоже не промах, раклист Евдоким Евдокимыч Неустанов. С ним и соревновались. Он — тоже мастер знатный. По количеству кусков он, вот-вот, не нынче-завтра, догонит Пахомыча, а у него товар с лица не так гож, весел. Не то, что у Пахомыча. Здесь что ни сработали — только первым сортом. С таким заботягой раклистом плохо ли остальным? Он всему делу главный запевала. А когда запевала хорош — весь хор по нему равняется.

Неустанов жмет изо всех сил, но и Пахомыч со своими молодцами не дремлет.

Как-то раз подходит председатель фабкома Марья Ивановна и говорит:

— Ну, Ефим Пахомыч, не потерял соцдоговор? Скоро итоги будем подводить.

А он сиреневым платком протирает очки.

— Не потерял, как же мне его потерять? Он у меня в самое надежное место убран, в сердце на хранение положен. Не знаю, вон как у них?—указал на помощников своих.

А те улыбаются. Вася крыловой за всех:

— Где мастер хранит договор, там и мы свои договора бережем.

— У Евдокимыча тоже договор близок к сердцу,—говорит Марья Ивановна.

— Мы Евдокимыча не боимся,—отвечает Вася,— у них качество работы в гости ушло, а количество гулять собирается.

Пахомыч оговорил Васю:

— Не кричи гоп, пока не перепрыгнул...

Он пуще всего боялся успокоения. Там, где тишь да гладь, да божья благодать,—туда лезет и зазнайство, а где зазнайкам гнездо—там всякое живое дело будет загублено.

Вот стараются они. Вместе со всеми текстильщиками давали твердое слово товарищу Сталину. Слава родного края не сама прилетает, крылья для нее ткут люди своим трудом.

Хорошо нарядная лента бежала, радовала раклиста. Будто сама весна-красна свои сарафаны расписные раскидывала. Новую кадку с краской привезли: не то глаза натрудил Пахомыч, не то пошла краска не та, показалось ему, будто вдруг потеряли цветы свою улыбчивость. Взял он образец, сличил, будто—все как прежде, но в чем-то какого-то золотника нехватает. Он к красковарам. Крыловому наказывает:

— Приглянь-ка здесь.

Заступил Вася на его место. Несется лента. Лижут валы на гравюру краску из корытцев, нож-ракля заботливо счищает ее, ровно, тонко кладет по узору. И ленту не узнать. Что за разумная машина, а до чего точная. Все до булавочного укола выверено. На такую машину-красавицу посмотреть любо-дорого. Цена такой машине не малая, равна она по цене почти средней фабрике.

Егорка ученик-то от нечего делать присел на ящик около кадки, какую-то железку чистит, крошки летят во все стороны, а другая, неровен час, и в кадку с краской угодит. Егорке-то это и невдомек.

Загляделся он вместе с Васей крыловым на дорожку цветов. Будто родная земля пестрые луговые тропинки прислала к ним в фабричный цех, людей повеселить, порадовать. Вот бегут они, эти тропинки, к потолку одна за другой, пестрят цветами.

— Дядя Вася,—Егорка крыловому:—по-моему лучше нашего Пахомыча во всем свете не найдешь?

— Согласен. С его проработаешь и ты таким станешь.

— Придет такой день, стану я раклистом, тебя на соревнование вызову.

— Тебе ли со мной тягаться?—отмахнулся крыловой.

Замечтался Вася. Прикинул в уме, сколько дает фабрика готового товара за одни сутки. Дает она немало. Если раскатить ленту от фабричных ворот, доведет она как раз до Кремля, а до Кремля от нас не близко, почти полтысячи верст. Так это только за одни сутки. А за год, скажем, в триста раз больше. Хватит этой ленты весь земной шар в несколько поясов опоясать.

Вот будто идет Вася по той дороге и радуется. Солнце сияет, жаворонки над головой, села, города перед ним, а лента—краю не видно. Сколько девушек нарядных по пути, на чье платье ни глянет—везде знакомый цветок встретит, узнает свою работу.

На сердце веселее, на душе светлее от такой думы.

Проходит мимо самотасчица тетя Ариша, она работала в сушилке, как раз Пахомычев товар принимала в просушку; заметил ее Вася:

— Эй, второй этаж, вы что лениво поворачиваетесь? Долго товар сушите, нам мешаете работать на полный разворот!

— А ты спеши не торопясь,—отзывается Ариша.

— У меня уж такое сердце торопливое, у Пахомыча заразился, не умеем мы жить с прохладцей.

На Васю Звонкова в печатной, если он кого пожурит, не обижались. Работа человека красит. Хоть он только крыловой, но за каждую крапинку, пятнышко на ленте, как и Пахомыч, болел душой. Загнется кромка, надорвется шов—вот тебе и засечка на товаре. А эта засечка будто с ленты ляжет ему на сердце.

Да и все-то у Пахомыча за доброе мастерство болельщики: что крыловой возьми, что подраклист, чехольщики тоже к делу чуткие, и Егорка от больших-то не отстает.

Стригалей заметил Вася:

— Дорогие фабричные парикмахеры, вы чего тот раз плохо товар остригли? Сами, небось, не забываете бриться? А товар с бородами присылаете... Смотрите, я доберусь до вас.

До всего у Васи есть забота. На фабрике одно звено к другому живым местом приросло. Плохо порадели стригали, оставили много ворсинок, пуху, узелков, и печатникам из-за них станет туго: пух, нитки портят гравюру. Потому-то Вася перенял от Пахомыча требовательность, неуступчивость.

Стоит Вася заместо раклиста на капитанском мостике, у самого сердце так и токает. Тут и за своим передним участком зорко гляди и остальные не забывай.

— Эй, дружки, аль уснули? Краска на исходе,—командует Вася.

Подлили краски.

— Щеточки-то начинают забиваться, приготовить новые, травянистые!

И чехольщиков он сейчас держит под своим началом.

— Эй, чехлы, кромка подгуляла!

Слушаются Васю, выправили кромку.

— Ящики с краской на свое место! Иль забыли, где им быть следует?

Мчится, мчится ткань, мелькает рой цветов. Сердце крыловому радует. И Егорке он дело нашел, но зря не гоняет парнишку.

— Егорка, слушай мою команду, брось считать галок на заборе, поточи-ка раклю, погляжу, как ты берешься!

Егорка рад стараться.

Да, знать, немножко увлекся Вася, не замечает, что лужавинка летучая ситцевая попорчена немножко.

На тот час и возвращается сам раклист, да что-то он насуполен, сердит, видимо, красковары досадили. Бархатные брови ежиками, складка на переносице. Сейчас лучше молча слушай Пахомыча, не возражай.

— Вася, где у тебя глаза были? Чего ты набороздил?

— А что?

Пахомыч, что твой старый орел, не гляди, что в очках, сразу заметил промах.

— Чего дремлешь? На курорте, что ли? Останавливай!— крикнул на крылового.

А крыловому больно уж понравилась работа, жаль машину останавливать, он да и скажи: ладно, мол, мы не подкачаем. А то, дескать, пока путаемся,—Неустанов тем временем хоть вот настолько, да опередит.

— Останавливай, говорю тебе!

Пахомыч сам схватился за сигнальную проволочку. Остановили.

— Ты вот что, брат, дома своей бабушке давай инструкции, когда пироги сажать в печь, а здесь пока воздержись,— рассердился раклист. Вася опять свое:

— Сойдет, товар хороший...

— Это как же сойдет? Я таким правилом никогда не жил и тебе не советую!

— Видишь?

Пахомыч к подраклисту, сам на ленту указывает.

Тот плечом пожал.

— А ты видишь?—Пахомыч к крыловому.

— Ничего не нахожу.

— Ну тогда пойди сначала глаза протри! А ты, Егорка?

И Егорка на этот раз не отличился, хотя глаза у него всех зорче.

— Эх, вы, гвардия, вишь отметина какая!

На ленте посредине, под цветами белый волосок впиявился, явно—брак. Вынули раклю, а на лезвии песчинка, и всято она с четвертинку макового зернышка, а напортила гору, песчинкой и пропахало белый волос. Можно бы скрыть, но не таков Пахомыч.

Откуда песчинка в краску попала? Пахомыч пеняет на красковаров, мол, за чистотой не следят.

Прикусил губу Егорка, приумолк, щеки пунцовей кумача, ладошками шаркнул по штанам. Не его ли это вина, он недавно железку скоблил около кадки. Не его ли соринка залетела в краску, под раклю попала.

Куда девалась улыбчивость, приветливость Пахомыча. Стал улаживать.

И крыловой схмурил брови, что велит Пахомыч — все сделает точно, но сам будто воды набрал в рот.

— Пускать, что ли?—спрашивает крыловой.—Плохо мы нынче соревнуемся.

Ну и разбередил Пахомыча.

— По-твоему как соревноваться? Плохое и хорошее вали в одну кучу? Только бы больше настряпать? Так соревноваться—лучше на люди не казаться.

Потерял Пахомыч равновесие на короткое время; потерял спокойствие и крыловой, неучтиво ответил. Раклист ему еще жару поддал вгорячах. Слово за слово, и поспорили они первый раз за пять лет. Раклист слово, а крыловой на ответ два. Мол, если тебе дело родное, так и мне оно не чужое. Парень блажит. А лучше бы промолчать. Пахомыч слушал, слушал, хвать за звонок:

— Вот что, хороший мастер, коли так, как погляжу, хотя мозги у тебя свежие, время нынче мудрое, ступай-ка ты от меня вон туда, на край, там полегче, спокойнее.

На краю двухвальная машина стояла, на ней правил за крылового Павел Корноухов. Там и впрямь полегче, сама машина попроще, на ней сложную расцветку никогда не печатали, а крыловым-то там—новичок.

Давно хотелось Корноухову попрактиковаться у Пахомыча.

Перекорились, снова работают. Пошли на обед. А Вася и обедать не хочет, бродит по двору. Возвращается к машине, видит, Пахомыч и печатный мастер о чем-то беседуют. Затокало сердце у крылового,—недоброе оно почуяло. Так и есть. Говорит ему печатный мастер:

— Звонков, тебя придется поставить на крайнюю машину.

— Это ради чего же?

— Ради пользы дела.

— Не пойду.

— Пойдешь.

Ушел печатный мастер. Одумался Вася. Хоть и с горькой неохотой, но подчинился приказу мастера. Потухли его свет-

лые глаза, начал собираться. Пахомычу то стало жаль с ним расставаться, он и говорит дружески:

— Ты не вскипай понапрасну, тут вот что заставляет нас... Но крыловой не дослушал, с обидой ему:

— Ты меня отстраняешь. А за что? За то, что я нынче не угодил тебе; я, конечно, не оправдываюсь, но и ты несправедлив ко мне.

— Чудак-рыбак, ты сначала выслушай, опять еще, может, поработаем локоть-в-локоть.

— Едва ли...

С тем и ушел крыловой. Вскорости опять вернулся, будто что забыл. А на его месте уже другой крыловой. Постоял Вася около своей машины-красавицы, будто зажглись его глаза, кажись, он сам себе не хозяин больше, что-то, знать, обидное хотел бросить новому крыловому, да не сказалось. А раклист ему:

— Зря ты так думаешь, напрасно так помышляешь, ясен свет.

— О чем?—передернул плечами крыловой.

— Меня не обманешь, не проведешь. Вон цветы как тревожно мигают.

Озадачил Пахомыч крылового. С обидой глянул Вася на своего сменщика Павла Корноухова, процедил сквозь зубы:

— Посмотрим, долго ли без меня с таким наработаете,— повернулся и прочь.

Егорке пуще жаль Васю крылового, не люб ему веснуховатый Павел Корноухов, неповоротливый, а Васю теперь отсюда почти и не видно, больше Вася не погладит его по вихрам своей шершавой ладонью.

И чего Пахомыч удалил Васю?—Не понять, не разобраться Егорке? Конечно, из-за того, что поспорили, повздорили нынче. Вася встал к крайней машине, покосил на нового раклиста.

Жаль крыловому не столько Пахомыча, сколько своей дружной бригады, жаль ему самую лучшую из всех сорока печатных машин свою машину-красавицу. Это разве машина по сравнению с той? На ней всего два валика, самая захудалая из всех.

Обидно и то, что его старание прахом пошло. Подведут итоги, опять вся фабрика заговорит о бригаде Пахомыча, а о нем, о Васе, забудут. А не вместе ли со всеми и он бился за успех бригады?

На самом-то деле все случилось не так, как полагал крыловой. Подошел его утешить Саша Кирьянов, дескать, ты ко мне поближе перебрался, избавился от ворчуна Пахомыча, и больно хорошо. А крыловой:

— Я без тебя разберусь, где лучше, где хуже.

Сверлит его досада. Уж он раскаялся, что надерзил раклисту, да поздно, дело решено.

Вася и горевал по своим, и злился на несправедливость. Пахомыч и мастер не собирались обижать его. Александр Александрович Краснощеков, печатный-то мастер, сам почерпнул самую-то гущу мастерства у Пахомыча, больше десяти лет с ним работал, как и Егорка, начинал с ученика, вгрызался в большое с малого.

Тут вот что получилось: попросил печатный мастер Пахомыча поставить к себе крыловым парня Павла Корноухова на время, чтобы тот прошел у опытного раклиста практику.

День минул, второй наступил. Печатный мастер к Васе крыловому:

— Что, как ночь осенняя?

— С чего мне быть светлым-то, ясным-то? Все равно долго на этом корыте не стану греметь.

Еще бы Васе не тужить о двенадцативальной чехловой машине! На нее, когда она на ходу, со стороны глянешь, так, кажись, на голову выше станешь. Двухвальную сравнить ли с той? Кто печатает самые сложные многоцветные рисунки? Пахомыч! Кому дают работать лучшие сарафанные рисунки? Пахомычу. Мебельные или самые ладные колера, скажем, по тем же легким тканям. Кто знатнее, лучше Пахомыча сладит? Никто!

Около него не зря красуется переходящее Красное знамя. Где дело бежит в гору, там и знамя. В этой же бригаде все середнячки, да и то не особо расторопные, в хвосте не плетутся и впереди их не видно. Стало быть, и Вася крыловой вдруг попал в середнячки—вот что его гложет, без мороза душу знобит, веселиться не дает.

Понадобилось переодеть машину у Пахомыча. Сняли сукно, чехол, понесли к окнам поближе, в тот конец, где Вася крыловой работал. Неподалече и Саша Кирьянов звенит, стучит отвертками, молотками.

— Эй, купец, ты поаккуратнее со своим товаром,— оговорил его Пахомыч. Немножко подвинулся Саша от них.

Стали одевать машину, Пахомыч всем дело дал. Поторапливает. Хочется Васе подойти к своим, хоть рядом постоять и то бы дорого, да гонор-то мешает. Пахомыч каждую мелочь своим взыскательным глазом выверил. А глаз у него, что твой ватерпас. Лапинг затянули сукном. Стали сшивать кирзу. Сшили ее стык в стык льняными нитками. Так сластили, что и в микроскоп не найдешь, где шов, словно живой водой спрыснули. Хорош шов, значит и отдавин не будет на товаре. Пахомыч сам сшивал, он, чай, сто раз проверил, ровен ли шов, прочен ли. Стали чехол одевать.

Дело колесом покатилось. У Егорки глаза блещут. Все ему интересно, везде он поспевает. Порхает и тут и там,

устали у него нет. Где большие, там и Егорка. Поехали за нажатыми на шипы валами в валовую, он — туда. Как же завлекательно: там награвированных валов сотни. Что ни вал — то узор. А какие гравюры — ты бы только поглядел!

Привезли валы, но не украсть их без Пахомыча. На этот раз почему-то номеров на валах не проставили. Подраклист говорит: „этот вал вот сюда", а чехольщики свое: „нет, его туда". Пахомыч глянул на рисунок и сразу верный ответ дает:

— И не туда и не сюда, а вон на то место кладите, надо в первую очередь с лицом рисунка считаться.

Ну, и Пахомыч! Откуда он знает, что этот вал должен лежать именно на том месте и нигде кроме? Хочется скорее постичь Егорке, как это Пахомыч по рисунку все определяет безошибочно.

Взяли пробу. Глянул Пахомыч на ленту, еще больше удивил Егорку, приказывает подраклисту:

— Ослабь немножко эту сторону!

Ослабили одну сторону вала, другую подтянули, глянь, как чисто пошло у них. И всему делу живая душа — Пахомыч. Все он видит, все он знает, какой краской заставить улыбнуться цветок. Даже щеткам и тем неспроста отводит он место: травяные сюда, щетинные туда. Щетка на своем месте — мастеру подмога, щетка не на своем месте — мастеру помеха.

— Лиловую лей в верхний ящик, лазоревую — в нижний. — Сам глядит на рисунок, рисунок ему подсказывает, в какой ящик какую краску лить. Подраклист и новый крыловой разливают краски по ящикам. Новый крыловой не нравится все-таки Егорке, нет у него той смелости, меткости в руках, что у Васи.

Перед Егоркой новая загадка. Еще не раскусил он секрета всей мастеровой мудрости Пахомыча. Ведь на что, кажется, проще: какой груз поставить на раклю! Не все ли равно? Но не догадаешься, не знавши-то.

А Пахомыч без всякой ошибки:

— На эту раклю такой-то груз, на ту вон такой-то...

По гравюре видит, где какая тяга рисунку в подспорье.

Знает Пахомыч, с какого вала из двенадцати начать трафить, а каким подтрафлять. И в этом для Егорки крайний интерес.

В ручной запарке отделали еще пробочку. Уж вертел, вертел раклист пробочку, и так и этак. Теперь ему важно, каждый ли завиток на своем месте. Не надо ему и раклю смотреть, теперь узор мастеру все скажет: где царапина на валу, где зашибина, исправна ли гравировка, верно ли ракли отточены. Так же ли улыбчив, мягок рисунок на ткани, как на конторке у художника, поют ли согласованно краски, праздничен ли колорит.

Не к чему придраться. Проба на диво. Посоветовался Пахомыч с печатным мастером. Мастер доволен, мол, чего же лучше требовать, пускай машину полным ходом. Заправили товар. Неустанов изредка поглядывает на Пахомыча, сам наверстывает.

— Всякий труд благослови удача! Ну, начали, почали,— Пахомыч рукавом вытер пот со лба.

А Егорка свое думает: Васе крыловому, поди, скучно без нас? Вася словно на каленый гвоздь наступил, он нет, нет да и глянет сюда. Стала машина веселый ход набирать. Той порой, где чехол-то раскидывали, что-то бродит и бродит Саша Кирьянов, будто чего ищет и никого не спрашивает.

Пошел товар, в этот миг Пахомычу не до шуток. Егорка рядом с ним, весь он сияет солнышком. Как же ему не светлеть? Ведь он и по указке Пахомыча старался—ракли точил, теперь они пригодились. Да как пригодились-то. Цветы с товара не только Пахомычу, но и Егорке подмигивают, хотя он и самый молодой изо всех.

Не успел Егорка додумать свою думу о Васе крыловом, вдруг остановилась машина. На медном валу — рана. Даже Пахомыч растерялся: за сорок лет работы впервые такой провал. Собрался народ от других машин. Идет и Вася Звонков, но что-то ступает он больно вяло. За ним и Саша Кирьянов.

— Эх, вы, что вы с машиной сделали? — вздыхает Вася.

Дальше, больше — видят под чехлом гайка. Ею-то и изуродовало медный вал. Но как она сюда под чехол попала?

Павел Корноухов недоверчиво посмотрел на Васю.

— Что ты на меня так смотришь? — сверкнул глазами Вася.

Павел Корноухов и припомнил:

— Немного без тебя наработали, правда.

У Васи даже руки вздрагивают.

— Разгильдяй какой-то нашелся.

Мастер на ладони подбросил гайку. Саша Кирьянов глядит из-за чьего-то плеча и ни слова, куда девалась его говорливость. Отстранился он, удалился к себе в угол, перебирает инструменты, из ящика в ящик перекладывает, горят его щеки, в карманах шарит, знать, вчерашний день ищет. Таким-то суетливым никогда его не видели.

Опять он к машине Пахомыча подошел. Пахомыч сердит.

— Что смотришь? Веселого-то здесь мало.

Около Васи Звонкова повертелся Саша. О том, о сем речь заводит, Васе не до разговоров.

Ученик Неустанова подбегает к Егорке и рассказывает:

— Корноухов говорит, что будто Вася испортил машину, по обиде на Пахомыча.

— Вася не такой, — не верит Егорка. И Пахомыч несогласен:

— Я Звонкова знаю, может он вгорячах нагрубить, но чтобы он пустился на такое... не верю.

Егорка Васе Звонкову шепнул:

— Вася, там тебя винят.

— Меня?

Кинулся Вася печатного мастера разыскивать, а он куда-то ушел из цеха.

Раклист не подумал, пока до выяснения хочет отстранить Васю от работы на двухвальной машине. Негодует Вася:

— У меня и гаек таких никогда в карманах не было. — Но ведь никто его карманы не проверял.

Вася уходить не собирается. До тех пор, — говорит, — не уйду, пока совесть свою не успокою.

Сидит он у стены, оперся локтями о колени, лицо в ладони уронил.

Кто-то руку на плечо положил ему. Поднял голову, около него Саша Кирьянов.

— Что, Вася?

— Я ничего, а ты чего такой суетной?

— Так, о тебе смущаюсь...

Вася глаз не сводит с Саши, спрашивает, не сморгнув:

— Что я хуже тебя? Ты мне друг или нет?

— Ну, Вася, можно ли сомневаться в этом.

— Если друг, то иди и скажи, что гайка под чехол попала твоя.

— По-твоему я ее бросил под чехол?

— Нет, ты не бросал, она сама попала туда, беспорядок в твоем углу. Они подцепили второпях гайку чехлом, правда или нет?

— Не знаю, — сказал Саша, даже не тем концом папиросу взял в рот, — может, и моя халатность... виной всему.

— Не может, а это точно, ты забыл фабричную азбуку.

— Тогда иди и скажи, что, мол, Сашка такой-сякой.

— Не пойду. Если бы из-за моей халатности пала тень на тебя, тогда бы я пошел не задумываясь.

Пахомыч присел рядом с Васей:

— Чего раскис? Пойдем домой! Ведь я все равно не потерял в тебя веру! Все знают, ты тут ни при чем.

— Пахомыч, обидно, как это кто-то мог подумать, что будто я... Да я неласково никогда не глядел на нашу машину.

Долго молчал Саша, в пол глядел. На лбу у него испарина. Встал.

— Пахомыч, это я позабыл о фабричной азбуке. Все из-за моей оплошности... Гайка-то на полу валялась, наверно, чехлом подцепили.

— Чего же молчал? Трусил? — выругался Пахомыч... Свою честь береги и о чести товарища не забывай. А ты, вишь, где не нужно — то какой молчальник стал.

— Нет, не трусил, стыдно, Пахомыч. Моя ошибка, я за нее и в ответе.

С тех пор стал помнить Саша фабричную азбуку. Вася скоро снова за крылового встал в бригаде Пахомыча. Снова дело пошло у них на хороший лад.

НОВАЯ МЕРА

Также вот Маргаритка Лисицына да Иринка Лаптева, подруги, собрались итти учиться на ткачих. Что же — дело похвальное, добрый путь! До фабрики дорожка им обеим давно знакома, не приезжие. Из окон фабричную трубу видно. С малолетства они слышали, как по утрам поет гудок на фабрике: зазывисто, голосисто раскатывается над городом.

Старая ткачиха Василиса Анфимовна, бабушка Маргариты, подает девчатам белый клубочек, желает обеим удачи в работе, наказывает:

— Я свое, ласточки мои, соткала все, что на мой пай положено. Уступаю свою дорожку вам, молодым. У этой дорожки, что ни конца, ни краю, одни с нее уходят, вот как я, другие на их место становятся. Только на этой трудовой дорожке радость встречает человека. На окольных-то путаных стежках ее ищи не ищи — все равно не увидишь, только зря потеряешь время да молодые годы потратишь бестолку. Кто смолоду на свою дорогу встанет, тот и счастье узнает.

Вот, мол, вам мой завет на обеих поровну — моток с локоток, клубок с яблочко. Мне также моя бабушка из горячих ладоней с мозолями в мои молодые годы лет пятьдесят тому назад передавала такой же клубочек-поводырек. Послужил он мне сколько мог, а теперь вам вручаю его.

Надо с ним дружно жить, свое дело любить. Тут-то он и улыбнется вам, удачей в работе обернется. Чего потешаетесь-то, хохотушки. Не верите. А вы попытайтесь!

Девушки не торопятся брать клубок. Дескать, полно тебе, бабушка, ты на выдумки мастерица, об этом, не в укор тебе, знает вся наша фабричная улица. Мы уж как-нибудь без твоего клубочка дойдем до дела.

— Ладно, бабушка, мы после возьмем!

Но бабка тоже догадлива, сметила: хоть и старый склад, да ведь жизнь вся на новый лад. Так и я об этом же...

— Несите, несите мою пряжинку на то место, где ей быть положено.

Взяли девушки, пошли. Идут к фабрике да потихоньку подтрунивают над своей бабушкой. Однако клубок не бросают. Сколько они ни шли, но клубочек так и не остыл, тепло бабушкиных рабочих рук навсегда в себя принял.

Стали учиться на ткачих. Срок недолог, полгода всего, а там, конечно, смотря по успехам и „за пару", а примерных-то и за четыре станка сразу. Тут уж знай работай, да не тужи. По соседству со школой, в том же большом доме — ремесленное училище. В нем мальчишки на помощников мастеров курс держали. У них и ученье, и работа куда посложнее, с них в ученье и спрос побольше, и срок ученья подольше. Все продумано, как надо быть лучше. На фабрику-то, скажем, практиковаться мальчишки и девушки каждый день ходили одной тропой, в одни ворота.

Сначала у соседей задорливых все текло гладко, мирно, без подплетинки. Да у ремесленников-то был один непоседа, Димка Ползунов, знатной ткачихи Настасьи Петровны Ползуновой сын. Молодой отпрыск от старого рабочего корня. Смекалист парняга, но одно неважно — порой не в меру задирист. Все мальчишки — как мальчишки, а у него что ни день — то новый фокус. Правда, учителей он уважал, мастеров-инструкторов слушался, а в ученье шагал и не сзади всех, и вперед не забегал.

Но вот к соседкам своим ученицам относился пренебрежительно. Скажем, по двору фабричному шествует: руки в боки, журавлиным шагом, на девчат без издевки и глядеть не может. Это, что, мол, еще за такие ученицы. Кто вы есть? Кому вы нужны? Да разве вас, пискуш, можно поставить в один мастеровой ряд с нами, завтрашними помощниками мастеров! И что у вас за ученье? Какие-то там шесть месяцев или около того. Многому ли вы научитесь? Вот мы — это да! Два года вгрызаемся в свое ремесло, ну зато мы и станем ему полными хозяевами, а вы и челнок-то продувать как следует не привыкнете!

Такие его выходки сразу девчата не взлюбили. Ну и отвернулись почти все от него. Мол, зазнай он и больше ничего, чего же от такого ждать.

Ноги у Димки длинные, мешковат, неповоротлив, на язык невоздержан. Как он только начнет выступать журавлиным шагом, Иринка Лаптева одно твердит:

— И чего он больно из себя строит?

Другие потешаются над его выкрутасами. Но Маргаритка Лисицына, та злится на него всех больше. Больно уж он ей не понравился.

— Ну, постой, ломаный, кореженный журавлище, мы до тебя доберемся, — говорит она как-то со своими.

Он услышал краем уха, стал еще пуще ломаться. Лисицыной проходу не дает.

У Маргариты косички словно кирпичной пудрой припорошены, вся она такая золотистая, только брови с изломом черные да с просяное семечко пятнышко на щеке. Приметная девушка.

Где ни встретит ее Димка, гудит, гремит:

— Эй, Лисичка, рыжая косичка, все еще не научилась разматывать шпарутки?

Она взаймы слова на ответ не просит. Он же все равно не унимается. День за днем, неделя за неделей, глядишь — и месяц соткан.

Раз также встречает он у ворот Маргаритку с Иринкой:

— А, Лисичка, красная косичка, как, к челноку все еще не привыкла?

— Пораньше твоего.

— Это как сказать, я — ткач потомственный, я — шестое рабочее колено, у меня еще дед моего дедки строгал цевки, а ты...

— А у нас бабка моей прабабки вот на этой фабрике сновала прядки. Жаль, что ты ей в руки не попал, а то бы она тебя пообосновала, повыстрогала, не ходил бы неотесанный.

Захохотали Иринка с Маргариткой, убежали от Димки. Ну, одному ему выступать журавлиным шагом по двору тоже интерес небольшой.

Девушки уже во вкус ремесла вошли. Полдня в школе, полдня за станком. Маргаритка трафит за пару встать, у нее руки расторопные, глаза приметистые. А Димка с товарищами все еще на дальних подступах к мастерству, потому что у них задачи посложнее, оборудование на наших фабриках не то, что встарь.

Поскорости за художественный журавлиный шаг Димку в десяти красках представили в стенной газете да еще прописью добавили, на собранье почесали. Характер он свой колючий изменил мало, но спеси поубавилось.

Встретил Маргаритку, снова у него выдумка:

— Из больницы, что ли?

— Что это? Чего я там позабыла?

— Говорили, что вчера тебя станок укусил.

— А нам говорили, что тебя шибко в стенной газете хвалили.

— Это истинно хвалили с небольшими примечаниями, — сознался Димка Ползунов.

На третий раз, перед самым-то выпуском из школы, разозлил он девушек. Им через неделю полные права на мастерство вручат, а он встречается и гнет такое:

— Наше вам, молодым ткачихам, от которых станки плачут, помощники мастеров покою не ведают.

— Да что ты все похваляешься собой? Чем мы хуже?

— Хотя бы тем, что наше тонкое мастерство вам в жизнь не разгадать, не постигнуть. Мы без вас проживем, а вот вы без нас пропадете, как мухи в паутине. Остановился станок — за кем бежите? За нами! Пожалуйста, мол, придите, уладьте, челнок убежал.

— Фу, подумаешь, какой царь и бог нашелся, без вас не сумеем, что у нас головы на плечах нет? — сморщила губы Иринка.

Димка знай потешается:

— Есть голова, так сказать, только нашей не чета.

— Бахвал, — говорит ему Лисицына, — да я, может быть, лучше твоего управлюсь!

— Хвастовство, Лисичка, — сам было рукой за косу, но девушка так на него глянула, что он и руку опустил.

— Говорить говори, но рукам волю не давай, у меня коса горячая, можешь обжечься, долго будет болеть.

— Девчата вы есть девчата, только и умеете пудриться, одеколоном прыскаться из полных пригоршней, а заставь вас заправить основы — вы фюйть в кусты: мы не понимаем, тяжело, тысячу причин найдете. Тут вы готовы нам поклониться в ножки до полу, — размечтался Димка.

— Тебе, такому-то да чтоб я когда-нибудь поклонилась в ножки? Никогда не дождешься, лучше и не думай. Мастерство — не в картузе, а в руках, не старое время. А хочешь я тебя поучу, как надо работать в этой пятилетке.

Так и вспыхнули глаза у Маргаритки.

— Ты? Меня? Поучи!

— Ладно, сухопарый олень, там увидим. У нас есть клубок-поводырек, куда хотим, туда нас и приведет.

— Караул! Держите меня, падаю. девчата учить меня хотят, каким-то клубком-поводырем пугают!

Как раз в то время была большая недостача в помощниках мастеров. Хватило бы их, но из каждого выпуска брали многих на другие фабрики, по плану, по разверстке.

Посоветовалась Маргаритка с Иринкой, мол, пойду на помощника мастера учиться. Та не против. Только, говорит, мне без тебя одной скучно станет, пока ты учишься. С бабушкой внучка потолковала, а та и больно рада.

— Было бы желание, человеку любое дело подвластно, теперь дороги-то даны широкие, просторные. Да и клубок-поводырек поможет, наша счастливая ниточка давно запрядена.

Директор училища Владимир Владимирович внял девушке, выслушал ее желание, бритую голову ладонью потер, недоверчиво переглянулся с помощником по политической части Полиевктом Федоровичем, мол, как ты на это смотришь.

А тот:

— Смелая, прилежная, недавно в комсомол приняли...

— Силы хватит. Работа помощника мастера, сама знаешь, тяжелая. Раньше этот участок считался мужским уделом, — говорит директор, сам глаз с нее не сводит. И она не сморгнет. Решительная, самостоятельная.

— Где трудностей нет, там работать, по-моему, неинтересно. Но чтобы этот Димка Ползунов знал и зря больше не кичился. — Так сказала она.

Все получилось, как она хотела. Иринка с подругами пошли в ткацкую, а Маргаритка из-за одной парты пересела на другую, взялась догонять Димку. Мальчишек-то тридцать человек в группе, а она одна. Но будь спокоен, в обиду никому не дастся.

Димка в училище попрежнему ходит руки в боки, нос к облакам, мол, цыплят по осени считают, едва ли она за нами угонится.

А она не только угналась, но и успела кое-в чем опередить Димку. На выпуске из всех она лучшую аттестацию получила.

После училища молодых мастеров кого куда. Димку Ползунова оставили на своей фабрике. Маргариту Лисицыну тоже.

Теперь, конечно, Димка стал немного посладнее, постепеннее. Но гонор в нем есть.

— Ну, Лисичка, пропадет твоя косичка, не за свое дело взялась!

— А мы то дело считаем нашим, при котором человек становится краше,— не стушевалась Маргаритка.

Димка, скажем, попал в первый комплект, а она по соседству с ним во второй. Получилось: ваше поле с нашим рядом, посередочке межа. Не широка межа — дорожка посредине цеха, он — справа, она — слева.

Лихо чуб зачесывает Димка, все он ждет, когда же, наконец, споткнется Лисицына, молодая помощница мастера. Когда она ему в ноги поклонится, обратится за помощью. А она работает на славу, у самой сил, уменья, смекалки хватает. Вот что значит теплый клубочек-поводырек у нее в кармане.

Не терпится Димке: как же так—не сбываются мои пророчества ни в одном пункте.

— Лисичка, а и впрямь, знать, помогает тебе клубок-поводырь.

— Еще бы... Его бабка моей прабабки запряла, а вот твой дедушка не постарался для тебя, — отшучивается она.

Угодил Димка в тот самый комплект, где мать его работала. От матери-то он и получил первую нелицеприятную критику.

— Что это у тебя, Димушка, порой то промах, то мимо, вона у Лисички-то как складно дела пошли, а ты нас, мастер, подводишь...

Сын так отзывается:

— Что это ты чужую хвалишь, а своего родного хаешь. У нас, по-моему, не хуже ихнего в комплекте.

— Чужое хорошее и не хвалить — от людей утаить, свое плохое, если и хвалить, то все равно с рук не свалить.

Вот так-то сладко утешила его мать. В этот день крепко он призадумался. О чем он думал, к каким выводам пришел, никому не открылся.

Но тут вскоре другое происшествие. Мать его по своей воле да по согласию мастера перешла в лучший комплект Лисицыной. Час часа не легче. Не успел он очухаться, на ткацкой начались разговоры еще интереснее. И все это, заметьте, не подпирает Димкин авторитет в мастерстве, а будто шапкой нахлобучивает, чтобы его не видно было. На провер получается результат не веселый: ждал к себе на поклон Лисичку, а тут хоть сам не нынче-завтра ступай к ней на выучку.

Но не таков был Димка.

Больше года проработала Маргарита помощником мастера. Фабрика плечи ее не сломила, красоты ее не убавила, но доброй славой наделила.

У кого спеси поменьше, так молодые-то мастера приходили к ней поучиться без всякого зазнайства. А что в том унизительного мужчине? Ничего! И всем она, чем могла, помогала. Никто о ней плохого слова не слышал на фабрике. Один лишь Димушка дуется, как старый кисель. Уж теперь он и рад бы сторонкой обойти Маргариту, но нет, она, зоркая, сама о себе напоминает.

— Дима, сходил бы ты к нашей бабушке, да попросил у нее клубок-поводырек, хорошее средство, отсталым помогает.

Диме Ползунову теперь остается слушать да тереть к носу, мол, так-то скорее обида пройдет.

Но меж тем и Дима становится помаленьку другим. Молчком, молчком, но хорошее в работе перенимает от товарищей, а больше от своей неугомонной соседки. Но никак не встанет с ней вровень.

Собирались ткачихи на большой деловой технический совет, с ними же мастера, инженеры, представители от фабкома и парткома. Все на том совете одну думу думали: как нам славу своей „Пролетарской ветки“ не уронить, чтобы каждый, кто прял, кто ткал, не стыдясь, хоть перед всей страной, мог сказать о нашей ткани: это мы пряли! Это — мы ткали! Полюбуйтесь на нашу работу, люди добрые! Думали о том, чтобы слабых-то звеньев больше не оставалось

ни малого звенышка, чтобы новое начинанье сразу подхватывали тысячи сердец, чтобы росло оно, цвело, чтобы всех вело к лучшим светлым дням, к солнечному коммунизму, ведь мы теперь на подступах к нему. Чем быстрее и дружнее пойдем, тем скорее придем. Все думали о том, что есть нового, хорошего, скажем, у тех же соседей, московских ткачей, у калининских, у костромских или ярославских, к себе принять, а свое хорошее в работе им передать.

Только так-то и можно вперед большими шагами шагать. Думали и о том, чтобы от новых машин, от советской техники взять полной мерой все, что можно. А чтобы от сложной хитрой машины все взять — нужно хорошо ее душу знать. Жизнь с каждым днем вперед и вперед течет и техника наша на месте не стоит, надо за ней поспевать. Чтобы новым машинам рачительным хозяином быть — надо их всей душой полюбить. Новая-то пятилетка с прежней горячей трудовой душой, но со своей особой красой, неповторной. Всем трем предшествующим она — родная сестра, но тем и отлична от своих сестер, что с ее высоких высот все явственнее виден коммунизм.

Не это ли все делает наших людей сильнее, дает широкий разворот всем смелым начинаниям.

Ира Лаптева, молодая ткачиха, стахановка, на собранье и шепчет своей подруге Маргарите:

— Вот когда нам нужен вновь клубок-поводырек, помнишь ли, бабушка твоя наказывала.

Усмехнулась подруга, кудрями тряхнула:

— Боюсь я: старый бабушкин клубок не найдет новых дорог, нам нужных.

Держала Маргарита на том собрании речь простую, короткую, но ясную. Всем ее речь по душе пришлась, но одному Диме не полюбилась. Говорила она о том, что задачи перед всеми нами ясные, нам они близки, дороги, понятны. Не зря мы новые пути ищем в труде. Не пропали наши искания. Многое мы нашли, но не все еще. Вон в Ленинграде на заводах, вы все слышали... А в Москве. А в других городах, да и у нас тоже. Много новых дорог нам открылось. Открылись они потому, что нас свободная работа радует. Где тут Дима Ползунов? Что давно я его звонкого голоса не слышу? Может, у тебя, Дима, тоже хорошая думка припасена. Не гоже мужчине в кусты прятаться.

А мать-то смотрит на Диму, будто за руку его на круг тащит, что, мол, ты больно присмирел. Когда в школу ходил, перед девчонками кичился, да, выходит, с высокой ступеньки свалился.

Однако постой, в кусты он не прячется от трудностей... Не такой закалки человек. На круг-то не пошел, а со своего места откликнулся:

— А что, у нас голова для шапки, а руки для варежек. Давай, давай, я тоже не отказываюсь.

С того дня и началось.

Раньше хорошее новшество неторопливо перекатывалось из цеха в цех, от фабрики до фабрики. А тут сразу докатилась широкая волна из цеха в цех, от фабрики к фабрике, от города к городу. Веселее заговорили станки, еще чаще застучали батаны, не только в Лисичкином гнезде, на всей фабрике, по всей округе.

Ткачи из ситцевого края откликнулись на славный ленинградский запев, на московский призыв. То, что пятилетним планом задумано,— все будет сделано к своему сроку, добротно и хорошо.

Видишь, жизнь сама наглядно показывает, при новых порядках людей на старую мерочку не мерь, а то шибко промахнешься.

А. БЛАГОВ

МЫ ПРАЗДНУЕМ ОКТЯБРЬ

Он снова наступил,
Наш праздник молодой,
Октябрьский звонкий день,
Прославленный навеки.
Горят огни знамен
Над улицей родной,
И песни широки,
Как в половодье реки.

Гордится мир труда
Величьем наших дней.
Народы свято чтут
Советскую державу,
И край рабочий наш,
И город текстилей,
Как счастье, берегут
Своей отчизны славу.

Стояли мы в цехах
На вахте у машин,
Стремились праздник свой
Победами отметить.
С валов бежал, спеша,
Ивановский сатин
И ситец расписной,
Что лучше нет на свете!

За качество борьба
Не гасла ни на час,
Гордились мастера
Успехами своими;
Сегодня видят все,

Как лучшие из нас
В колоннах Октября
Идут передовыми.

Могуча и крепка
Советская страна —
Надежда всей земли,
Отечество свободы;
Над миром, как маяк,
Возвысилась она,
Грядущее свое
В ней видят все народы.

К социализму путь
Уже обрел Китай.
Сиянью наших зорь
Дорога не закрыта.
Слова „да будет мир!“
Летят из края в край,
И близится конец
Магнатам Уолл-стрита.

Народы не купить
Им никакой ценой!
На гибель обречен
Их замысел кровавый...
Мы празднуем Октябрь.
Над мирною страной
Торжественно шумят
Знамена нашей славы!

ПУШКИН

Он родину прославил, как поэт,
Как патриот страны своей любимой.
Восторженно внимает целый свет
Мелодии стихов неповторимой.

Была ему свобода дорога
И ненавистен гнет самодержавья;
Ему другие снились берега —
Мир без оков, насилья и бесправья.

Как исполин, стоял он под грозой,
Когда вокруг царила ночь глухая;
Встречал беду с поднятой головой
И шел вперед, борясь и побеждая.

В жестокий век он для отчизны жил,
И знал: „Из искры возгорится пламя".
Могучим словом вольности служил,
Ее воспел бессмертными стихами.

Искал он правды, света, красоты,
Хотел, чтоб солнце встало над землею:
За те живые, вольные мечты
Он был сражен продажною рукою.

Мы строим жизнь свободную — свою.
Крепка, сильна советская держава,
И Пушкин с нами в боевом строю,
И все светлей его и наша слава!

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ

ДРУЖБА

Теплый июльский вечер
Синевою окутал город.
Плывут к багровому солнцу
Лебеди-облака.

Я выхожу из квартиры
Шестиэтажного дома,
Шумит Советская улица,
Волнуется, как река.

Иду по зеленому скверу,
Разбитому возле театра,
Кругом — молодые деревья
(Как быстро они растут!).
Смотрю: навстречу шагают
Ребята с родного завода,
Их узнаю издалека,
С футбола они идут.

Я им пожимаю крепко
Сильные, смуглые руки.
Они отвечают тоже
Горячим пожатием рук.
Садимся все на скамейку
Под шапкой развесистой липы,
И песню, любимую песню,
Заводит мой лучший друг.

Поет он о нашей Отчизне,
Ее широких просторах,
О счастье жить и работать
В такой чудесной стране...

Сегодня его бригада
Закончила пятилетку.
И я не отстал от друга,
И радостно нам вдвойне.

К нам подошли девчата
С фабрики „Красная Талка",
В рабочей учимся школе
Мы с ними по вечерам,
Вместе штурмуем науку,
Стремимся к ее вершинам, —
Каждый из нас мечтает
На смену придти мастерам.

В нашей стране возможно
Мыслям заветным сбыться —
О нашей судьбе заботятся
Сталин и весь народ.
Недаром горячая юность
Навстречу заре шагает,
Ее молодою гвардией
Партия наша зовет.

... Ночь опустилась на землю,
— Пора по домам, ребята,
На Спасской кремлевской башне
Куранты двенадцать бьют...
Как хорошо сегодня
Чувствовать радость дружбы,
Которая нас вдохновляет
На героический труд!

В. ВЕЛИКАНОВ

СТАРЫЙ КОНЮХ

В этот день конюх Еремин отпросился у председателя на базар, и поэтому на утренней уборке он торопился.

„Провожусь я с ними до обеда, если буду носить воду ведрами, а что наторгуешь на базаре при шапошном разборе? Не беда, сгоняю-ка я их к колодцу...“

Застоявшиеся брюхастые кобылицы, почуя простор, весело заржали и разбежались по двору. Еремин щелкнул кнутом и строго, но любовно прикрикнул:

— Ну, вы, баловницы! Марш к колодцу!

Длинное корыто —„ледянка“ обмерзло льдом, будто тестом, и казалось, что это тесто ползло через край корыта и намерзло на земле гладким ледяным полом.

Кобылы, скользя по льду, осторожно подошли к корыту и нехотя приложили теплые губы к холодной воде. И вот здесь случилось то, чего Еремин не ожидал и что повлекло за собой большие душевные волнения.

Зорька, широкозадая, престарелая кобылица серой масти, цапнула зубами молодую рыжую кобыленку Вальку, а та вспылила и обеими задними ногами хлопнула Зорьку в живот. Зорька поскользнулась и грузно грохнулась на лед, а Валька прыгнула через ледянку и широким галопом поскакала в конюшню, веером задрав хвост. Еремин бросился к Зорьке, схватил ее за хвост и, силясь поднять, взволнованно заговорил:

— Ну, ну, милая... Что ты, а? Подымайся...

Зорька рванулась и встала, задрожав грузным телом. Поставив ее в денник, Еремин приложился ухом к большому зорькиному животу. Живот ее тревожно колыхался и в пахах почему-то сразу пропотел горячей испариной. Вслушивался Еремин долго и напряженно. Нависшие седые брови чуть-чуть вздрагивали. Потом он погладил Зорьку по животу и заглянул ей в глаза. Большие темные глаза ее ярко блестели, и Еремину показалось, что Зорька плачет и с таким болезнен-

ным укором смотрит на него, будто хочет сказать: „Ах, какой ты... Что ты со мной сделал...“

На базар в этот день Еремин не поехал. Пробыв на конюшне целый день, остался и на ночь. Заперев дверь на крюк, он прилег на солому в углу фуражника и задумался. Все шло хорошо — и вот, на тебе! Будто от неосторожного обращения с огнем поджег новое здание, сделанное своими руками...

В сущности, он очень любил своих питомиц, гордился ими и ухаживал старательно, но были у него с Ваней Фроловым досадные размолвки, которые сейчас всплывали немым укором. Заведующий конефермой был, правда, деловой и толковый, но очень уж молодой и горячий. Вернувшись из армии после войны, он весь уход за лошадьми поставил по-военному, а для кобылиц сделал новую конюшню с просторными глухими станками и электричеством.

Ваня часто поучал старого конюха, а Еремин обижался.

— Я и сам знаю, как надо делать. Слава богу, всю жизнь с лошадьми прожил и на своем веку столько жеребят вырастил, что другие и во сне не видали. С матками я никогда не нянчился, как вы, а жеребята выходили одно загляденье.

Завтра Ваня приедет с районной конференции и сейчас же прибежит на конюшню. Заботливо, как всегда, спросит:

— Ну, как, Андрей Федорыч, дела-то? Идут? Докладывай.

А что тут доложишь-то... И сказать стыдно и не сказать — совестно.

И он вспомнил недавний колхозный вечер в честь „Дня урожая“, на котором его прославили за хорошую работу. Он выпил стакан вина и хотел сказать ответную речь, но силы вдруг изменили ему, он прослезился, махнул рукой и сел. Но зато за него хорошо сказал Ваня Фролов.

— Стране нашей нужен такой конь, который бы и воду вез и как ветер нес. И таких коней будет давать наш колхоз, а воспитывать жеребят-рысаков будет наш лучший конюх-стахановец дорогой товарищ Еремин Андрей Федорыч. Я уверен, что мы таких коней разведем, что сам Буденный приедет к нам в гости.

Все захлопали в ладоши и закричали „ура“, а потом Ваня сел рядом с Ереминым и, чокаясь бокалом, сказал:

— Погоди, Андрей Федорыч, мы скоро рапортовать будем товарищу Сталину о наших конях. А в случае чего,— свой эскадрон сформируем и... на защиту родины, как бывало. Надо только дело поставить на отлично.

Вот тебе и поставил „на отлично“... Случится что-нибудь нехорошее с Зорькой, а колхозники и скажут: „Ошиблись мы в тебе, Андрей Федорыч. Здорово ошиблись...“

На дворе крепчал мороз, и вскоре поднялся сильный ветер. Он вихрился по двору и засвистывал в невидимые дверные щели, наметая у порога мелкую, сухую до хруста, снежную крупчатку. Через открытую вентиляционную трубу морозный воздух врывался ледяным потоком, и вскоре в конюшне стало совсем холодно.

Еремин протяжно застонал и проснулся. В коленях и плечах сверлила боль, в валенках захолодели ноги. Морщась от боли, он медленно поднялся с соломы и, полусогнувшись, подошел к вентиляционной трубе. „Надо закрыть", и тут же передумал: „Духота будет... Как бы не повредило лошадям". И не закрыл. Подошел к зорькиному деннику.

Старая его питомица лежала, закрыв глаза, и временами тихо стонала — нето от какой-то боли, нето от тревожных сновидений.

К утру ветер стих, но мороз не сдал. Чуть стало рассветать, и на конюшню пришел Ваня Фролов. Увидя Еремина, он удивился:

— Почему ты здесь ночевал, а не Бураев?

— Я его домой отослал,— сипло заговорил Еремин.— Разве они, молодые-то, углядят как надо...

Фролов повысил тон, и голос его зазвучал металлически, строго.

— Придется на тебя, товарищ Еремин, дисциплинарное взыскание накладывать. Самовольничаешь.

Еремин в ответ что-то хотел сказать, но мучительно закашлялся и, вздрагивая телом, схватился рукой за колени.

— Ты что?

— Ревматизма проклятая отрыгнулась...

— А ты, видно, вентиляцию-то всю ночь держал открытой?

— Да...

— Эх, ты, старая твоя голова!— насмешливо воскликнул Фролов.— Простая техника, а подвела...

— Я амияку боялся... ты сам же говорил на занятиях...

— Ну, правильно, говорил, но надо же понимать вопрос до глубины, а ты верхушку схватил, а корешок-то и не вытянул.

Фролов взял Еремина за руку и уже мягко произнес:

— Ну, ладно, Андрей Федорыч, ладно, ты бы ночью хоть в конюховку зашел погреться... Иди-ка теперь домой и отдохни.

Еремин идти сам уже не мог. Его повел Фролов. Рядом с высоким и рыхлым Ереминым Фролов казался ловким мальчиком, но этот „мальчик" так крепко обхватил за талию сутулого великана, что почти нес его. А Еремин всю дорогу ворчал на свою болезнь:

— И надо же было тебе, холера, подвернуться не вовремя... Сатана кислая. А все виновата моя старая башка.

Фролов грубовато оборвал его:

— Ладно уж, будет тебе... Короче шаг!

Еремин и так еле передвигал ногами. При каждом шаге он судорожно весь вздрагивал и морщился.

Дома Еремин, кряхтя и ругаясь, улегся на широкую никелированную кровать и почувствовал вдруг, что не скоро встанет на ноги. Лукерья, его жена, маленькая и толстая, но подвижная старушка, увидя мужа, взволновалась:

— Что это с ним?

Фролов успокаивал ее:

— Не беспокойся, бабушка, простудился он немного. Старому-то коню по-молодому прыгать нельзя, а он прыгнул. Вот и приключилось. Смотри за ним хорошенько, а я доктора из района вызову.

И хотел было уйти, но Еремин многозначительно позвал его к себе пальцем. Фролов подошел к кровати и наклонился. Их глаза встретились в упор. Карие, с молодым блеском, глаза Фролова с пытливым ожиданием того, что сейчас скажет Еремин, и когда-то васильковые, а теперь выцветшие и усталые, глаза Еремина с таким выражением, что вот он, Еремин, скажет сейчас своему начальнику что-то весьма значительное, чего он, начальник, не знает, но знать должен.

Но Еремин вдруг моргнул и спрятал это выражение глаз под синеватые веки.

„А, может, и обойдется как-нибудь...“—подумал про себя.

Открыл глаза и тихо проговорил:

— Да, Ваня... Жизнь-то новая стала, здоровая, а тело мое скрипит, как старая телега, и в новую колею иногда не попадает...

— Ну, что ты, Андрей Федорыч, на себя наговариваешь,— успокаивал его Фролов.—Знаешь народную пословицу, что старый конь борозды не портит.

— Как сказать... А, может, когда, по слепоте и испортит.

— Ну, ладно, будет тебе. Лежи, а я пойду.

— Гляди, Ваня, назначь к кобылицам надежного человека.

— Назначу, будь спокоен.

И ушел. А Еремин стонущим голосом обратился к жене:

—Лукерья, сходи-ка к ветсанитару за динатурой да баньку истопи. Да скорей, а то хворать-то некогда. Ой, загрызли, дьяволы...

Он застонал и заворочался на постели. Лукерья суетливо потопталась на месте и обидчиво прослезилась:

— Слава богу, доходился... И днюешь и ночуешь со своими кобылами и про дом свой забыл. На базар вчера не поехал и ничего не наторговал. Э-эх, геро-ой!.. Тебе все больше всех надо... Вот как останешься калекой,— кому ты нужен будешь?.. С голоду подохнем на старости лет-то...

— Не такая теперь жизнь, чтобы с голоду помирали люди. Что ты развылась... Разве колхоз бросит своего человека?

— Пока работал, так и хорош, а скопытился, так и не гож,— не унималась старуха.

Еремин рассердился. Густо покраснев, он приподнялся на локти и сипло закричал:

— А ты забыла, как сухие куски собирала по чужим людям да богатому дяде за грош спину гнула?! Свинья. Колхоз жизнь нам дал, а ты лаешь на него... Замолчи, а то!..

Лукерья не испугалась угрозы. Гордо выпрямилась и вызывающе ответила:

— А что „а то“? Нечего на меня кричать и стращать... Старинку вспомнил? Руки коротки. Не то теперь время.

И, накинув на плечи новую шубку, неторопливо вышла из избы.

...Зорька металась в деннике, взволнованно ржала и неотрывно смотрела через решетчатую дверь. Влажные большие глаза ее масленисто блестели, и вся она сразу как-то похудела и осунулась.

А в проходе конюшни на свежей соломе лежал длинноногий вороной жеребенок и перед ним на коленях, распахнув шинель, стоял Фролов. Его обступили несколько колхозников. Около головы жеребенка на коленях стоял конюх Бураев — тихий, белесый мужчина средних лет. Фролов легкими равномерными толчками нажимал на грудь жеребенку, делая искусственное дыхание.

— Как это случилось?—тихо спросил кто-то.

Бураев растерянно развел руками.

— После утренней уборки гляжу это я, а Зорька будто не в себе: то ляжет, то встанет и все на живот посматривает. Я думал „колики“, а она жеребиться стала. Испугался я: по графику ей надо было еще месяц ходить, а она вон что вздумала...

— Перестань болтать,— строго перебил его Фролов.— Видно, дрыхнул, а он и задохнулся...

Бураев испуганно заговорил, заикаясь вдруг:

— Что вы, братцы... Не спал я... Всю ночь не сомкнул глаз... Или я сам себе лиходей...

Колхозники почти все разом заговорили:

— А какой лошонок-то!

— Красавец!

— Весь в отца!

— Хороший был бы рысак.

— Еще бы, его отец призы брал.

— Может, человек ударил?..

— Ну, что ты, разве человек станет свое добро портить...

— Не-ет, это лошадь ударила.

Бураев ухватился за последнюю мысль, тщетно силясь найти мотивы для своего оправдания.

Он видел своих товарищей, которые еще вчера были с ним дружелюбны, а сегодня стоят вокруг него холодной, мрачной стеной.

Он принадлежал к тому типу малодушных людей, которые и без вины кажутся виноватыми.

— При мне Зорьку никто не бил. Может, при Еремине?..

И опять его осек бригадир:

— Ты на других не вали. Андрей Федорыч у нас человек надежный.

В это время кто-то из колхозников тяжелым грудным басом покрыл все голоса:

— Сволочи! Угробили рысака!..

Фролов вздрогнул, почувствовав, что это задевает и его.

Он поднял голос:

— Товарищи, не волнуйтесь. Я сейчас доложу председателю, и мы вызовем из района ветврача. Виновников найдем, не беспокойтесь. Бураев, следи за дыханием.

— Да... Ищи-свищи. Виноватого найдешь, а жеребенка-то не вернешь,— промолвил кто-то тихо, но едко.

Жеребенок вдруг фыркнул, моргнул и часто задышал с каким-то прихлипыванием. Все оживились, а Фролов радостно приговаривал:

— Ну-ну, малышка, еще-еще фыркни. Так... Молодец! Ну, вставай, вставай!..

Все потянулись руками к жеребенку и подняли его на ноги. На длинных ножках он стоял неуверенно и покачивался, как от ветра. Зорька громко заржала в станке.

— Эх, какой лошонок-то крупный!— загалдели радостно колхозники.

— Выживет ли только, недоносок ведь... Видишь, копытца еще восковые...

— Выходим,— уверенно успокаивал Фролов.— А ну-ка давайте-ка его к матери отведем.

И, поддерживая руками, повели в денник.

В это время в воротах конюшни показался Еремин.

Он торопливо шел к людям, тяжело опираясь о палку.

Овчинный полушубок распахнут, открытая голова взлохматилась редкими седыми клочьями.

Увидя жеребенка, он тревожно спросил:

— Живой?

— Живой, Андрей Федорыч,— бодро ответил Фролов,— хоть и досрочный... Видишь, уж материну сиську ищет... Значит жить будет. Ну-ка, Бураев, помоги ему.

Бураев обхватил жеребенка за шею и потянул его под вымя матери, а Фролов обернулся к Еремину.

— А ты чего с постели встал,— думал без тебя не справимся что ли?

— Да нет, я...— запнулся Еремин,— баба мне сказала, что с Зорькой что-то плохо...

— Вот какая у тебя баба бестолковая... Нет, чтобы человека поберечь в болезни, она же его травит. Ну-ка, давай домой.

Еремин обвел всех красноватыми неморгающими глазами и тихо, взволнованно проговорил:

— Я в этом виноватый, мужики... Я, старая башка, не доглядел. Валька ее ударила... Судите, как хотите...

После его признания наступила вдруг напряженная тишина, когда не знаешь, что сказать и как себя вести.

Первым нарушил эту заминку Фролов.

Будто не доверяя откровенному признанию старого конюха, он нерешительно, мрачновато спросил:

— Как это случилось?

— Старинка потянула...— промолвил тихо Еремин, и голос его дрогнул. Он хотел еще что-то сказать, но покачнулся и едва не упал, его во-время подхватил Фролов. Он быстро застегнул Еремину полушубок, надел ему на голову свою ушанку и, не глядя в глаза, сумрачно сказал:

— Иди, Еремин, домой... иди. Тебе еще полежать надо. Выздоровеешь — взыщем за все. За признанье спасибо. Эх, ты... друг мой... Как ты нас обнадежил... Бураев, отведи его.

Бураев неловко взял Еремина под руку и повел со двора. Колхозники угрюмо смотрели им вслед, а мартовское солнце заливало весь колхозный двор, расплавляя серый ноздреватый снег, грело тихо шагавших по улице Еремина с Бураевым и, врываясь в широкие двери конюшни, пригревало встревоженных колхозников, Фролова.

И у всех на душе становилось теплее, легче.

В РАЗВЕДКЕ

Густой хвойный лес сползал по горе в лощину, но здесь внизу он переходил в елочный кустарник, а потом по широким плечам другой горы опять взбирался вековыми соснами вверх.

Внизу, у молодых елочек, заваленных до половины крепким осевшим снегом, притаилось семь человек.

В белых маскировочных костюмах, присев на лыжах, они издали казались снежными кучами и сливались с молочной пеленой земли.

Командир отделения гвардии сержант Качаев, придерживая в руках побеленный автомат, напряженно вслушивался и

всматривался в лесную глушь. Темносерая ночь смазывала очертания предметов, а лес словно вымер — ни звука. Качаев даже слышит дыхание своих бойцов, и оно ему кажется шумным. Но вот впереди, на горе, послышался тихий протяжный свист и чуть мелькнул белый силуэт. Слегка присев на лыжи и откинув палки назад, человек стремительно покатил в лощину, ловко лавируя меж деревьев и кустов, перелетел ее, как на крыльях, и, круто завернув в ельник, упал на левый бок около командира отделения.

— Можно потише. Не дома. Ухарство здесь ни к чему,— одернул его сержант. Дозорный Васильев с полным снаряжением, в просторном маскировочном костюме,— короткий и непомерно толстый, сдерживая дыхание, шопотом доложил:

— Напал на следы „противника"— восемь человек, все в валенках. Следы ведут к отдельному домику лесника. Шаг большой, след глубокий, В домике огонек, возле домика никого не видно. Деваков остался наблюдать.

Марлевое „забрало", покрывавшее лицо, колыхалось от его горячего дыхания. Глубоко передохнув, он спросил уже спокойнее:

— Какие будут дальнейшие указания, товарищ гвардии сержант?

У Качаева сердце загорелось боевым охотничьим азартом. Наконец-то! Вот они близко. Теперь только надо их умело взять... О, Качаев сумеет их окружить и нагрянуть, как снег на голову! Только бы не ушли...

— Деваков остается на месте, а вы проверьте, нет ли выходных следов из домика. Жду вас здесь через десять минут.

Васильев вскочил и быстро заскользил широким русским шагом по горному склону вправо.

...В ночной поиск отделение гвардии сержанта Качаева послал командир роты. Надо было пройти через лес обходом километров двадцать и действовать в глубине расположения „противника": разведать его оборонительное сооружение и привести „языка". Выполнить эту задачу было очень трудно, тем более, что комбат майор Карпов, проводя двухстороннее учение, всегда неожиданно усложнял обстановку и придумывал какую-нибудь боевую хитрость. Командир роты капитан Махов знал смелую предприимчивость Качаева и лыжную натренированность его отделения, но, снаряжая в ночной поиск, все-таки напутствовал:

— Смотрите в оба. Будьте осторожны. Не попадитесь сами в ловушку. Помните, от вашего успеха зависит успех всей роты.

— Не беспокойтесь, товарищ капитан,— заверял Качаев,— я вас не подведу. Ребята у меня, сами знаете, все как на подбор.

— В ребятах-то я не сомневаюсь,— продолжал капитан,— а вот вы иногда горячитесь не в меру.

Качаев в душе гордился и даже не скрывал этого перед товарищами. Да, такую ответственную задачу поручили именно ему, а не другому какому-нибудь командиру отделения. И это не случайно. Во время войны Качаев был рядовым автоматчиком, а теперь он уже сержант сверхсрочник и командует передовым отделением.

Десять минут текли почему-то очень медленно, и Качаев несколько раз нетерпеливо посматривал на фосфоресцирующие стрелки ручных часов. Тревожно думал: „только бы не ушли."

Но вот снова послышалось шуршание лыж, и из серой мглы вынырнул Васильев. Присев к командиру отделения, он взволнованно докладывал:

— Товарищ гвардии сержант, с другой стороны обнаружили еще следы и тоже восемь пар... И все к домику, а обратных следов нет...

— Отлично,— прошептал Качаев,— этого-то нам и надо. На ловца и зверь бежит. Теперь мы их зацапаем, как кур...

— Товарищ гвардии сержант, разрешите мне одно сомнение высказать,— попросил Васильев.

— Какое еще сомнение?—нетерпеливо ответил сержант.— Надо действовать теперь, а не болтать зря.

— Я насчет „противника"...

— Ну, говори, да короче.

— Вот меня удивление берет: почему восемь пар с одной стороны и восемь пар с другой. И все раздельные. Обыкновенно по снегу ходят вслед один за другим. Так легче. А еще,— задумался Васильев,— вот следы не одинаковые: те, что справа шли, на носки нажимали больше, с вывертом так, а те, что слева, наоборот, почему-то на пятки больше жали...

— А как это ты разобрал в темноте?

— Я прощупал...

— Прощупал. Разные люди по-разному и ходят, чудак ты, Васильев,— уже нетерпеливо говорил сержант.

— А не многовато ли их для нас будет?—с сомнением спросил Васильев.

— Что ты какой паникер стал, Васильев,— с укоризной сказал Качаев,— вот и видно, что на фронте не был. Внезапно-то мы и взвод можем уложить на месте...

У командира отделения Качаева с молодым солдатом Васильевым установились особые отношения: они были земляками. Оба из Саратовской области, „волжане," хотя Качаев жил в Новоузенском районе, а Васильев за четыреста километров от него—в Ртищевском. И оба за двести километров от Волги. Но земляк земляка видит издалека. Оба работали когда-то в колхозе — только Качаев счетоводом, а Васильев

рядовым колхозником. В минуты отдыха они с тоской вспоминали о своих садах, бахчах и степных просторах.

За малый рост Васильева в роте в шутку звали „мужичок с ноготок“, но все уважали его за трудолюбие и сметливость, а командир отделения считал его своей правой рукой и поручал ему самые ответственные задания.

...Качаев забился под ель, и его закрыли бойцы. На планшете при свете карманного электрофонарика он написал командиру роты донесение о предстоящей встрече с „противником“ и тут же отправил его со связным, а потом отдал приказание:

— Как подойдем к поляне, где домик лесника, так цепью на дистанцию до пятидесяти метров подползем на лыжах к домику и ворвемся в него без выстрела. Если встретится часовой,— снять без звука. Автомат и гранаты приготовить к бою. Если всполошатся,— забросать гранатами и „уничтожить“. Но одного обязательно взять живым. Задача понятна?

— Понятна.

Отделение Качаев разбил на две группы: Васильев трех автоматчиков повел вправо, а сам Качаев с остальными пошел влево, где его ожидал дозорный Деваков. В каждой группе последний боец волочил за собой сосновую густую ветку, которая заметала лыжню.

...Рубленый домик лесника стоял на большой поляне — одинокий и молчаливый. В маленьком оконце еле мерцал огонек. „Видно, спят и не ожидают гостей,— думал про себя Качаев.— Тем лучше. Меньше будет возни“. И дрожь его берет, но не от страха, а от нетерпеливого азарта. На лыжах в рост дальше идти нельзя. Могут заметить. Где-нибудь, наверное, замаскировался часовой. Качаев оглянулся вокруг. Его бойцы замерли за стволами деревьев в ожидании сигнала. Он взмахнул сосновой веткой, и этот знак передали по цепочке кругом. Одновременно, как по команде, отстегнули лыжи и сложили их вплотную рядышком, а на носки лыж надели кольца палок и положили их крестообразно на лыжи. Вот и санки получились. Легли животом на них и, отталкиваясь руками о снег, поползли, поехали вперед. Нет, не тонут в снегу. Прекрасно. Только слышится легкий, поскрипывающий шелест лыж. Все не сводят глаз с домика. Тишина все та же. Часового нигде не видно. „Наверное, замерз во дворе и пошел погреться. Странно... Какая беспечность. Вот за это и поплатятся теперь своими головами. Так им и надо растяпам“,— думал Качаев.

Вот они уже у домика: сержант с Васильевым и Деваковым у двери, а остальные около окон. Ух, как напряженно и шумно все дышат! Особенно этот грузный Деваков. Качаев вскочил и с силой ударил ногой в дверь. Дверь со стуком распахнулась, и они втроем стремительно ворвались

внутрь дома с автоматами наготове. От струи холодного воздуха каганец вздрогнул и потух, прежде чем они могли рассмотреть что-нибудь.

— Стой! Руки вверх! — закричал сержант, но звук его возбужденного голоса замер в пустой избе без ответа.

Бойцы, стоявшие снаружи, направили автоматы в окна на невидимого врага.

От тишины и темноты Качаев сначала несколько опешил, а потом выхватил из кармана фонарик и засветил им по полу и стенам. Никого... Печь, полати, лавки вдоль стен, а на полу хвойные ветки. На загнетке — неостывшие угли и консервные банки, окурки.

— Были, да сплыли,— недоуменно проговорил Васильев, и Качаев почувствовал в его голосе легкую насмешку.

— Тише вы,— оборвал его командир отделения.— Они, может, здесь где-нибудь притаились.

Ногой он отшвырнул хвойные ветки и поднял половицу. Погреб пустой и глубокий. Скользнул туда пучком света. Пусто. Толька одна кадка лежит на боку. И все.

— Странно... Куда же они девались?— смущенно проговорил Качаев, а потом вдруг встряхнулся и промолвил:

— Это что-то не так... Не западня ли это?..

И скомандовал:

— За мной — марш!

Быстро встали на лыжи и цепочкой тронулись от домика.

В это время с двух сторон перекрестным огнем хлынули на них пулеметные очереди.

— Ложи-ись!— крикнул Качаев, но его бойцы уже до команды, как подкошенные, повалились на снег.

Гвардии сержант Качаев, высокий и подтянутый, стоял перед столом и понуро молчал.

Комбат майор Карпов, крупный, спокойный мужчина лет тридцати, сидел за столом. Рядом с ним — сухонький командир роты капитан Махов. На столе лежала развернутая карта с условными обозначениями обстановки.

Майор задумчиво постучал по столу красным карандашом и сказал, глядя в упор на Качаева:

— Так вот, гвардии сержант, задание, значит, провалили...

— Провалил,— глухо ответил Качаев.

— А знаете, почему провалили?

— Нет, не знаю...

— Сметки и осторожности у вас нехватило. Вы думали, что „противник“ дурак, а он перехитрил вас. В заброшенный домик лесника, действительно, вошло восемь человек, и эти же люди вышли из него, пятясь назад. Вот и получилось шестнадцать пар следов и все входные. Простая хит-

ость, правда? А вы не сумели разобраться. Лыжники-то вы хорошие, но это еще не все. Надо было бы дозорным получше прощупать, и к домику не надо было всем лезть, а сначала одного лазутчика пустить. Да и на следы обратить внимание—„следопытом“ надо быть, уметь читать по следам.

Взгляд Качаева скользил выше головы комбата и блуждал где-то по стене. Он не мог смотреть ему в строгие глаза. На щеках рдели красные пятна.

Л. КУДРИН

УТРО РОДИНЫ

Все яснее,
Все шире и шире полоска рассвета.
Ночь бледнеет —
Не в силах стоять перед радостным днем.
Вот и солнце выходит,
По-праздничному разодето,
Согревая счастливую землю
Червонным огнём.

Золотые лучи
Рассевает, как сеятель зерна,
На колхозные пашни,
На горы, леса, города...
А навстречу восходу
Гудки запевают задорно.
И гремит всенародная,
Мощная песня труда.

Над Отчизной моей
Не смолкает прибой созиданья.
В трудовой перекличке —
Бессмертных идей торжество.
С каждым часом растет
Коммунизма прекрасное зданье —
Величайший из зодчих
Умело возводит его.

Мы на поле сражений
Недаром врага одолели —
Перед нашим народом
Широко открыты пути.

Мудрый Сталин ведет
Миллионы к сияющей цели,
До которой—мы верим—
Недолго осталось идти!

НА КАТКЕ

После славных часов боевого труда
В институтах и в шумных цехах —
Хорошо по зеркальной поверхности льда
Пробежаться на звонких коньках!

Свежий ветер прохладой лицо обдает,
Сердце радостно бьется в груди.
Так приятно стремительно мчаться вперед,
Оставляя других позади.

Зимний воздух прозрачен и чист, как хрусталь,
Славно дышится нам на катке.
Под ногами небесная синяя даль
Отражается, будто в реке.

Чтобы мускулы крепкими были всегда,
Чтобы бодрость светилась в глазах —
Хорошо по зеркальной поверхности льда
Пробежаться на звонких коньках!

ИВАН ОЗЕРОВ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

Осенних листьев золотое пламя
Не погасить все крепнущим ветрам.
Не хочет солнце расставаться с нами
И к нам в дома приходит по утрам.

На землю падают косые тени,
Повеял север холодом в лицо.
Кольцо зеленых древонасаждений
Теперь уж стало золотым кольцом.

К нам возвращаются морозы рано,
Посмотришь утром — лужи подо льдом,
И в окна вставлены вторые рамы —
Заботится товарищ управдом!

В отделанных квартирах — шум веселья,
Стучат по половицам каблуки,
В пятиэтажном доме новоселье
Справляют дорогие земляки.

Мы сделаем тебя красавцем, город.
Еще подарком для тебя одно:
И днем и ночью гидромониторы
Упорно роют уводьское дно.

Твои кварталы не окинешь глазом,
Сады и парки — прямо под рукой.
Ты будешь синей лентой опоясан —
Широкой, светлой Уводью-рекой.

Ты с каждым днем становишься красивей.
Я, как и все, свой труд тебе отдам,
Чтобы стоял ты на земле России
Подстать могучим братьям-городам!

МАРТ

Еще под снегом тихо дремлет озимь
И спит трава заснеженных лугов,
Но солнцу любо, что в моем колхозе
Ремонт закончен борон и плугов.

И каждый видит на доске почета
Черты давно знакомого лица:
Вы отличите от других на фото
Не знающего равных кузнеца.

Он со своим помощником вдвоем
И днем и ночью, при любой погоде,
Железо антрацитовым огнем
До белого каления доводит.

А март стучит капелью у крыльца,
И птицы будят землю ранним пеньем.
И слышу я у земляков сердца:
Все ждут весну, как гостью,— с нетерпеньем!

БОРИС ИОВЛЕВ

ВЕСЕННЕЕ

С каждым днем одеваются парки
В зелень листьев... Ликует душа!
Небо — чисто, и солнышко — ярко.
До чего ж ты, весна, хороша!

От тебя, от красавицы русской,
Сердце радостно бьется в груди.
— Кто там ходит по улице грустный?
Веселее, товарищ, гляди!

Посмотри — прямо в небо стремится
Стооконный прекраснейший дом.
У строителей — радостны лица:
Здесь прославился каждый трудом.

Скоро в окна широкие брызнут
С неба вешнего солнца лучи.
За строителей радостной жизни
Тост поднимут в квартирах ткачи.

С каждым днем солнце греет теплее,
Веет ветер, прохладой дыша...
Счастлив тем, что живу на земле я
И что жизнь, как весна, хороша!

Дм. ПРОКОФЬЕВ

ИЛЬЯ КРОТОВ И ЕГО БРИГАДА

Очерк

I

Накинув на себя шинель, Илья вышел во двор. Было тихое, солнечное утро. На голых кустах сирени и акации, на деревьях ярко блестели капли прошедшего ночью дождя. Пахло нагретой землей, прошлогодними листьями и набухшими, готовыми лопнуть почками. От мокрого палисадника, окружающего двор и сад, поднимался парок.

Илья восторженно глядел на этот светлый, точно обновленный мир. Чувство глубокой радости наполняло все его существо. Ему казалось, что он впервые видит и безоблачно-голубое небо, и раскинувшиеся вокруг сады, пронизанные лучами солнца, и молодую игольчатую траву, и даже самое землю, на которой он сейчас стоял после шестилетнего отсутствия.

„Да, как это все хорошо...— думал Илья.— Здесь и воздух кажется другим, и дышется легче."

А сквозь частую вязь кустов за ним наблюдал человек, одетый в старый ватный пиджак, шапку и порыжевшие ботинки с кожаными шнурками. Это был сосед по дому, Кузьма Иваныч Шокин. О приезде Кротова он узнал вчера поздно вечером, вернувшись домой с партийного собрания. Ему нетерпелось поглядеть, каков стал Илья. Но жена отговорила: „Человек с дальней дороги, устал, а ты хочешь его беспокоить. Завтра повидаетесь".

Опершись на грабли, Кузьма Иваныч внимательно рассматривал Кротова, который сильно возмужал и похорошел. Шокину даже показалось, что Илья и ростом стал выше, и в плечах шире.

Шокин вышел из-за кустов. Илья оглянулся, и они некоторое время глядели друг на друга молча.

— Не узнаешь?— спросил Кузьма Иваныч.

— Ну, что ты, дядя Кузьма?..— с неподдельной радостью проговорил Илья.

— Тогда давай поцелуемся,—сказал Шокин, отбрасывая грабли и выставляя вперед свое бритое, еще моложавое лицо.

Они крепко обнялись и трижды поцеловались.

— Вернулся, значит?

— Вернулся, дядя Кузьма,— ответил Кротов, поправляя съехавшую с плеч шинель.

— Здоров?

— Вполне.

— Так и должно быть. Пойдем-ка сядем на лавочку да покурим...

Они прошли в глубь сада.

— Что же думаешь делать?— спросил Шокин, когда они закурили и голубоватый, вкусно пахнущий дымок поплыл между ветвями склонившегося над ними дерева.

— А что делать?— сказал Илья, положив локти на колени и глядя на Кузьму Иваныча. Тот сидел прямо, опираясь грудью на черенок граблей.— Известно что... Пойду по старой дорожке.

Шокин отстранил от себя грабли и, шаркая зубьями по сырой земле, спросил:

— Не узка будет старая-то дорожка?

— Будет узка — на другую перейду. А пока, дядя Кузьма, ничего другого сказать не могу. Шесть лет — срок немалый... Вон как за это время все раскустилось во дворе. Сам понимаешь, может, кое-что и подзабыл. Поработаю, присмотрюсь, — тогда виднее будет.

— Посмотри, конечно... Ведь это я только к слову сказал. Время с тобой...

Через открытую дверь, выходящую на балкон, донесся не сильный, но приятный голосок. В комнате кто-то запел. Илья вопросительно взглянул на Кузьму Иваныча.

— Валя?

— Она...

— Синица!—крикнул Илья.

Он хорошо помнил Валю, младшую дочь Кузьмы Иваныча, отчаянную, егозистую девчонку. В ней было что-то мальчишеское: она любила лазать по деревьям, ходила, широко размахивая руками, и умела свистеть.

„Ухарь какой-то растет“,— смеясь, говорил Кузьма Иваныч.

Когда Илья уезжал на фронт, в числе провожавших была и Валя. На ней было синенькое в горошек платьице с коротенькими рукавчиками, похожими на крылышки, на ногах — тапочки без чулок.

В письмах матери о Вале не было ни слова, и Илья не знал, какова она, как растет, что делает. Время бежало, а в его представлении Валя осталась все той же девчонкой, которую он в шутку называл синицей за ее непоседливость.

На крыльце показалась Валя, только совсем не та, которую предполагал увидеть Илья. Это была рослая, стройная девушка, с большими голубыми глазами и открытым красивым лбом, на который спадала развившаяся прядка волос.

Легко перепрыгнув через лужицу, она вошла в сад.

Увидев перед собой Валю, Илья одновременно удивился, и смутился, и не сразу нашелся, что сказать.

— Синица-то вон какая большая стала,— проговорил Кузьма Иваныч, беря дочь за руку и сажая подле себя.— Ты думал, одни кусты выросли, что ли?.. Так ведь, Валенька?.. Как это сказал про тебя дядя: Валенька — не маленька, чуть повыше валенка...

Шокин рассмеялся на свою же шутку, и все сразу стало как-то проще.

— Да, я и не предполагал, что... вы такая.— Илья хотел сказать „ты“, и не мог преодолеть свое смущение.— Я представлял вас все еще девочкой.

— Вы посидите, а я пойду,— сказал Кузьма Иваныч.— Надо собираться на смену... Мы с тобой, Илья, вечерком как следует потолкуем. Я сегодня рано вернусь. Ты мне все пообскажешь, я — тебе.

Кузьма Иваныч вскинул на плечо грабли и пошел в дом, а Илья и Валя остались сидеть на лавочке. Солнце уже сильно пригревало. Капли дождя с деревьев и кустов осыпались, палисадник высох и посерел.

— Значит, я изменилась?— спросила Валя.

— Очень. Я мог бы и не узнать вас, если бы встретил на улице.

— Представьте, а я совсем не чувствую в себе этой перемены. Мне кажется, что я все такая же... синица,— весело рассмеялась девушка, отгоняя от себя подплывшее облачко папиросного дыма.

— Вы где учитесь?— спросил Илья.

— Я работаю и учусь...

— В самом деле?

— А почему это вас так удивляет? По-моему, до войны вы тоже и работали, и учились...

— У меня было совсем другое положение. А вы могли бы...

— Да, могла бы,— живо подхватила Валя, поняв, о чем хочет сказать Илья.— Но я решила сделать по-своему, как лучше.

Год спустя после отъезда Ильи на фронт Валя поступила на фабрику, как поступали в то суровое время многие ребята и девушки, оставляя преждевременно школы. Они приходили

на фабрику не потому, что в семьях была нужда. У Вали работали и отец, и мать. Но она, по примеру подруг, пошла на фабрику для того, чтобы работой за станками оказать помощь фронту, а значит — и приблизить победу над врагом. Валя выучилась на ткачиху. А еще через год поступила в вечернюю школу, которая находилась при фабрике. Сначала она предполагала закончить среднее образование и поступить в институт, а затем передумала и, не доучившись один год, пошла на вечернее отделение хлопчатобумажного техникума.

— На каком учитесь? — спросил Илья.

— Второй заканчиваю... Могла бы уже быть на третьем, да немножко струсила. Думала, что очень трудно будет, и поступила на первый курс. А теперь жалею...

Илья слушал Валю, следил, как она попеременно перебирала на руках свои тонкие, с короткими ногтями пальцы, и думал о том, что она стала совсем другой — спокойной, рассудительной. Видимо, характер, как и голос, ломается в известном возрасте.

Сказав, что ей надо кое-что поделать по дому, Валя встала и пошла. Илья посмотрел ей вслед. По едва заметным движениям плеч, всего гибкого тела он понял, что девушке хочется побежать, но она сдерживает себя.

„Оглянется или нет?“ — подумал Илья.

Валя не оглянулась.

Кротов прошел сквозь кусты акации, которые служили изгородью, на свою половину сада. На прибитых грядках лежала прошлогодняя ботва помидор, картофеля, огурцов. Здесь все было не так, как у Кузьмы Иваныча. У того двор и сад были прибраны, ботва и листья сложены в кучи, а земля под картофель уже вскопана.

Прежде, до войны, он, вероятно, и не задумался бы об этом. Вместо картофеля, овощей тогда росли цветы, вместо грядок были клумбочки. Суровое время войны повелело заняться другим. А теперь мать едва ли захочет расстаться с тем, что уже вошло в привычку.

„Надо все переложить на свои плечи. Придется заняться и огородными делами“, — подумал он.

Как работала мать на фабрике — Илья знал, сколько работала — тоже знал. Но как она сумела перенести за войну столько трудностей, он все-таки не совсем еще ясно представлял себе.

Кротов посидел еще несколько минут, покурил и пошел домой. В его небольшой комнате было душно. Он открыл окно. От кустов сирени и акации, полных весеннего сока, исходил сильный, горьковатый запах коры. На подоконнике лежала раскрытая книга, и набежавший ветерок осторожно перевернул несколько листов.

„Так вот и года, — подумал Илья. — Уезжал — было двадцать

один, а теперь скоро двадцать семь. Да, шажок большой, что говорить!..“

Но остановившись перед стеной, увешанной семейными фотографиями, небольшими картинами, среди которых было несколько почетных грамот, полученных им в свое время за отличную работу от дирекции фабрики, Илья с неожиданной силой противоречия подумал о том, что в этой комнате ничего не изменилось. Все было так же, как в день его отъезда на фронт. Даже на столе ничего не сдвинуто со своего места. На чернильнице лежало гусиное перо, которое он очинил ради шутки, чтобы попробовать, как это в стародавние времена писали такими перьями. В деревянном расписном стаканчике — почтовые марки, срезанные с конвертов.

„Значит, и тетради целы...“

И действительно: они лежали в ящике стола, там, где он их оставил. Сначала Илья посмотрел обложки с виньетками и четко выведенными словами: „Алгебра“, „Русский язык“... А потом увлекся и стал неторопливо листать тетради. От шелеста страниц на него повеяло ласковым ветерком юности.

Скрипнула, а затем хлопнула калитка.

„Мама идет“,— подумал Илья и пошел ей навстречу.

Прасковья Андреевна, увидев Илью в прихожей, заторопилась, быстро сбросила с себя пальто, поправила волосы, и положила руки на крутые плечи сына, ласково заглядывая в его серые, спокойные глаза.

— Не скучал тут без меня?— спросила Прасковья Андреевна таким тоном, словно обращалась к маленькому.

— Кажется, нет,— ответил он смеясь.— Посидел с Кузьмой Иванычем...

— А Валю видел?

— Видел.

— Какова?

— Очень изменилась, выросла...

— Только и всего?

И вдруг она как бы спохватилась:

— Ты, поди, есть хочешь?— и захлопотала по дому.

Минут пятнадцать спустя Прасковья Андреевна подошла к столу и села против сына. Илья заметил на лице у ней много новых морщинок.

— Ты чего так смотришь на меня?— спросила мать.

— Постарела ты...

— Ну, полно-ка,— отшутилась Прасковья Андреевна.— Года, верно, прибавились, а так — ничего...

После обеда Илья попытался было заговорить с матерью о трудностях, которые ей пришлось перенести за войну, но Прасковья Андреевна только махнула рукой:

— Что было, то, Илюша, прошло. Давай лучше думать, что будет... Не вся жизнь позади, ее впереди много.

„Она все такая же непреклонная и гордая“,— подумал сын.

Илья ушел в свою комнату, взял с подоконника книгу и сел на диван читать. Несколько позже, управившись с домашними делами, в комнату вошла мать, спросила:

— Ты в город не думаешь сходить?

— Собираюсь. Надо посмотреть, каков он теперь стал. За войну-то строили новые дома или нет?

— Ну, как же! Много построено... Посмотреть есть чего! Тебе костюм достать или так пойдешь, при всех наградах?

— Достань костюм.

Илья уже собрался уходить, когда совсем неожиданно к нему зашли старые друзья по фабрике — Сенцов и Чубуков. Коренастый, улыбающийся Сенцов был одет в замасленный пиджачок и такие же брюки. На Чубукове был суконный узкий китель, синие брюки на выпуск и фуражка летчика.

— Ну, вот теперь все в сборе,— заговорил Чубуков, когда вошли в комнату.— Из какого энского пункта прибыл, если не секрет?

— Из Берлина,— сказал Илья.

— Ничего себе, заметный пункт,— рассмеялся Чубуков.— А почему тебя так долго держали в армии?

— Нужен был, вот и держали,— ответил за Илью Сенцов.

Они долго сидели за столом, шумно рассказывая друг другу о том, что каждый из них видел и пережил за годы войны. Особенно горячился Чубуков. Размахивая своими длинными руками, перебивая Кротова и Сенцова, он говорил торопливо, словно беспокоился, что не успеет высказаться.

— Вы о фабрике расскажите, как теперь-то работаете?— просил Илья.

— Можно и о фабрике,— гудел Чубуков,— мы и здесь не отстаем!

— Так и должно быть...

Но каждой беседе приходит конец. Сенцов поднялся сказал:

— Надо, Иван, идти. Поздно уже.

— Для такой встречи вроде бы и ничего...— ответил Чубуков.

— Пойдем, пойдем,— настаивал Сенцов.

— А как вы, ребята, узнали, что я приехал?— спросил Илья.

— Хватился,— весело сказал Чубуков, надевая свою форменную фуражку и сразу становясь как бы на голову выше.— Да о тебе, Илья, по всей фабрике идут разговоры!

— Ладно, ладно,— отмахнулся Кротов,— лишнего-то уж не стоит говорить.

Он проводил своих друзей, вернулся домой и сейчас же пошел спать. Но уснул не сразу. Он лежал в постели и думал о том, что вернулся в горячее время. Из разговоров с Кузь-

мой Иванычем, матерью, Сенцовым и Чубуковым Илья понял, с каким подъемом работают на фабрике люди. Страна выполняла послевоенную сталинскую пятилетку, и он, Илья Кротов, должен был скорее становиться в трудовую шеренгу.

II

И вот он — во дворе фабрики. Перед ним все те же корпуса из красного, потемневшего от времени кирпича, знакомый сквер с большими из цемента вазонами, изогнутая фигура дискобола.

Илья подошел к большой витрине. В середине находилась художественно оформленная доска почета, а влево и вправо от нее размещались портреты лучших стахановцев фабрики. Среди них он увидел портрет Кузьмы Иваныча и Сенцова, с которым когда-то работал в одном комплекте. Кузьма Иваныч вышел сердитым, словно был чем-то недоволен, а Сенцов выглядел веселым и немного застенчивым.

Кротов предполагал сначала зайти к начальнику цеха Лосеву. Но когда миновал длинный коридор и вошел в ткацкий цех с его характерным неумолчным шумом, увидел длинные ряды станков, Илья не мог противиться возникшему в нем желанию — сейчас же пойти и поглядеть на свой комплект.

Был полдень. Лучи солнца падали сквозь окна на широкий боковой проход. Илья остановился возле шкафа. Он ясно представил себе, где и как у него лежали инструменты, запасные материалы. Все это находилось в строгом порядке. Илья никогда ничего не искал. Ему достаточно было протянуть руку, чтобы безошибочно взять то, что ему нужно.

„А теперь, наверное, не так,— подумал он и, приоткрыв дверцу, нетерпеливо заглянул в шкаф. Там был полный порядок. Даже полочки вымыты. И ему почему-то вдруг стало неловко.— Заботливые руки... У меня, пожалуй, погрязнее было".

— Вы что здесь ищете?— послышался голос сквозь шум станков.

Илья повернулся от шкафа. Перед ним стояла молодая женщина с деловито-строгим лицом.

„Что-то знакомое...— подумал Илья.— Где-то я видел этот стремительный взлет бровей, эти плотно сжатые, резко очерченные губы".

— Вы Кротов, да?— спросила женщина.

— Кротов,— ответил Илья.

— Я сразу вас узнала. И в лицо, и по костюму... А вы меня не узнали, да?

Илья напряг память. „Неужели это она, та молоденькая ткачиха, которую он когда-то рекомендовал комсомольским группоргом?"

— Вы работали в бригаде Сенцова, ткачихой,— сказал с взволнованной поспешностью Илья.— Но вот фамилию вашу, признаться, забыл... Подождите! Ивникова?

— Конечно!— весело подхватила она, и улыбка заиграла у нее на лице.

— А теперь помощником мастера работаете?

— Да, уже четвертый год...

— Как идут станки?

— Хорошо. Конечно, бывает, что и покапризничают, не без этого... Сами знаете. Но план перевыполняем каждый месяц, держим цеховой вымпел. С Сенцовым плохо работать нельзя... как и с вами. Простите, ткачиха зовет...

На этом комплекте Илья проработал до войны три года. Здесь все было то же самое, что и в других комплектах. И тем не менее он казался ему ближе. Может быть по тому, что здесь каждый станок хранит тепло его рук. Илья до сих пор помнит, что третий станок по проходу всегда доставлял ему много хлопот. У него часто разлаживался боевой механизм. А тот, что возле опорного стояка, был с причудами: то работает превосходно, а то вдруг начинает „характер показывать".

Кротов хотел более подробно расспросить о работе комплекта, но, видя, что Ивникова очень занята, пошел к начальнику цеха. Маленькая комната Лосева находилась у выхода в коридор, который отделял ткацкий цех от приготовительного отдела. Первая, глухая дверь вела в комнату мастеров. Сюда же заходили после смены помощники мастеров, ткачихи. Здесь обсуждали в неофициальном порядке, но столь же горячо, как и на собраниях, результаты работы прошедшей смены. Поэтому в комнате мастеров, куда врывался вместе с входившими шум станков, было обычно многолюдно. Вторая, застекленная сверху дверь вела в кабинет начальника цеха. Там было значительно тише.

— Значит, вернулись?— сказал Лосев, встречая Кротова.

— Только вернулся,— ответил Илья,— и вот явился на фабрику. Принимайте...

— Буду очень рад, Илья Михалыч... Сейчас мы развертываем борьбу за повышение производительности, за качество продукции. А главное — обязались добиться в этом году превращения нашего цеха в стахановский. Мы уже сейчас даем товара больше, чем до войны... Вот у нас как, Илья Михалыч! Так, значит, только вернулись и уже заскучали по работе?

— Не скрою от вас — заскучал. А потом же, Виктор Гаврилыч, днем раньше, днем позже... Какая, собственно, разница? Так уж, по-моему, лучше раньше, чем позже.

— Я тоже так думаю... И, конечно, хотите вернуться на старый комплект?

Илья поглядел в окно, на голубое небо, расписанное легкими перистыми облачками.

— А зачем я туда пойду?— сказал Кротов, переводя взгляд на Лосева.— Мне кажется, комплект в хорошем состоянии...

— Уже успел и побывать?— спросил с удивлением Лосев.

— Не мог утерпеть, Виктор Гаврилыч. Так и опахнуло чем-то родным.

— Вот и становитесь... Там как раз один помощник мастера запасной. А комплект уж и говорить нечего. Сохранили, можно сказать, для вас в лучшем виде.

— А, может быть, есть такой, где потруднее?

— Зачем он вам?

— Когда труднее — интереснее работать.

— Понимаю. Вы все тот же Илья Кротов. Ну, что же: найдем такой комплект. Становитесь на двадцатый... Заранее предупреждаю: тяжелый комплект. Там долгое время ученики работали, так сказать, пробовали свое уменье. Придется потрудиться изрядно, чтобы вытащить его. Но если вы беретесь,— дело доброе. Это вам под силу! Покажете, как надо работать.

— Я не в смысле того, Виктор Гаврилыч, чтобы показать, как надо работать. Это будет похоже на бахвальство: дескать смотрите, я лучше всех. Если бы я думал только о том, чтобы непременно вырваться вперед, я, конечно, попросил бы комплект получше. И, может быть,— не отказали бы...

— Разумеется, не отказал бы,— согласился начальник цеха.

Вначале Лосев, действительно, предполагал, что Кротов будеть просить лучший комплект, чтобы сразу же выйти в число передовых помощников мастера, чтобы поддержать свою прежнюю славу, о которой до сих пор еще помнили на фабрике. Но лишь теперь Виктор Гаврилыч понимал, чего хотел от него этот беспокойный человек, у которого постоянно были какие-нибудь планы.

Илья встал. Лосев вышел из-за стола и, пожимая ему руку, сказал:

— Значит, договорились... Выходите в дневную смену. Все, что нужно будет,— заходите, просите. Не стесняйтесь. Не тот хорош, кто молчит да ждет, а хорош тот, кто ищет и добивается своего.

Выйдя от начальника цеха, Илья несколько минут стоял и прислушивался к сильному, ровному шуму ткацких станков, пощелкиванию челноков, отбрасываемых из стороны в сторону погонялками, присматривался к ритмичному перемещению ремизок, волнообразному движению батанов. Станки стояли длинными, ровными рядами. Между ними торопливо ходили ткачихи, заряжали челноки, надвязывали оборвавшиеся

нити основ. По широкому проходу катили тележки с початками. Илья долго смотрел на все это с той же восторженностью, с какой он глядел вчера на солнечное утро, омытое дождем.

III

Прасковья Андреевна встретила сына вопросом:

— В городе был?

— На фабрике,— сказал Илья. Он прошел на кухню, пояснил:— Завтра выхожу на работу. Уже договорился с начальником цеха...

Мать смолчала. Но по взгляду, которым она поглядела на него, Илья понял — ей было приятно это сообщение.

После обеда Прасковья Андреевна осталась на кухне мыть посуду, а Илья взял грабли, лопату и пошел в сад. Солнце стояло еще довольно высоко, но в воздухе появилась уже предвечерняя свежесть, та особая и мягкая прохлада, которая бывает только весной. Кусты сирени и акации заметно позеленели, закудрявились. На земле лежали вытянувшиеся тени от деревьев. В косых и оранжевых лучах солнца толклись мошки.

Илья взглянул на половину сада Кузьмы Иваныча. Вдоль кустов был уже посажен картофель. К изгороди, которая отделяла двор от соседнего участка, вся земля была вскопана, разрыхлена граблями и разбита на ровные грядки. Яблони и вишни были окопаны, а сами стволы до первых сучков побелены известью.

„Когда он только успел все это сделать?“— подумал Кротов о Кузьме Иваныче.

Он взял грабли и размашисто стал собирать в кучу прошлогоднюю ботву, навеянные ветром листья. Когда весь участок был очищен, Илья пошел в конец сада, вырыл небольшую яму, свалил в нее собранную ботву, листья и засыпал все это землей.

Покончив с этим, Илья присел на лавочку и закурил. На лбу выступил пот. Ладони потяжелели и казались горячими. Он откинул взмахом головы назад волосы и расстегнул ворот сорочки. Тени по саду протянулись еще длиннее, побледнели. Над головой пролетел первый майский жук с таким звуком, словно кто-то коснулся на гитаре басовой струны.

„Да,— сказал он себе, переводя дыхание,— все равно, что окоп полного профиля выкопал. В пот вогнало...“— И мысль невольно вернулась к матери.„ Трудно ей было одной,— подумал Илья,— а со всем справилась все перенесла...“

Прозвенев пружиной, открылась калитка палисадника. Илья посмотрел через плечо. Это была Валя. Она с размаху отпустила калитку. Та громко хлопнула. Девушка оглянулась

на калитку, пожала плечами и неторопливо, мягко ступая, направилась к своему крыльцу.

— Добрый вечер! — сказал Илья.

Валя остановилась.

— А, это вы, Илья... Здравствуйте!

Она вошла в сад, подала Илье руку и присела рядом с ним на лавочку.

— Вы можете меня поздравить,— сказала Валя.

— С чем?

— Сегодня сдала первый зачет и самый трудный,— технологию хлопка. Думала, провалюсь. Преподаватель такой строгий, придира. А ничего, пятерку получила...

Илья рассмеялся:

— Разве вы когда-нибудь провалитесь?

— А вы хотели бы этого?

— Разумеется, нет. Вам все должно удаваться. Вы крутитесь, как веретено...

— Пустое или что-нибудь наматывается на него?

— Мне кажется, многое наматывается. Я и представить не могу, чтобы вы плохо учились.

Илья говорил это не ради красного словца, не ради того, чтобы польстить Вале. Дел у Вали было, действительно, много. Она вставала очень рано, ложилась — поздно. И, вместе с этим, когда бы Илья ни встретил Валю, она всегда казалась веселой, шумной, жизнерадостной.

Вчера он спросил ее:

— Вы когда-нибудь устаете?

Валя удивилась, точно Илья сказал что-то уж слишком неправдоподобное:

— Ну, а как же? Конечно, устаю! Однажды даже уснула над книгой...

— Странно. Вы такая всегда оживленная, бодрая.

— Это уж мой недостаток,— сказала улыбаясь Валя.— Если вам неприятно, я при вас всегда буду хмуриться. Хорошо? Только я не думаю, чтобы пасмурный день был лучше солнечного.

Илье было приятно разговаривать с Валей. Разговор с ней принимал какой-то необычный характер. Он был похож на маленькое состязание. Мысль у девушки — удивительно острая, смелая.

Валя встала и пошла домой. Не прошло и минуты, как ее несильный, но приятный голосок донесся уже из комнаты. Илья взял грабли, лопату и тоже направился домой.

Вечером Прасковья Андреевна достала из комода что-то аккуратно сложенное и подала сыну.

— Что это? — спросил Илья.

— Погляди.

Оказывается, это был комбинезон, в котором он работал до войны.

— И его сберегла!..— сказал Илья, глядя на застиранный, побелевший на швах, однако, все еще крепкий комбинезон.— А ну-ка, я сейчас померяю его... Не мал ли?

— Померяй.

Илья надел комбинезон, застегнул наплечные ремешки, прошелся по комнате, сказал:

— Хорош.

— А не узковат?

— Кажется, стал немного тесноват, но ничего, послужит.

Илья снова прошелся по комнате, оглядывая себя.

— Что ж, мама: выходит, что я не бросал фабрику-то! Просто отлучался на время и только. А?

— Значит, так,— ответила мать, улыбаясь каждой морщинкой своего лица.

На другой день, вскоре же после завтрака, Илья поехал на фабрику. До смены он побывал в отделе кадров, получил постоянный пропуск, а затем пошел в партийное бюро.

Он открыл дверь и почти столкнулся лицом к лицу с невысоким, плечистым человеком, одетым в серый костюм и украинскую сорочку. Человек отступил назад и сказал, протягивая руку:

— Прошу... Здравствуйте. Секретарь партбюро Федоров.

Илья назвал себя.

— Слушаю вас...

— Я зашел встать на партийный учет.

— Недавно из армии вернулись?

— Да.

— Кем были?

— Последняя должность — заместитель командира батальона.

— По политчасти?

— Нет, по строевой.

— До войны на этой же фабрике работали? — говорил секретарь партбюро, дважды пройдясь от стола к несгораемому шкафу.

— На этой. Помощником мастера.

— Ну, что же, товарищ Кротов. Очень хорошо... Значит, как говорится, нашего полку прибыло! — Он снял кепку и потер ладонью по лоснящейся бритой голове.— Заходите, пожалуйста, потолкуем. А теперь прошу извинить: тороплюсь в приготовительный отдел...

Илья пришел в свой комплект перед самой сменой.

Вчера, после разговора с начальником цеха он заглянул в двадцатый комплект. Даже при беглом ознакомлении Кротов убедился, что станки, действительно, очень разлажены, нуждаются в хороших и прилежных руках. В комплекте ра-

ботал помощник мастера Мягков, с которым Илья был немного знаком. Мягков тоже узнал его. Они поздоровались как старые друзья. Кротов спросил:

— Каков комплект, как работается?

Мягков поморщился, словно от зубной боли.

— Неважные дела...

— А что?

— Станки подводят.

Узнав, что Илья встает на этот комплект, Мягков с напускной проницательностью прищурил один глаз, помотал головой и сказал:

— Подсунул тебе комплект начальник цеха, нечего сказать! Он и со мной такую же штуку сыграл. Вот уже полгода здесь... Несколько раз пытался уйти,— не переводят. Я бы тебе посоветовал, Илья: пока не приступил к работе, иди и просись на хороший комплект. Или пусть поставит на старый, на котором до войны работал. Сенцов там. Опять сменщиками будете.— Мягков усмехнулся.— А потом и меня, может, перетянете. Тогда и знамя, и премия,— все будет!

— За совет спасибо. Но этот комплект я выбрал сам.

Мягков удивленно поглядел на Кротова.

— Почему?

— Где потруднее, там лучше... Я думаю, что мы с тобой быстро договоримся обо всем.

— Конечно,— согласился Мягков, потому что ничего больше не оставалось ему делать.

— Если будем работать на одну руку, Василий, мы и на этом комплекте получим знамя. Кто у нас третий помощник мастера?

— Сидорин. Ты его не знаешь. Он с другой фабрики к нам пришел.

— Ничего, узнаю. Только бы работал хорошо, а дружба будет.

Переодевшись в комбинезон, Илья подошел к Мягкову, который что-то делал, нагнувшись над станком.

— Как сегодня работалось?— крикнул ему на ухо Илья.

Мягков оторвался от станка.

— Как вчера. Тут спрашивать нечего. Сам видишь: все станки разлажены... На них высокий процент не дашь, как ни старайся! Ошибся ты, Илья...

— Чего ты меня пугаешь?— спросил улыбаясь Кротов.— Я уже сказал, что из этого комплекта никуда не пойду. На таком интереснее работать. Тут есть к чему руки приложить!

Мягков повел плечами, словно на них взваливали тяжелую ношу.

— Можешь идти...— сказал Илья.

Не проронив больше ни слова, Василий пошел переодеваться. Кротов поглядел ему в спину.

„Он, кажется, так и не понял, почему я не прошу себе лучший комплект. Ничего, поработаем — поймет."

Илья стоял с ключами в руках, не зная, за что приняться в первую очередь. Он испытывал в эти минуты волнение, знакомое каждому человеку, который приступает к своему делу после длительного перерыва.

Рядом остановился станок. До предела обостренным слухом ткачиха уловила, что нарушен ровный, привычный шум, оглянулась. Освободившись, она подошла к остановившемуся станку. Это была Марфа Семеновна Кукушкина, высокая и полная женщина, лет тридцати пяти, единственная из всей бригады ткачиха, знакомая Кротову.

— Что случилось?— спросил Илья.

— Челнок заминает...

Кротов осмотрел станок, пустил, сделал несколько прокидок челнока, затем остановил и стал искать причину замина в челночной коробке.

Обходя станки по заднему плану, там, где находятся основы, ткачиха остановилась, наблюдая за работой Кротова. Он заглянул ей в темные влажные глаза, и между ними произошел короткий молчаливый разговор. Ткачиха спрашивала взглядом: „Что? Не идет?" Илья отвечал: „Сейчас пойдет".

Закончив наладку, Илья пустил станок. Теперь он шел хорошо. Челнок звонко пощелкивал в коробках. Илья облегченно вздохнул, точно сдал трудный экзамен. На лице ткачихи расцвела улыбка. Это была первая благодарность за его работу.

— Работает станок-то!..

Ткачиха согласно кивнула головой. Она отошла к Нине Осиповой, молодой ткачихе, и что-то сказала ей. Та опустила в карманчики фартука руки, приподняла плечи, как бы говоря этим: поглядим, что дальше будет. С первого-то дня все помощники мастера хороши и старательны...

До самого перерыва Илья не отлучался из комплекта. Он работал с увлечением, как человек, который истосковался по любимому делу. В перерыв он пошел в курительную комнату. Там уже было несколько помощников мастера. Некоторые из них сидели на подоконнике широкого окна, освещенные солнцем, так что на цементном полу лежали их тени. Другие сидели на скамейке, пододвинув к себе высокую железную пепельницу.

Щурясь от солнца, Кротов оглядел находившихся в курительной комнате, протянул руку Чубукову и Сенцову.

— Приступил?— спросил Чубуков.

— Работаю. Думаю, Сенцова на соревнование вызвать. Не откажешься, Сенцов?

— Вызывай, обсудим на бригаде,— в полушутливом тоне отвечал Сенцов.—Если показатели будут высокие,— примем.

Илья несколько раз глубоко затянулся дымом папиросы, сказал:

— Да, показатели... Трудно пока говорить о них. Надо освоиться с комплектом, хорошенько ознакомиться с людьми. Но вызов за мной, Сенцов, так и знай.

—Буду ждать,— отвечал Сенцов посмеиваясь, точно все еще не придавал словам Кротова серьезного значения. Однако сам уже подумал: „А почему бы нам первым не вызвать на социалистическое соревнование его бригаду?“

Кротов покурил, сходил в буфет и вернулся в комплект. Высокая, с гордой осанкой ткачиха Марфа Семеновна Кукушкина была уже за станками. Заметив Илью, она подошла к нему и сказала:

— Давеча вы спросили про мою работу. Знаете, мне стыдно было говорить правду. Я могла бы лучше работать, но то одно, то другое тянет назад. Потом до вас тут работал запасной помощник мастера. А какая у него забота о бригаде, если знает, что скоро перебросят на другой комплект?

Это было сказано так просто, так сердечно и доверчиво, что Илья понял, как ей надоела частая смена помощников мастеров, плохо налаженные станки и вообще все те недостатки, которые имелись в комплекте. В Кукушкиной было много сил, желаний делать больше, лучше, и она досадовала, что результаты получались ниже ее возможностей.

— Так и выходит, Илья Михалыч, что мы вроде хуже других. У тех высокий процент, хорошую ткань дают, а нас только поругивают. Надоело числиться в отсталых! — Она посмотрела ему в глаза, с надеждой спросила: — Может, у вас легкая рука? Вот бы хорошо!..

— Кто ж ее знает, какая она,— уклончиво ответил Кротов.— Но, думаю, что не подведет, Марфа Семеновна.

Марфа Семеновна оглянулась, увидела остановившийся станок и заспешила к нему, только сейчас поняв, что немного увлеклась разговором с новым помощником мастера.

Спустя несколько минут к Илье, занятому наладкой станка, подошла самая молодая в комплекте ткачиха Люся Березкина. На ней было простенькое платьице с короткими рукавами, на ногах — тапочки, сшитые из полосок разноцветной кожи.

— Товарищ помощник мастера,— сказала она официальным тоном,— идите посмотрите станок. Что-то не ладится... Только пустишь — остановится, пустишь — опять остановится.

— Сейчас подойду,— сказал Илья.

Березкина повернулась и пошла легко, на одних носках, точно воображала, что идет в туфлях на высоких каблуках.

Когда Илья подошел к ее станку, он работал.

— Идет, оказывается,— сказал он.— Сами, что ли, справились?

— Сама,— ответила Люся и непонятно улыбнулась.

Вторую половину смены Илья работал так же, как и первую. Станки часто останавливались. Несколько раз пришлось бегать в материальный склад. В запасе под рукой не оказалось некоторых деталей.

„Только не надо распыляться,— убеждал себя Кротов, возвращаясь домой.— Сначала вытянуть одно, а потом приниматься за другое. Люди в комплекте неплохие, в особенности Марфа Семеновна... Она сердцем болеет за каждую мелочь. Как она хорошо сказала: „Надоело числиться в отсталых". Значит есть желание работать лучше. А станки разлажены. Вот с них и начнем."

IV

Рядом с кабинетом заведующего фабрикой находилась большая комната, в которой заведующий фабрикой собирал мастеров, их помощников, инструкторов стахановских школ. Кроме стульев, стола, маленькой трибунки, в комнате висели фотовитрины и диаграммы. Здесь было тихо, сюда слабо доносился шум ткацких станков.

В ней-то Кротов и решил первый раз созвать свою бригаду. Когда он пришел в комнату, там уже находились Марфа Семеновна и Люся Березкина. Рядом со скромно одетой Кукушкиной Люся выглядела модницей. Волосы у нее были зачесаны самым странным образом: локоны лежали вдоль и поперек головы, а на лоб нависал пышный валик. Брови она брила, оставляя тоненькие прямые стрелочки. Люся, кажется, и не подозревала, что, если бы не эта странная прическа, не испорченные брови и не подведенные краской губы, она была бы лучше, красивее.

— Здравствуйте,— сказал Илья, пожимая им руки и присаживаясь рядом.

Тряхнув валиком волос, похожим на петушиный гребень, Люся Березкина спросила:

— А что ж вы, Илья Михалыч, ордена не носите? С ними интереснее ..

Вбежавшая в комнату Нина Осиповна избавила Кротова от ответа.

— Не опоздала?— спросила Нина, с трудом переводя дыхание.— Я так торопилась, так торопилась... У меня брат приехал в отпуск. На Урале инженером работает. Четыре года не виделись...

Нину Осипову Илья впервые увидел в тот день, когда вышел на работу, однако ему казалось, что он знает ее давно. У Нины прямой и ясный характер. Она жизнерадостна, восторженна, словно ежеминутно что-то открывала в окружающем мире и так всему поражалась, что выражение радостного удивления никогда не сходило с ее овального, покры-

того светленьким пушком лица. По складу своего характера она была очень похожа на Валю, дочь Василия Кузьмича. Нина работала весело, с увлечением. Ее руки с тонкими, длинными и очень подвижными пальцами быстро и легко мелькали над основами, над полотнами.

Поймав на себе взгляд Кротова, Нина шепнула Марфе Семеновне:

— Какой вопрос будем обсуждать?

— Не знаю. Пока ничего не говорил,— показала она глазами на помощника мастера.

Вскоре пришли остальные работницы комплекта.

— Ну, что ж?— сказал Илья.— Хотя и не совсем аккуратно, но собрались. Я думаю, что потом все наладится... Собрания бригады мы будем проводить каждую неделю, после выходного дня. Соберемся, обсудим свои очередные дела. Что плохо у нас — покритикуем, а что хорошо — отметим, разовьем его, чтобы не стоять на одном месте. Когда человек смотрит вперед, намечает себе дорогу, ему легче идти, у него тогда больше уверенности бывает.

Илья достал из кармана записную книжечку, раскрыл ее. Работницы перевели на нее глаза, как бы стараясь узнать, что там такое написано? Но Илья полистал, полистал книжечку и, сунув ее обратно в карман, продолжал:

— Я вчера поинтересовался, как работают соседние комплекты. Оказалось, неплохо работают. Вот, например, шестнадцатый. (Это был комплект Сенцова. Илья узнал-таки его показатели.) Сорт у них такой же, как и у нас, а выполнение плана за прошлую неделю выше на одиннадцать процентов. В чем причина? Давайте разберемтесь сообща...

— Вы наш комплект не равняйте с шестнадцатым,— сказала Березкина.

— Почему? — спросил Илья.

— А потому, что там каждый станочек выверен и налажен. Не чета нашим... На хороших станках и я могу сто двадцать процентов дать.

— Значит, дело только в станках?

Илья внимательно посмотрел на Березкину.

— Конечно!..— с самоуверенной поспешностью ответила Люся.

— Ну, а если станки будут налажены хорошо, значит — вы обещаете выполнять план на сто двадцать процентов?

Березкина смолчала. Щеки у нее покрылись румянцем.

— Скажите, стесняться некого, интересы у всех одни,— обратился к ней Илья.

Марфа Семеновна сидела и чуть заметно улыбалась. В душе она была довольна, что помощник мастера спокойно и в то же время внушительно умерил прыть Березкиной, которую Марфа Семеновна недолюбливала за несговорчивость

и ту беспечную легкость, с которой Люся относилась к своей работе.

— Ты, Люся, прежде чем сказать, подумай — ладно ли выйдет,— сказала Кукушкина.— Не бросай слова на ветер. Илья Михалыч правильно сказал: давайте сообща разбираться в нашей работе. Вот и вноси свои предложения.

— Я свое высказала,— обидчиво отозвалась Березкина.— Пусть другие высказываются.

— Станки, верно, надо привести в порядок,— заговорила Нина Осипова. — Но, я бы сказала, не только одни станки мешают нам работать. А шлихтовка?.. Какую мы получаем от нее основу? То переклеенную, то с „хомутами“... Не догляди — будет работаться брак. Иногда уток приходит с неровной намоткой. Думаешь, хорошо разогнала станки, а потом смотришь — останавливаются в одно и то же время. Это сбивает с маршрута, мешает правильной работе.

Илья достал опять из кармана свою маленькую книжечку и стал что-то записывать в нее.

— А вы не пишите это, Илья Михалыч,— торопливо заметила Нина.— Это я только для разгона сказала. Настоящее-то я вот что хочу сказать: Люся,— ты не обижайся, пожалуйста,— предупредительно добавила Нина, обращаясь к Березкиной,— Люся все на станки хочет свалить. А ведь во многом мы и сами виноваты. Мы и обслуживаем станки по-разному, и к работе относимся тоже по-разному.

— Только, пожалуйста, без намеков,— сказала Березкина.

— А зачем мне намекать?— с некоторым удивлением спросила Нина.— Что нужно, я и прямо скажу. Разве мне кто-нибудь мешает? Но уж если ты, Люся, напросилась, так я о тебе и скажу. Греха прятать нечего: выработка у Березкиной ниже всех. Браку дает выше нормы. В прошлом месяце Марфу Семеновну один раз вызывали в разбраковку, меня два раза, а тебя четыре... Можешь, Люся, сердиться, но ведь это было! Это все знают. А кто виноват? Станки? Нет, в таких делах мы сами виноваты!

Она улыбнулась и поглядела на всех таким взглядом, словно хотела сказать: „Не удивляйтесь, когда надо, я все могу высказать“.

Илья подождал, потом спросил Нину:

— Может, еще что-нибудь добавите?

— Добавить можно, Илья Михалыч, да так вот сразу я не смогу. Мне надо подумать... Знаете что? Хотите, я все напишу сама, а потом принесу вам?

— Ну, что ж — хорошо, — согласился Кротов.— Только не забудьте.

— Не забуду. Обо всем напишу. А сразу так не могу... Много, я думаю, наберется всего.— Выставив перед собой ладонь и загибая пальцы, она вдруг стала перечислять: —

Станки плохо обмахиваем, получается грязь, она попадает на полотно,— вот вам и затаски. Початки дорабатываем неполностью, много выходит угаров. Сырье ценное, а мы его не используем. Дисциплина хромает...

Увидев, что Илья записывает за ней, Нина сказала:

— Вот я вам и рассказала, и записку нечего писать...

— А еще что?

— Больше пока ничего,— сказала Нина.— И этого надолго хватит.

— А почему молчит Марфа Семеновна?— обратился к ней Илья.

Кукушкина, до сих пор сидевшая молча и внимательно прислушивавшаяся к тому, что говорила Нина Осипова, не сразу отозвалась на слова Кротова.

— Свои заботы я уже вам, Илья Михалыч, передала... в первый же день. Мне приходилось работать на разных станках. Я всего нагляделась. Двадцать лет на фабрике. На этом комплекте шестой год работаю...

— Он и раньше был такой же?— спросил Илья.

— Нет, получше. В начале войны на нем ученики работали, к практическому делу приучались, а ремонтировать-то станки как следует забывали. Сегодня недосмотр, завтра недосмотр — вот и довели комплект до такого состояния. Нина все очень правильно сказала. И это надо будет сделать. Но меня беспокоит то самое, о чем я говорила вам. На душе неспокойно. Все подсмеиваются над нашим комплектом. А мы тоже хотим быть настоящими стахановцами, идти в первой шеренге. Я бы так сказала, Илья Михалыч: и станки надо чинить, и порядки навести, но самое главное — мнение сменить о комплекте. Когда душа неспокойна, тогда и работается хуже. Вот что я хотела сказать... Ведите бригаду, а мы откликнемся в полную силу!

Из всего того, что было сказано, Илье стало многое понятно. И люди как-то больше раскрылись, стали ближе. Только Люся Березкина держалась попрежнему в стороне. Она была неглупой девушкой, но неуравновешенной, самолюбивой.

— Очень хорошо, что все мы согласны работать лучше,— сказал Илья, заканчивая собрание бригады.— Значит, добьемся своего, выйдем в передовые. А теперь пора за станки... Скоро смена.

Все пошли в цех.

После этого собрания у Кротова осталось ощущение смутного неудовлетворения.

„Не так следует проводить собрания,— думал он.— Надо взять какой-нибудь один вопрос и решить его, чтобы с пользой было для дела. А то получился просто хороший разговор. Впрочем,— на первый раз ничего. Поближе узнали

друг друга. Потом все это наладится и развернется, и порядок будет."

Когда он пришел в свой комплект, Мягков стоял возле шкафа и вытирал руки тряпкой, показывая всем своим видом, что на сегодня он работу закончил, хотя еще не загорались красные сигнальные лампочки, извещающие, что смена прошла.

— Ты, кажется, куда-то торопишься?— спросил Кротов.

Василий не понял скрытой насмешки.

— Да, тороплюсь,— сказал он.— Вижу, что ты идешь, ну, думаю, Илья сейчас все равно встанет, разве ты утерпишь?— подмигнул он Кротову.

— Как прошла смена?

Мягков рассказал Илье о работе комплекта за смену, показал, какие станки останавливались чаще других. Ткачихи, в свою очередь, расспрашивали сменщиц, как они работали.

— Подожди,— сказал Илья, видя, что Мягков собирается уходить.

— Что такое?

Илья отвел его в сторону и спросил:

— Как бы ты отозвался на мое предложение — проверить техническое состояние станков?

— Дело задумал серьезное,— с важным видом ответил Мягков.— Я не возражаю. Поговори с Сидориным.

— Поговорю.

Во второй половине дня над городом прошумел короткий теплый ливень. Илья из окна видел, как серая, живая стена двигалась издалека. Вслед за ливнем пробежал ветерок, разогнал остатки тучи, и снова показалось солнце.

После смены, когда Илья вышел из фабрики, было уже сумеречно. Лужи на улицах просохли, но свежесть, принесенная дождем, осталась. Сильно пахли молодые побеги подрезанных тополей. Илья решил пройтись до дома пешком. Вечер был замечательно хорош. Всходила луна, большая, серебристо-ясная, как всегда перед солнечным днем.

— Что это ты поздно?— встретила его мать.

— Пешком шел, уж больно погода-то славная...

Спустя некоторое время Илья сидел за столом, пил чай и рассказывал, как провел на фабрике день.

— Работа у тебя наладится,— сказала Прасковья Андреевна.— Помнишь, как до войны твой комплект гремел?

— Ну, ты скажешь еще — гремел... И слово-то какое подыскала.

— А разве нет?— спросила мать.— Не зря же портреты в газетах печатали. Я их сохранила... Может показать тебе?

Не дождавшись ответа, Прасковья Андреевна принесла книгу в матерчатом переплете. В ней хранились фотографии, газетные вырезки, в которых упоминалось о самой Прасковье Андреевне или об Илье, групповые снимки, привезенные

когда-то матерью и сыном из домов отдыха. От клея газетные вырезки пожелтели по краям.

Илья рассматривал все это с нежным и трепетным чувством. Вот он снят в группе учеников ФЗУ. На нем белая майка с засученными до локтей рукавами. Волосы зачесаны назад, но лежат они на голове не гладко, а на две стороны, султанчиками. Вот он стоит на дорожке фабричного сквера, ворот летней рубашки выпростан из-под пиджака. Руки опущены в карманы. Смотрит он куда-то в сторону, чуть улыбаясь. Илья помнит: в тот день его приняли в комсомол. Вот он среди лучших помощников мастера. Одет в костюм, при галстуке и на верхней губе первые черные усики, которые он сбрил, как только прошло желание казаться старше своих лет. А вот совсем простенькая карточка. На ней он снят в военном костюме, в последний день перед отправкой на фронт...

Рассматривая газетные вырезки в желтых ободочках, фотографии, Кротов как бы заново переживал свое прошлое, такое незабываемое и светлое.

— Видишь, и самому интересно посмотреть, вспомнить, что было,— сказала мать.

Илья прошел к себе в комнату. На подоконнике в стакане стояла красная, не совсем еще распустившаяся розочка. Он нагнулся и понюхал: от нее исходил тонкий, сладковатый запах.

— Мама, где это ты взяла такую розочку?

— Какую розочку? — спросила Прасковья Андреевна, заходя в комнату.

— А вот в стакане стоит.

— Не знаю, Илюша. Разве Акулина Ивановна принесла? А, может, Валя?..

Он едва не крикнул: „да, это она!", но сдержался и тихо сказал:

— Вероятно, она,— и сделал вид, что сразу же забыл об этом.

Но когда стукнула калитка и по звуку быстрых, энергичных шагов Илья понял, что это вернулась из техникума Валя, он почувствовал на сердце сладкое беспокойство.

Спустя несколько минут, Илья пошел во двор, тихо насвистывая. Было совсем уже темно. На небе погасли последние отблески вечерней зари. Из сада наплывал аромат распускающихся вишен и яблонь.

— Кто там стережет двор? — послышался с балкона голос Вали.

— Добрый вечер, Валя. Это я...

— Разве? — притворно воскликнула девушка.— А я и не узнала вас...

— Не удивительно: темно.

— Не поэтому. Сегодня у вас свист какой-то другой...

Валя весело рассмеялась.

— Знаете что, Илья,— сказала она после короткой паузы,— если можете,— проводите меня до городского сада.

— Хорошо, я только переоденусь.

Илья забежал в свою комнату.

— Ты уходишь?— спросила мать.

— Да, пойду погуляю.

— Один?

— С Валей.

„Вот кто ему цветы-то носит. И сам, наверное, знает об этом, а спрашивает",— подумала Прасковья Андреевна.

V

Прошла неделя. Всё так же внимательно присматриваясь к оборудованию, Илья решил завести на каждый станок нечто вроде дневничка, в котором он и его сменщики будут отмечать все недостатки, замеченные ими во время работы. Из этих дневничков потом составится дефектная ведомость, основанная не на беглом осмотре станков, а на длительном и тщательном наблюдении за ними.

„Когда будет такая ведомость,— думал он,— тогда нам станет ясно, что делать. А без этого будем хвататься за одно, за другое — и ничего серьезного не выйдет."

Однако, прежде чем говорить со своими сменщиками, Кротов пошел посоветоваться с начальником цеха, узнать, как отнесется к этому начинанию Лосев.

Когда Илья вошел к нему в кабинет, Виктор Гаврилыч сидел за столом с мастером смены и рассматривал образцы олученного утка.

— Разрешите,— сказал Кротов.

— Прошу, Илья Михалыч, входите.

Лосев поднялся, крепко пожал Кротову руку и показал на стул.

— Слушаю,— сказал он.

— Зашел посоветоваться с вами, Виктор Гаврилыч...

Кротов рассказал начальнику цеха о работе, о недостатках, которые мешают бригаде, и о своих начинаниях.

— Одной наладкой, Виктор Гаврилыч, комплекта не вытянуть. Я убедился в этом,— говорил Кротов.— Надо основательно проверить станки и подумать о ремонте.

— Это правильно,— согласился начальник цеха.

Мастер поглядел на Кротова, сказал:

— Но и с плохой наладкой станки не будут работать.

— Конечно,— ответил Илья.— Но дерево с корня растет, Ефим Степаныч.

— Большое вы начинаете дело, Илья Михалыч,— загово-

рил Лосев.— Что говорить: поизносилось оборудование. Без серьезного ремонта не обойдешься. И я уверен, что ваш почин подхватят другие помощники мастеров. Верно, Ефим Степаныч?— обратился он к мастеру.

— Должны подхватить... Особенно поммастера семнадцатого и четырнадцатого комплектов.

— Другие тоже подхватят... Вы уже говорили со своими сменщиками?— спросил Лосев.

— Нет еще, завтра поговорю.

— Действуйте, Илья Михалыч, действуйте.

Сменщиков Кротов собрал на другой же день. Выслушав его, Мягков рассмеялся:

— Ты вроде доктора, Илья: историю болезни хочешь завести станкам.

— А ты бы подождал смеяться-то,— заявил Сидорин,— для этого будет другое время. Собрались обсуждать,— вот и высказывайся по существу.

— А чего тут высказываться? Вопрос ясен...

Эта неожиданная заносчивость Мягкова не понравилась Кротову. В его словах было что-то несерьезное. Однако сдержался, ничего не возразил ему.

— Значит, на том и решим?— спросил Илья.

— На том и решим,— как эхо повторил Мягков.

— А я бы вот что еще предложил,— сказал Сидорин:— надо навести в комплекте порядок. Грязновато у нас, Илья. Когда заправляют основы, обметальщица старательно обметает станки, а в другое время забывает о своих обязанностях.

— Замечание правильное,— согласился Кротов.— Мало мы спрашиваем с обметальщиц. А где грязь, там и брак.

После встречи со сменщиками Илья завел общую тетрадь, аккуратно вписал в нее номера всех станков комплекта и положил в условленное место на верхней полке шкафа. Приступая сам к записям в дневнике, Илья обратился за помощью к ткачихам своей бригады.

— Вы — опытная ткачиха,— сказал он Кукушкиной,— знаете станки не хуже помощника мастера. Так я прошу вас подсказать мне, какие у них имеются недостатки.

— Ну, что ж: замечу — подскажу,— охотно согласилась она.

— И вы, Нина...

— А меня уже и не просите?— сказала с обидой Люся Березкина.

— Я всех прошу.

Хорошие начинания не приходят одни. Вслед за ними появляются другие. Люди как-то сразу начинают замечать то, мимо чего проходили еще вчера.

Перед началом смены Илья стоял возле шкафа и просматривал первые записи Сидорина и Мягкова. К нему подошла Марфа Семеновна.

— Пойдите поглядите на моем станке основу, которую вчера заправили.

— А что такое? — спросил Кротов.

— Пружинит, переклеена. Сменщица говорит, — часто рвется. И четырех ниток нехватает... Катушки подвесила, вроде ожерелья.

Илья подошел к станку, осмотрел основу. На ощупь она была жесткой. Когда батан прибивал уточину, ткань подавалась далеко вперед, больше, чем это следовало. Нити основы от этого сильно натягивались и, не выдержав, обрывались.

— Об этом надо бы поговорить, Илья Михалыч, — сказала Кукушкина. — Чего там шлихтовалы смотрят?..

— Поговорю, — пообещал Кротов.

И как только мастер появился на участке, он показал ему переклеенную основу.

— Я видел, — сказал мастер, — докладывал начальнику.

„Надо сходить в перерыв к Кузьме Иванычу и поговорить с ним," — решил Илья.

Он ослабил у станка скало. Натяжение основы стало меньше.

— Теперь лучше, — сказала Марфа Семеновна.

Он и сам видел, что станок работал лучше, нити основы рвались не часто. Но все же не отказался от мысли сходить к Кузьме Иванычу.

Шокин с подвернутыми до локтей рукавами стоял возле шлихтовальной машины, из которой выбивался пар, пахнущий остро, как пресные ржаные лепешки.

— Поинтересоваться зашел, поглядеть, как мы работаем? — спросил Шокин.

— Да, решил поинтересоваться, дядя Кузьма.

— Посмотри, посмотри... Будет время — и я к тебе зайду. Так сказать, встречный интерес.

— Давно надо бы зайти. Тебя там кое-что касается.

— Касается? — удивился Кузьма Иваныч. — А что ж такое может у вас меня касаться?

Илья рассказал ему о плохо приготовленных основах, о том беспокойстве, которое доставляют они ткачихам, старающимся вырабатывать лишь отличную ткань.

— Есть такой грех, Илья, — сознался Кузьма Иваныч. — Можем лучше работать... это верно!

— А что ж не работаете, если можете?

— Это долго объяснять. Я лучше дома тебе растолкую.

— По-семейному?

— Если дома, можно и по-семейному.

— Это не выйдет, дядя Кузьма. Я хочу официально поговорить о вашей работе.

— Я и так согласен, — сказал Кузьма Иваныч. — Вот соберем производственное совещание — приходите, толкните нас.

VI

О благородном начинании Кротова — о сверхплановом ремонте станков — заговорили по всей фабрике.

Однако в самом двадцатом комплекте было еще не все гладко. Спустя некоторое время после составления дефектной ведомости Кротов заметил, что наибольшее количество станков останавливалось за смену в той группе, которая была закреплена для ремонта за Мягковым.

— В чем дело? — спросил у него Илья.

Василий напряженно подвигал бровями, затем нехотя произнес:

— Сам не понимаю. Станки, что ли, достались мне сильно побитые.

— А, может, ты их плохо ремонтируешь?

Мягков сделал вид, что обиделся.

— За кого ты меня принимаешь, Илья? Как будто не знаешь...

— Знать-то, Василий, знаю, да ведь не работа получается, а какая-то петрушка. Это все-равно, что один вбивает сваи, а другой расшатывает.

— Спасибо за такую характеристику, — уже с сердцем сказал Мягков. — Как нельзя лучше аттестовал. Выходит, что я все дело расшатываю? Вот уж чего не ждал от тебя, Илья!

— А ты поменьше обижайся, а получше работай, тогда и не будет такого разговора, — ответил решительно Кротов.

После этого он вместе с Сидориным в один из дней проверил по дефектной ведомости станки, закрепленные за Мягковым. Оказалось, Мягков действительно недобросовестно отнесся к ремонту станков: устранял не все недостатки, отмеченные в ведомости.

— Этого нельзя замалчивать, — горячился Сидорин. — Это что же получается, если говорить конкретно? Это безобразие получается!

— Да, об этом следует поговорить на собрании...

Илье было обидно не только потому, что Мягков обнадежил его, но и потому, что много времени потеряно напрасно. Ему представлялось это так, словно они пошли втроем в дорогу и вместо того, чтобы всем идти в ногу да еще ускоренным шагом, один из них останавливался в пути и его приходилось ждать.

На другой день, когда Илья пришел на смену, Мягков встретил его растерянным и настороженным взглядом. Это не ускользнуло от внимания Кротова, и он понял, что Василий чувствует за собой вину, тяготится ею, но сам первый не решается признать ее.

„Вот тяжелый характер у человека. И сам понимает, что плохо сделал, а признаться не хочет", — подумал Илья.

Но уходя домой, Мягков подошел к Илье и, стараясь не встречаться с его острым, несколько сейчас холодным взглядом, спросил:

— Я слышал, ты другого сменщика подыскиваешь себе?

— Может, подыскиваю,— сказал Илья.— А зачем тебе это знать?

— Так уж мне и дела до этого нет? — проговорил Мягков упавшим голосом.— А я-то хотел...

— Ничего ты не хотел! — перебил его Кротов.— Ты умничаешь, а на проверку-то получается, что, кроме слов, у тебя ничего нет. И одуматься не хочешь, к советам товарищей относишься свысока... Это может кончиться тем, что с тобой и разговаривать серьезно не будут.

Мягков глядел в пол и напряженно молчал. Лицо его было застывшим.

Кротов спокойнее сказал:

— Пока, Василий, я сменщика не искал себе. Но это все зависит от тебя. Сумеешь исправиться, будем работать вместе, будем идти впереди и других за собой вести, пример делом показывать. Не захочешь... как знаешь. И хорошо, что мы так сразу объяснились. Не люблю носить камни за пазухой. Накопилось что — выскажи. Может, и резко получится,— ничего. Лучше резко, да от души. А там уж или врозь, или дружба!

Василий ничего не возразил, и это понравилось Кротову: значит, тот серьезно отнесся к разговору.

Наблюдавший за ними Чубуков, кажется, догадался о характере разговора, потому что, подойдя к Илье, сказал про Мягкова:

— Заносчивый парень... Ему кажется, что он выше облаков летает, а серьезно разобраться, на земле-то спотыкается. Возьми меня, Илья, в сменщики,— вот взлетели бы!..

— Летчиков люблю, а в работе летать не собираюсь, Чубуков. Не надо мне ни взлетов, ни падений... Я по роду войск пехотинец, люблю ходить по земле, тверже на ней чувствую себя. Однако на земле предпочитаю подъем. И покруче... Труднее немного, но зато горизонты пошире...

Илья продолжал надеяться, что Мягков поймет его, что они будут работать так, как позволяют им силы и возможности, чтобы работа приносила удовлетворение, ощущение радости.

Вскоре состоялось собрание помощников мастеров. Обсуждалось обращение коллектива соседней фабрики о досрочном выполнении годового плана. Илья сидел в третьем ряду, между Чубуковым и Сенцовым. Когда начальник цеха закончил свою коротенькую вступительную речь и сел на стул, Кротов заметил, что глаза Виктора Гаврилыча обращены на него.

— Иди, Илья, скажи свое слово, а мы — за тобой,— проговорил Сенцов, подталкивая его локтем в бок.

Илья не успел еще приподняться со скамейки, как начальник цеха объявил:

— Слово имеет товарищ Кротов...

Илья прошел к столу, вынул свою записную книжечку, с которой никогда не расставался, полистал ее, убрал обратно в карман и, оглядев собрание, сказал:

— Я приветствую обращение рабочих соседней фабрики. Хорошее дело, большое... Я предлагаю: вызов подхватить, откликнуться на него, как полагается стахановцам. А мои обязательства будут вот какие: завершить к Октябрьскому празднику годовой план бригады.

Кто-то из сидящих помощников мастеров тихо произнес:

— Мало сказал, а круто. Молодец!

Отойдя уже от стола, Кротов договорил:

— По этому обязательству вызываю на социалистическое соревнование бригаду Сенцова, а также Чубукова.

— Чубуков поддержит... шуточкой,— бросил кто-то.

Чубуков не выдержал, поднялся:

— Кто сейчас бросил реплику, пусть не сомневается...

— Выходите сюда,— предложил ему начальник цеха.

Чубуков пошел к столу, говоря на ходу:

— Меня бы и с места услышали, вызов Кротова я, конечно, принимаю и обещаюсь не отставать во всем.

— Слово имеет Чубуков,— сказал Виктор Гаврилыч.

— А я уже высказался,— ответил Чубуков, останавливаясь около стола.

Среди присутствующих послышался сдержанный смешок.

— Так вы, значит, принимаете вызов Кротова? — спросил начальник цеха.

— Принимаю и одобряю. От всей бригады это говорю. И предлагаю подписать договор, чтоб вернее было.

За ним выступил Сенцов, который тоже поддержал Кротова. Выступали и другие помощники мастеров. В заключение было принято решение: поддержать почин рабочих ткацкой фабрики „Первое Мая“ о досрочном выполнении годового плана, развернуть социалистическое соревнование в честь годовщины Октябрьской революции.

VII

Во второй половине дня зашел Кузьма Иваныч.

— Здравствуйте,— сказал он, останавливаясь на пороге раскрытой двери.

— Здравствуйте, дядя Кузьма,— ответил Илья.

— Проходите, садитесь...— попросила Прасковья Андреевна, держа в руках полотенце, которым протирала посуду.

— Не беспокойтесь. Я зашел только узнать,— обратился он к Илье,—о чем вы совещались вчера?

— Обсуждали обращение „первомайцев"...

— Это мне известно.

— Откуда же это вам известно?

Кузьма Иваныч усмехнулся:

— Вы думаете, что нам, шлихтовалам, все равно, что вы обсуждаете? Получается, вы даете хорошую ткань, а мы стоим в стороне. Так, что ли?..

Илья допил из стакана чай и сказал:

— Нет, я лично так не думаю и от других не слышал что-то.

— Не слышал? А тебе знаком Чубуков?

— Как же,— сказал Илья.

— Ну, так этот самый Чубуков на-днях сказал моему помощнику такую штуку: „Ты,— говорит,— дальше своей шлихтовки ничего не видишь". Хорошо это слушать?

Кротов улыбнулся и сказал:

— Слушать нехорошо. Но ведь это правда, Кузьма Иваныч!..

— Что — правда? — спросил Шокин.

— А то, что вы даете плохие основы.

Кузьма Иваныч махнул рукой, но Кротов предупредил его:

— Не все, не все, Кузьма Иваныч, согласен. Есть и у вас отличные люди. Напрасно говорить нельзя... Но есть и с прохладцей работают. И вы сами не будете этого отрицать!

— Этого отрицать не буду,— согласился Кузьма Иваныч.— Однако охаивать тоже не положено. Ты выскажись, выложи все свои претензии, а мы их обсудим, себя покритикуем, чтобы все было как следует. А так огульно... Мы, дескать, ткачи, о нас везде говорят, в газетах пишут! Мы тоже не второго сорта... Вот что я тебе хочу сказать, Илья. И ты пойми это!

Мать, забыв протирать посуду, смотрела то на Кузьму Иваныча, то на сына, стараясь понять, по какому поводу они затеяли весь этот разговор. И, когда Кузьма Иваныч стал понемногу расходиться, Прасковья Андреевна почувствовала необходимость вмешаться, чтобы переменить разговор. Она спросила:

— Вы, может, чаю хотите, Кузьма Иваныч?

— Нет, спасибо... Ты понял меня? — обратился он к Илье.

— Я понял только то, что вы обиделись, Кузьма Иваныч. Верно?

— Нет, неверно,— возразил Шокин.— Почему я пришел к тебе? Я хочу сдвинуть своих людей, чтобы они были впереди некоторых... помощников мастеров.— Кузьма Иваныч заговорил в тоне легкой насмешки, как это он делал всегда, когда не хотел сказать прямо.— Так что вы решили-то?

— Развертываем соревнование за досрочное выполнение годового плана.

— Вот и мы, шлихтовалы, пойдем вместе с вами. Мы докажем, кто мы такие!..

— А зачем доказывать? — спросил Илья. — Вас никто не обвиняет в больших грехах. Все по-хорошему с вами говорят.

Кузьма Иваныч усмехнулся и, обращаясь к Прасковье Андреевне, сказал:

— Ничего себе — по-хорошему... А сам пришел ко мне в шлихтовалку и говорит: плохо вы работаете, Кузьма Иваныч.

— Да не так же было, дядя Кузьма...

— Раз уж я говорю, значит — все так и было, — с нарочитой серьезностью сказал Кузьма Иваныч. — Приходит это ко мне в шлихтовку и так официально заявляет, что я плохо работаю, основы ему выдаю слабо проклеенные, с „хомутами". Я говорю ему: чего же ты сюда-то пришел? Ты мог бы все это сказать мне и дома. Ведь мы, кажется, соседи с тобой... Нет, — говорит, — там такой разговор нельзя вести. Это выйдет, дескать, по-семейному. А разговор на производственную тему надо решать в официальном порядке.

Поправив усы, он сказал:

— Я пришел говорить тоже на производственную тему, но по-семейному.

— Очень хорошо, дядя Кузьма. Давайте поговорим по-семейному, если из этого будет польза в работе.

— Польза должна быть... Ты жаловался на плохую основу. Правильно жаловался. Согласен. Теперь ты будешь получать только хорошую основу. Вот тебе мое слово...

— Да что вы в кухне сидите? — сказала мать. — Пройдите в комнату, там и поговорите.

— Хватит, я ухожу, а то Илья, поди, уморился, ему отдыхать надо. Ведь это мне, старику, ничего не сделается, — не удержался он, чтобы напоследок не позлословить, и поднялся, готовый уходить.

— Все это хорошо, дядя Кузьма, — сказал Илья, тоже вставая, — но ведь я один-то ничего не могу изменить. Надо всем давать хорошую основу...

Кузьма Иваныч усмехнулся:

— Много говорили, а выходит, что и не совсем договорились. Если мы вели разговор по-семейному, то, выходит, что я тебе одному дам хорошую основу, а другие получат плохую? Не-ет, дорогой офицер запаса, так нельзя. У меня и мысли такой не было. Я говорил о всех комплектах. Разве ты получаешь мою основу? Что она — меченая, что ли? Нет. Мы тоже завтра соберемся и решим, чтобы давать вам основу в самом лучшем виде, без сучка, без задоринки! Присылайте своего представителя. Мы хотим тоже взять на себя обязательство и вас им подбодрить. — Он передохнул. — Ну,

ладно, а теперь вот что: Валентина просила тебя какие-то тетради принести. Он, говорит, знает.

— Она дома?

— Скоро придет. Это она мне еще утром наказывала. У ней все по расписанию делается.

Прасковья Андреевна поддакнула:

— Валя — хорошая девушка, таких поискать...

— Я зайду вечером, пусть она только даст знать о себе.

— Это она сделает, о себе она даст знать. Ну, я пойду...

Илья проводил Кузьму Иваныча, вернулся в комнату и стал отбирать свои записи, которые могли понадобиться Вале.

VIII

На еженедельные собрания бригады уходило немного времени, но польза от них была заметная. Каждая ткачиха узнавала, как она работала за прошлую неделю, какие у ней были недостатки, на что следует ей обратить внимание.

Марфа Семеновна сказала про совещания:

— Словно в зеркало поглядишься...

Постепенно в комплекте установились другие взаимоотношения, нежели были до этого. Видя, что Кротов, как помощник мастера, охотно выслушивает все замечания и пожелания, ткачихи стали подсказывать ему, что надо было бы сделать, чтобы улучшить работу бригады. Илья очень дорожил советами работниц, и его маленькая книжечка пополнялась каждый день новыми записями. Что мог — делал тут же, а что требовало вмешательства мастера или даже начальника цеха — после смены.

Более близкими, душевными стали отношения и между самими работницами. Они как бы заново узнали друг друга. Если одна из них начинала отставать, другие приходили ей на помощь. Даже Люся Березкина стала работать внимательнее, охотно выслушивала советы Марфы Семеновны. Она и прическу сменила.

Собрания бригады Кротов посвящал теперь какому-нибудь одному, наиболее важному вопросу. В начале месяца он набрасывал себе нечто вроде плана, в который вносил, чему следует посвятить собрания бригады в текущем месяце, какие провести с работницами беседы. Составляя план, Илья всегда советовался с мастером, начальником цеха, секретарем партийного бюро.

Очередным был вопрос о скоростных моментах. Приглядываясь внимательно к работе Марфы Семеновны, лучшей ткачихи в бригаде, Илья постоянно испытывал чувство восхищения. Движения ее рук удивительно точны, безошибочны. Она никогда не суетится, не нервничает. Никогда не нарушает установленный порядок обслуживания станков.

Очень старательной была Нина Осипова. Ей недоставало выдержки, опыта. Не были хорошо отработаны приемы. Но она была удивительно отзывчива. Прочитает в газете, что ткачиха такой-то фабрики выступила с таким-то предложением, сейчас же подхватит это предложение сама и увлечет за собой других работниц.

Значительно энергичней стала Люся Березкина. Однако силы свои тратила нерасчетливо, неумело. Ступая на носочки, она бегала от станка к станку, забывая о маршруте. Плохо разгоняла челноки. Почти на каждом движении она затрачивала в смену лишние минуты.

Работая по-разному, все три ткачихи разно выполняли и план. Поэтому Илья как-то после смены зашел к начальнику цеха и выписал в свою книжечку скоростные моменты ткачих. Ему хотелось точно знать, сколько секунд каждая из них затрачивает на выполнение той или другой операции.

Узнав на собрании, о чем пойдет речь, работницы заинтересовались.

— Ну-ка, Илья Михалыч, начните с меня,— попросила Нина Осипова.— Интересно, сколько я за смену теряю времени?

— Нет, я хочу начать с Марфы Семеновны,— сказал Кротов.— Посмотрим ее данные, а потом сравним с твоими, Нина. Возьмем обрыв основной нити. Сколько, Люся, надо на заводку основной нити?

Березкина встрепенулась и тихо сказала:

— Не знаю. Прочитайте, у вас записано...

Она сидела смущенная и чем-то недовольная.

— На эту операцию Марфа Семеновна тратит всего восемнадцать секунд.

— А сколько у меня? — нетерпеливо спросила Нина.

— У тебя побольше: двадцать одна секунда... А Люся,— Илья поглядел на нее,— затрачивает на это двадцать семь секунд.

Березкина вспыхнула, глаза ее влажно заблестели.

— Это неправда,— сказала она дрожащим голосом.

— К сожалению, Люся, все цифры правильные. И я выписал их не для того, чтобы кого-то обидеть. Мне тоже было бы приятнее, если б ты затрачивала на эту операцию не двадцать семь секунд, а столько же, сколько Марфа Семеновна.

— А если меньше, было бы еще лучше,— подсказала Кукушкина.

— Правильно,— согласился Илья.— Каждая сбереженная минута — это лишние метры сатина.

— Значит, я на три секунды отстаю от Марфы Семеновны? — спросила Нина и укоризненно покачала головой.— А ведь, когда смотришь на ее руки, они вроде не быстрее двигаются моих.

— Значит, быстрее, присмотрись получше,— сказал Илья.

— Придется.

— Ну, а на смену челнока сколько тратим секунд? — спросила Марфа Семеновна.

— У вас всего две с половиной секунды... Нина управляется за четыре, а Люся расходует пять секунд. Это значит, что, когда Люся сменяет челнок, Марфа Семеновна успевает сменить два челнока. Только на одной этой операции Марфа Семеновна экономит за смену не меньше пятнадцати минут.

Березкина вскинула на Кротова глаза и промолчала, точно хотела только удостовериться, не шутит ли он.

— А Люся,— продолжал Илья,— теряет эти минуты. Почему так получается? А вот почему. У Марфы Семеновны большой опыт. Она уже двадцать лет работает на фабрике. Нина Осипова в свое время кончила ФЗО, четыре года работает вместе с Марфой Семеновной, перенимает ее приемы. А ты, Люся? Что ты кончила? Поучилась две недели за станком — вот и все! И стаж маленький... Что тебе нужно, чтобы хорошо работать?

— Вы сами подвели к разгадке,— перебила его Березкина.— Учиться надо.

— Правильно, Люся. Тебе надо учиться.

Слова Кротова отозвались в душе Березкиной. После этого дня Люся стала совсем неузнаваемой. Она записалась на стахановские курсы, при каждом удобном случае расспрашивала Марфу Семеновну, как та отыскивает оборвавшуюся нить основы, заряжает челноки. И все, что говорила ей Марфа Семеновна, Березкина исполняла старательно, особенно при Кротове, точно все это она делала ради него.

Прошел еще месяц, и выработка бригады вновь поднялась... Березкина вместо ста пяти — ста восьми процентов теперь выполняла план не ниже ста пятнадцати процентов. Илья уже несколько раз отмечал ее добросовестную работу. А через месяц на цеховой доске почета появился ее портрет. Секретарь цехового бюро комсомола Лена Кожушкина всюду доказывала, что можно сделать при внимательном подходе к людям. При этом неизменно повторяла имя Кротова, который так сумел развернуть работу в своем комплекте, что стал примером для других. Однажды Илья остановил ее и сказал:

— Леночка, прошу тебя, не преувеличивай. Никакой я не образец, никакой не воспитатель. Не надо об этом говорить.

— Почему?

— Просто неудобно. Я прошу тебя...

— Ничего, Илья Михалыч, на хорошем примере только и надо увлекать людей.

— Ты увлекай, да не преувеличивай.

— Но ведь это же все правда!— сказала она, прижимая свои маленькие ладошки к сердцу.

IX

Первая встреча с секретарем партбюро Нефедовым оставила у Кротова какое-то неопределенное впечатление. Во всяком случае, тот короткий, торопливый разговор, который произошел между ними, не понравился Илье. Секретарь показался ему не особенно общительным человеком.

Потом Кротов завертелся. Дел было много. На работу выходил за час-полтора до смены. Часто оставался на фабрике после смены, особенно когда работал днем. Много времени уходило не только на ремонт и наладку станков. Надо было подобрать полный комплект инструмента, поправить верстак, обзавестись необходимым запасом подсобных материалов. На некоторых станках нехватало вторых челноков. И об этом надо было побеспокоиться. Илья сам поправлял челноки, потому что хорошие челноки — ступенька к успеху в работе.

Однажды занятый своим делом, Кротов и не заметил, как подошел секретарь партбюро. Почувствовав на плече ладонь, Илья поднялся от станка. Перед ним стоял Нефедов.

— Как дела? — спросил секретарь.

— Ничего, спасибо, — ответил Кротов.

— Справляешься?

— Вполне.

— А чего же не заходишь? Времени нет?

Кротов едва не сказал „да", и почувствовал острую неловкость. То, что комплект отнимал у него сейчас много времени, это правда. Но сказать секретарю партбюро, что он не заходит к нему только по этой причине, было бы глупо и смешно.

— Ну, я не буду тебе мешать... Заглядывай в свободную минуту.

„Хорошо сказал: „не буду мешать", — подумал Кротов, провожая взглядом секретаря партбюро. — Он, конечно, имел ввиду не работу, а мое состояние. Он не хотел мешать мне подумать, почему я не зашел к нему. Умно повернул разговор. Вроде задачку задал. Надо будет исправить это".

В тот же день, после смены Кротов пошел в партбюро. Нефедов сидел один. Но по сильному запаху табака, по окуркам и мелко нарванным бумажкам в большой стеклянной пепельнице Илья понял, что здесь только что было много людей. Секретарь усадил Кротова рядом с собой и, поглаживая ладонью по бритой голове, сказал:

— Если не ошибаюсь, Илья Михалыч?

— Да.

— А меня — Григорий Михалыч... Стало быть, тезки по отцам-то. В какой армии был?

— У генерала Дубова.

— В корпусе Фомина?

— В корпусе Фомина,— повторил Кротов, удивленно поглядев на секретаря партбюро.

А тот просиял всем лицом, улыбнулся и, откинувшись на спинку стула, радостно и громко сказал:

— Да мы же давно знаем друг друга! Мы же с тобой в одном корпусе были! То-то смотрю — лицо знакомое! Ты командовал пулеметной ротой, а я работал инструктором в политотделе корпуса. Я однажды заходил к тебе. У тебя парторг был хорош.

— Санников его фамилия,— сказал Илья.— Парторг, действительно, замечательный: грамотный, с горячей душой и очень внимательный к бойцам. Его все любили...

Долго они пробеседовали в тот вечер. Память, как море: нет ветра — спокойно, а разволнуется — не скоро уляжется. Тогда Кротов впервые почувствовал к Нефедову настоящее уважение. Уходя, Илья спросил:

— Ты тоже домой пойдешь?

— Нет, я еще побуду на фабрике. Надо кое с кем побеседовать в ночной смене. Днем-то мы, плохо ли, хорошо ли, но встречаемся, говорим с рабочими, а вот ночью иногда забываем об этом.

И, когда Илья был уже дома, лежал в постели, он подумал о Нефедове:

„Я-то вот отдыхаю, а он ходит сейчас по фабрике и, превозмогая свою усталость, беседует с людьми".

После этого они встречались еще несколько раз. Нефедов расспрашивал Илью о работе, о самочувствии, подсказывал, что следовало бы предпринять по тому или другому случаю. Очень был доволен, узнав о том, что Кротов на каждом собрании бригады читает своим работницам газеты, знакомит их с наиболее интересными и важными событиями в стране и заграницей.

— Это ты большое развернул дело, Илья Михалыч. Не бросай его. Я попробую на этом мобилизовать других помощников мастеров. Партгруппорг-то не догадается это сделать. Он у вас не отличается особым беспокойством. А время такое, что оно требует живых, инициативных людей... вроде тебя.

Илья поглядел на секретаря таким взглядом, точно хотел спросить: „Уж не думаешь ли ты рекомендовать меня парторги?" Но Нефедов только улыбнулся и ничего не сказал. Дескать, понимай, как знаешь...

А сегодня перед самым перерывом секретарь партбюро снова зашел в комплект. Кротов заметил его и хотел пойти к нему. Но тот отрицательно помахал рукой и присел на подоконник возле шкафа.

„Опять какая-нибудь новость",— подумал Илья. Он уже

привык к тому, что если появляется секретарь, значит намечается новое дело.

В цехе вспыхнули красные сигнальные лампочки и вслед за этим остановились станки. Поток ровного и сильного шума оборвался. В мягкой отзывчивой тишине послышались громкие голоса работниц.

Илья убрал в шкаф инструмент, подошел к Нефедову и поздоровался. Секретарь энергично тряхнул ему руку, спросил:

— В столовую идешь?

— Собираюсь,— ответил Кротов.— А что? Есть какое-нибудь дело?

— Да, хотелось бы кое о чем посоветоваться с тобой. Пойдем, дорогой поговорим. Я тоже иду пообедать.

Столовая помещалась за вторым цехом, в новой пристройке фабрики.

— Слушаю тебя, Григорий Михалыч,— сказал Илья, когда они сели за стол, покрытый белой клеенкой с вырезными ажурными краями.

— Я зашел к тебе поговорить по такому вопросу. Работа в твоем комплекте двинулась к лучшему. И это правильно, Илья Михалыч. Ты и должен идти впереди и вести за собой других. Звание члена партии обязывает... Но разговор у меня будет вот о чем: а не стоит ли тебе помочь другим?

— Из моей бригады ткачиха Кукушкина уже помогает сменщице, передает ей свой опыт.

— Это очень хорошо,— сказал Нефедов.— Но ты, мне кажется, мог бы сделать больше. Я говорю лично о твоем опыте. Придешь в отстающую бригаду, расскажешь, как добивзаешься успехов. Ты не думай, что это всем уже известно. Шеберстова знаешь?

— Слышал.

— Так в его бригаде вот уже около месяца не было собрания. Значит человек не понимает многого. А когда помощник мастера сам не понимает, как же он может вести за собой работниц? Помощник мастера не только наладчик станков, он прежде всего организатор.

— Ладно, подумаю об этом,— сказал Кротов.

— Значит, в принципе не возражаешь?

— Разумеется, нет.

— Вот и договорились. А комплект мастер подыщет...

X

Илья вошел в дом. Мать ждала его обедать. Глаза у ней были немного припухшие, влажные и ясные, какие бывают у людей после дневного сна. Мать работала эту неделю в ночной смене, приходила домой в восьмом часу утра, завтракала и ложилась отдыхать. К возвращению сына, который

работал в утренней смене, она успевала и выспаться, и кое-что поделать по дому. Оставалось время и на то, чтобы посидеть вместе за обедом, за вечерним чаем. Мать уходила на работу в девятом часу. Когда что-либо не ладилось на работе, она уходила раньше.

Илья давно уже решил для себя, что пора бы матери отдохнуть. Она довольно поработала за свою жизнь. Несколько раз он говорил с ней об этом, но мать даже и слушать не хотела.

— Я сама тебе скажу, когда мне будет трудно. А пока не беспокойся, Илюша. Ты вот о себе подумай...

Кротов знал, что это значило: мать прозрачно намекала ему на женитьбу. И хотя она пока избегала говорить об этом прямо, но все чаще стала расхваливать Валю, дочь Кузьмы Иваныча.

И сейчас, сидя за столом, мать заговорила как бы невзначай:

— Нравится она мне. Умная такая, заботливая... Все успевает делать. А это не каждая может, Илюша. Ты вот мужчина, а приходишь с работы усталым, иногда после обеда и на диване полежишь, отдохнешь. А Валя какая-то неустанная... Прибежит с фабрики, пообедает и снова бежит учиться. За двух живет... И веселая всегда.

Илья встал из-за стола, поглядывая на мать уголками глаз.

— А разве не так? — спросила она.

— Если говоришь, значит — так, — сказал Илья, направляясь в комнату.

Надо было обдумать план лекции, которую он должен был прочитать в фабричном лектории. Когда Кротова вызвал к себе заведующий фабрикой и сказал ему об этом, Илья стал отказываться, мотивируя свой отказ тем, что он еще никаких особых достижений не имеет, он работает так же, как все помощники мастеров. Заведующий терпеливо выслушал его, а потом спросил с чуть заметной улыбкой:

— И это все?

Илья удивился:

— А разве этого мало?

— Я уже, признаться, начинал думать, — продолжал заведующий, — что у вас имеется какая-то серьезная причина. На вашем бы месте я, знаете, что сделал?..

Не дожидаясь ответа, он сказал:

— Я бы счел неудобным разговаривать об этом. Давайте лучше поговорим о другом: когда вы сможете приготовить лекцию?

Кротов задумчиво устремил свой взгляд в окно.

— Да вы смелее, смелее решайте! — нетерпеливо сказал заведующий. — Чего вам задумываться?

Илья вспомнил разговор с Нефедовым о помощи отстающему комплекту и подумал:

„А, может быть, и это его дело?“

— Ну, что ж,— сказал решительно Кротов,— если надо,— прочитаю лекцию.

— Вот и хорошо. Даю вам неделю на подготовку. Но уже не больше, товарищ Кротов. На вашей лекции будут присутствовать помощники мастеров всей фабрики, лучшие стахановцы. Так что отсрочки не может быть. Если потребуется помощь от меня, заходите в любое время. А все данные, которые будут вам нужны, Виктор Гаврилыч обеспечит. Он уже знает обо всем.

Кротов вышел из кабинета. Ничего, следовательно, не оставалось делать, как готовиться к лекции.

Несколько часов просидел он за разбором уже подготовленных материалов. Их оказалось так много, что никаких дополнительных сведений не потребуется. Но уже тогда, когда Илье казалось, что все встало на свое место, что из цифровых выкладок будет ясно, какая в комплекте производительность оборудования, сколько времени он расходует на планово-предупредительный ремонт, на наладку станков и т. д., он вдруг понял, что такая лекция будет не полной. В ней не будет главного, что позволяет ему выполнять с большим превышением производственный план, быть впереди многих бригад фабрики.

„Я иначе построю свою лекцию,— думал Кротов, выходя во двор.— Я расскажу о людях, которые добились этих показателей. Пусть все, кто будет присутствовать на лекции, ровняются не только на цифры, но прежде всего на людей. Они решают все.“

Ночь была темная, мягкая, безветренная. Деревья стояли почти невидимые в темноте. Из сада наплывали запахи цветочного табака, укропа и земли, источавшей из себя дневное тепло.

На балконе послышались шаги и тихое мурлыканье. Что-то упало — и уже из комнаты послышался голос Вали:

— Горшок опрокинула...

„Редкий случай... Такая она всегда аккуратная“,— безотчетно подумал Илья.

Он постоял, прислушиваясь, как тихо доносились из комнаты ее шаги, как скрипнула дверь балкона. Ему хотелось пойти к Вале, сказать ей что-то очень трогательное, идущее от сердца. Не обманываясь, он мог уже признаться самому себе, что к Вале он питает нежные и глубокие чувства.

Илья вернулся в свою комнату, лег в постель. Вдруг до его слуха долетели звуки пианино. Валя что-то импровизировала. Потом пианино как бы вздохнуло и смолкло.

В эту ночь Илья не скоро заснул. У раскрытого окна успела растаять ночь, ее сменила розовая заря, а он все еще ворочался с боку на бок.

XI

В тот день, когда Кротов должен был читать лекцию, фабрика работала. Поэтому его отпустили пораньше, подменив запасным помощником мастера. Когда Илья собирался уходить в лекторий, чтобы проверить, все ли там подготовлено, к нему подошли Чубуков и Сенцов.

— Вот оно как,— сказал важно Чубуков,— людей стал учить. Давай, давай, Илья, только не отрывайсь... А если и оторвешься, так умей хорошо приземлиться.

— Как, например, ты...— подсказал Сенцов.

— Меня нельзя брать в пример, я не показательная личность...

— Ты сегодня, Чубуков, что-то уж очень самокритичен,— сказал Илья.— Только напрасно-то ругать себя незачем.

— Какой напрасно!..— с жаром воскликнул Чубуков.— Я только теперь увидел себя по-настоящему.

Кротов поглядел на него с выражением удивления.

— Ты, может быть, думаешь, что я каяться буду?— спросил Чубуков.— Нет, Илья, мне каяться не в чем. Но работал не в полную силу. Понимаешь?..

— Нет,— признался Илья.

— Так я тебе скажу, что во мне была этакая причуда: покорителя воздушных стихий разыгрывал из себя. А к чему это все? Одно позерство! Теперь хватит, Илья. Вся игра закончена. Форменную фуражку подарил одному знакомому: у него сынишка в авиаклубе работает. А мне она ни к чему. Теперь я окончательно приземлился. И в этом ты мне помог!..

— Каким же образом?— спросил Кротов.— У нас, кажется, и разговора-то об этом не было с тобой.

— Да, разговора не было... Но я-то не слепой, все вижу, как ты стараешься, вытягиваешь свой комплект в передовые. И мне стало, если хочешь знать, завидно. Может, и не хорошее это чувство, но это так. Думаю: вот вернулся человек из армии позже меня на целых полтора года, с большими наградами, тихо-скромно пришел на фабрику и работает себе тоже без шума и треска. А что я? Ну, послужил около четырех лет. Но ведь все же служили. Чем тут, собственно, хвалиться? И говорю себе: хватит летать, попроще надо быть, поскромнее. Важно не то, что человек о себе думает, а что он делает. Кротов, дескать, и скромен, и прост, а разговоры о нем идут везде. А я высокомерие свое выставляю, а толку никакого.

Помолчав, Чубуков с усмешкой договорил:

— Не хотел, а все-таки покаялся. Ну, а теперь желаю тебе успеха! Приду, послушаю.

— Спасибо,— сказал Илья и пошел из комплекта.

Все время молчавший Сенцов следовал за ним.

— Что это на него напало сегодня? — спросил Кротов.

— Не знаю. Может, достиг точки кипения? У меня был один знакомый в армии. Мы вместе с ним были в запасном полку, вместе приехали на фронт, в одном и том же отделении были. Он всегда говорил, что у каждого человека есть своя точка кипения: один сразу все понимает, другой с трудом и не скоро. Для такого нужен какой-то толчок. Дойдет до известной точки — и сразу изменится. Я и сам замечал: лежит боец в своем маленьком окопчике, ждет начала атаки, о чем только не передумает! Вернется из атаки, смотришь, а он совсем другой. Словно вырос на целую голову. Значит, достиг своей точки кипения...

Сенцов пошел в слесарную мастерскую, а Кротов заспешил в клуб, чтобы еще успеть до окончания смены съездить домой переодеться.

Мать встретила его вопросом:

— Лекция-то будет сегодня у тебя?

— Будет.

— Ну, то-то...— важно заметила она, словно от этого что-то должно было измениться в доме.— Только ты уж особенно-то не волнуйся, Илюша,— продолжала она заботливо,— а то спутаешься еще... Ты держись как следует.

— Постараюсь, мама...

Увидев его в новом костюме, она предложила:

— Ты бы ордена-то надел... для такого торжества. Ведь там все знатные люди-то будут.

Илья наскоро пообедал и, взяв папку, в которой лежала написанная лекция, поехал в клуб. Еще сходя с трамвая, он увидел выходящих из фабрики людей. Это шли на лекцию. И от одной мысли о том, что это идут слушать его, у Кротова учащенно забилось сердце.

В фойе было много народа. Илья прошел за сцену. Но и там было оживленно. Среди других он увидел заведующего фабрикой, начальника цеха, секретаря партийного бюро, Лену Кожушкину, которая, заметив Илью, с полудетской улыбочкой спросила:

— Видели, сколько людей собралось?

К Илье подошел Нефедов.

— Пора начинать,— сказал он.

— Я готов.

Он привлек к себе Кротова и тихо сказал:

— Не торопись, посолиднее... Знаешь, по-офицерски... Это же здорово все завертелось, Илья Михалыч. Большое колесо ты пускаешь в ход!

Илья поглядел в его восторженное лицо и едва сдержался, чтобы не сказать: „Не я, а ты пускаешь это большое колесо. Это же твоя заслуга!"

Занавес вверху вздрогнул и стал расходиться в стороны. Все находившиеся за сценой прошли и сели за длинный стол, уставленный цветами.

Илья Кротов поглядел в зал, заполненный людьми, и его охватило волнение. Глаза всех присутствовавших были обращены на него. И вдруг у Кротова перехватило дыхание: в третьем ряду сидела Валя. У ней был такой вид, словно она приготовилась не слушать, а принимать от него зачет по самому трудному предмету.

— Выходите, начинайте,— услышал он голос заведующего фабрикой.

Кротов подошел к трибуне, на которой стояла лампочка с маленьким черным абажуром. Он читал лекцию внешне спокойно, выдерживал необходимые паузы, чтобы люди успевали записывать в свои блокноты, подходил к развешанным схемам и диаграммам, наглядно показывая распределение своего рабочего времени, результаты усилий всей бригады, сравнивал все это с данными работы других бригад своей же фабрики,— словом, вел себя так, как посоветовал ему секретарь партийного бюро. Но, помимо его воли, как подпочвенная вода, в голове неугасимо билась мысль о том, что в зале присутствует Валя.

После лекции были выступления помощников мастеров стахановцев. Все отмечали, что достижения Кротова поучительны, их следует перенять. Затем Илья ответил на полученные записки. Среди них оказалась и записка Вали, которая размашистым и неровным почерком написала: „Поздравляю. Лекция очень интересная".

Это же ему говорили, пожимая руки, и Нефедов, и начальник цеха Лосев, и Сенцов с Чубуковым, поджидавшие Кротова около выхода из клуба.

— Ну, Илья,— восторженно говорил Чубуков, размахивая руками,— теперь готовься получить звание лучшего помощника мастера области.

— Не будь очень щедрым,— отмахнулся Кротов.

— Что, не веришь?— вскричал Чубуков.— Да я сам слышал, что обком союза текстильщиков уже запросил о тебе все данные. Значит дело верное, Илья! Молодец! Теперь тяни за собой Сенцова.

— Потянешь его,— сказал Кротов.— Он помалкивает, а работает как нельзя лучше.

— Не хвали,— зазнаюсь,— шутливо заметил Сенцов.

Илья шел, говорил, а сам думал о Вале. Он так и не заметил, когда она ушла из клуба.

„Видимо, торопилась в техникум",— решил он.

Простившись с товарищами, Кротов сел в трамвай и поехал домой. Было уже поздно. Город погружался в сумерки.

Подходя к дому, Илья услышал тихие звуки пианино. Он остановился и облокотился на палисадник. Освещенное окно валиной комнаты было открыто и завешено плотной тюлевой занавеской. Валя играла что-то незнакомое и в то же время близкое, играла робко, не совсем уверенно, но с душой.

Стараясь не шуметь, Илья осторожно открыл и закрыл калитку и неторопливо прошел домой. Ужиная, он рассказывал матери о лекции, а сам прислушивался к звукам, долетавшим из комнаты Вали.

XII

Придя на работу, Илья был очень удивлен поведением Мягкова. Василий поздравил его с успешно прочитанной лекцией, а затем обстоятельно рассказал, как прошла смена, как работали станки... На его полном лице сейчас было какое-то новое, восторженное выражение.

„Он, кажется, достиг своей точки кипения“,— подумал Кротов, вспомнив вчерашний разговор с Сенцовым.

— Значит, хорошо прошла смена? — спросил Илья.

— Спокойно,— ответил Мягков. — Только вот перед твоим приходом один станок что-то закапризничал.

— Какой это?

— Второй от столба.

— А что с ним?

— Не знаю,— сознался Мягков. — Искал, искал причину, так и не нашел.

Смена уже кончилась, и Кротов сказал:

— Ладно, иди, я налажу.

Но Мягков не торопился уходить.

— Нет, ты помоги мне найти причину, а я сам налажу его. Сдавать смену, так уж в полном порядке, как договорились.

Вообще этот день был какой-то необычный. В перерыв вдруг зашел Кузьма Иваныч и, лукаво посмеиваясь, спросил:

— Как теперь основка-то — соответствует?

— Вполне, дядя Кузьма, спасибо... Лично у меня никаких претензий нет, а у других — не знаю. Поинтересуйтесь...

— Ну, и ненасытная же у тебя душа, Илья: и о себе побеспокоится, и других не забудет. Я уже любопытствовал, основа везде хорошо идет.

— Выходит, что помог наш разговор. А вы тогда обиделись.

— Тогда — нет, а вот вчера, верно, обиделся на тебя.

— Почему? — удивленно спросил Кротов.

— Да как же!.. Воротился с лекции, а ко мне не зашел. А ведь я ждал тебя, дорогой товарищ. Нехорошо получилось.

— Получилось, действительно, нескладно,— согласился Илья. — Сегодня я зайду, дядя Кузьма, исправлю свою ошибку.

— Непременно заходи, посидим, потолкуем, может, опять о чем-нибудь договоримся, чтобы польза в работе была.

Илья проводил Кузьму Иваныча до шлихтовки, сходил в столовую, а когда вернулся в комплект, услышал неприятную новость: пришла рассыльная и сказала, чтобы после смены Березкина явилась в товарную контору.

Это была большая неожиданность. В прошлом месяце бригада сдала весь товар без брака. Кротов надеялся, что и в этом месяце она сработает так же. И вот, как снег на голову,— вызов.

Стоявшая недалеко от него Люся Березкина, услыхав о своем вызове в товарную контору, сразу побледнела. Сквозь опущенные ресницы блеснули слезы. К ней подошли Марфа Семеновна и Нина.

— Я так внимательно следила,— тихо сказала Березкина дрогнувшим голосом.— И как это могло случиться? Не понимаю...

— Потому и случилось, что не понимаешь!— не сдержалась Осипова.— Теперь это пятно на всех ляжет, на всю бригаду. А ведь мы обязательство взяли, на соревнование вызвали другую бригаду... Эх, ты!

— Подожди, Нина, не тычь в больное место,— вступилась за Березкину Марфа Семеновна.— Люся работает сейчас много лучше, старается. Прошлый месяц у ней тоже не было брака. Она сдержала свое слово перед бригадой. Так что ты не торопись, надо еще посмотреть, какой там нашли брак...

Люся подошла к Кротову.

— Не ругайте меня, Илья Михалыч...— начала она.

— Теперь уже поздно, Люся, и ругать и объяснять,— перебил ее Кротов,— но выводы на будущее надо сделать. Сама знаешь, оставлять это без внимания нельзя.

Березкина поглядела на него долгим вопросительным взглядом, словно искала на его лице ответ на какой-то мучивший ее вопрос, затем круто повернулась и пошла с опущенной головой.

„Глубоко переживает девушка... Тут надо подумать, как лучше обсудить этот вопрос на собрании бригады“,— подумал Илья.

После смены вместе с Березкиной он направился в товарную контору. Люся шла молча, опечаленная и недоумевающая.

В товарной конторе уже находились Лосев и сменный мастер. Вид у Виктора Гаврилыча был недовольный. Мастер что-то говорил ему, а он смотрел в сторону и, кажется, не слушал его. У длинного, зеркально отполированного стола, на котором разбраковывают готовый товар, стояли помощники мастеров, ткачихи. Увидев Кротова, начальник цеха подошел к нему и с выражением досады сказал:

— Вот уж не ждал... Я был уверен, что вы совсем забыли сюда дорогу.

— Я и сам надеялся, Виктор Гаврилыч, да вот Березкина подвела.

— Как же это ты, Березкина, оступилась? — спросил начальник цеха.

— Не знаю, Виктор Гаврилыч...

Старый браковщик, сверив записи на кусках товара, крикнул Илье:

— У тебя какие станки?

Кротов назвал.

— Маленькая ошибка произошла, товарищ Кротов, — сказал браковщик. — Номер перепутали. Запись на куске немного постерлась...

— Ну, вот, — с укором сказал Илья. — Надо было хорошенько смотреть, не ошибаться.

Лицо Лосева просветлело, приняло доброе выражение. Он подошел к Люсе и шутливо проговорил:

— Браковщики, оказывается, сами допустили брак...

Березкина стояла молча, как бы все еще не веря тому, что услышала. Потом она глубоко вздохнула, словно сбросила камень с души, радостно улыбнулась и негромко сказала:

— Как хорошо... Ведь я говорила...

Легко, маленькими быстрыми шажками Люся пошла в раздевалку. Ей хотелось побежать, но ее удерживало от этого желания только сознание того, что в след ей глядят начальник цеха и помощник мастера.

XIII

В заботах, в постоянном напряжении прошел последний месяц. До праздника Октября оставалось всего несколько дней. Как всегда, всюду чувствовалась приподнятость, радостная хлопотливость.

Кротов волновался, кажется, больше других. Его бригада взяла обязательство закончить свой годовой план к годовщине Октябрьской революции. В сентябре бригада работала хорошо, план перевыполнила на двадцать семь процентов, а в первой половине октября работала еще лучше. Теперь Илья с нетерпением ожидал окончательных результатов. Он хотел знать: сумела ли его бригада выполнить свое социалистическое обязательство? Этими же мыслями жили и все ткачихи комплекта.

Ответ был дан за два дня до праздника. Илья работал вечером. Перед окончанием смены в большом проходе цеха показалось фабричное знамя. Его несли заведующий фабрикой, Виктор Гаврилыч, секретарь партбюро и Лена Кожушкина.

Илья налаживал станок. К нему подошла Марфа Семеновна и сказала:

— Смотрите-ка, Илья Михалыч, это уж не нас ли хотят чествовать?

Илья поглядел на приближающуюся группу со знаменем и все сразу понял. Он вытер наскоро руки. К ним подбежала Нина Осипова и, блестя влажными глазами, спросила:

— Неужели к нам?

Кротов только кивнул головой. От волнения он просто не мог произнести слова.

Митинг продолжался не более пятнадцати минут. Выступали директор, секретарь партбюро, начальник цеха. Все поздравляли Кротова и его ткачих с большой производственной победой — досрочным окончанием годового плана. Последним выступил Илья. Он сказал, что его заслуга тут невелика, он только обеспечивал хорошую наладку станков. Отличились же в этом деле ткачихи его бригады: Марфа Семеновна, Нина Осипова и Люся Березкина. Услыхав свое имя, произнесенное рядом с лучшими ткачихами, Люся вздрогнула и почувствовала, что ей захотелось закричать от радости. Так было просто и трогательно.

После митинга к Илье Кротову подошел секретарь партбюро Нефедов и сказал, пожимая руку:

— Поздравляю, Илья Михалыч, с большой победой. Достойно отметил наш великий праздник. Надеюсь, что ты и дальше будешь идти впереди и вести за собой других.

... Кротов возвращался с фабрики пешком. Вечер был холодный, но тихий, звездный, приятный.

У калитки дома Илья встретил Валю, точно она специально поджидала его. Он спросил:

— Что вы здесь делаете?

Валя усмехнулась:

— Мне кажется, что я здесь живу!

„И придет же в голову такое спросить“,— подумал Илья. Он перевел дыхание и сказал:

— Помните, Валя, как-то весной вы попросили меня поздравить вас с успехом: вы сдали тогда первый и самый трудный зачет, кажется, технологию хлопка. А теперь я прошу вас: поздравьте меня. Я сегодня тоже сдал серьезный зачет.

— Какой?

— Сдержал свое обещание: моя бригада досрочно выполнила годовой план.

Поздравляю, Илюша, очень рада...

Кротов поймал ее руки. Они были холодные. Илья зажал их в свои большие теплые ладони. Потом он сделал неловк-

кую попытку обнять Валю. Но девушка отстранилась и быстро пошла к своему крыльцу.

„Ну, зачем это я сделал? — упрекнул он себя.— В такой вечер... Только всю радость испортил!"

Кротов постоял, как бы к чему-то прислушиваясь, и тоже пошел домой. Сквозь освещенное окно он видел, как мать, ожидая его, хлопотала на кухне.

— Илюша!— вдруг услышал он голос с балкона.— В вашей тетради я не разобрала одно уравнение. Вы сможете зайти и объяснить мне?

А. РОМАНОВСКИЙ

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В железных объятиях стужи
Звенят вдоль дороги столбы.
А в поле метелица кружит,
Сугробы встают на дыбы!
У фермы сторож Савельич
Ушел с головою в тулуп.
За снежною каруселью
Маячит колхозный клуб.
Пусть стужа за окнами злится,
Тепло и уютно в нем.
Светлеют колхозные лица,
Беседу ведет агроном.
И кажется молодому,
Что слушает, веки смежив,
Идет он по краю родному
К шумящему полю ржи.
А жаворонки в поднебесье
Звенят. Хорошо до чего ж!
Колосья на плечи свесив,
Ласкается тучная рожь...
Неистово снежною пылью
Швыряется ветер в окно.
...Мичурин, Лысенко, Вильямс —
Заносит колхозник в блокнот.
В железных объятиях стужи
Звенят вдоль дороги столбы.
А в поле метелица кружит,
Сугробы встают на дыбы.
Савельич от пыли вьюжной
Глаза протирает — ослеп.
Зима.
Но колхозники дружно
Готовятся к битвам за хлеб!

———

В. ВОРОБЬЕВ

РЕДАКТОР МНОГОТИРАЖКИ

Ночь...
А он
Домой уйдет не скоро:
Отчеканить нужно сотни строк,
Письма прочитать
Ткачей-рабкоров,
Написать передовицу в срок.

В каждой,
Даже маленькой заметке, —
Мысли плодотворной острие,
Голоса героев пятилетки,
Слава величавая ее.

Жизнь встает
Во всей красе рассвета,
В творческом дерзании людей.
И зовет на подвиги газета
Силой слов
И глубиной идей.

„Лозунг наш —
Настойчивей трудиться.
В коммунизм дорога широка".

...Вписана последняя строка,
И в набор идет передовица,
В жизнь
Из-под пера большевика!

ПО РОДНОМУ КРАЮ

Л. КУДРИН

БОГАТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД

Шестьдесят шесть лет назад недалеко от Иванова, в лесу близ речки Талки, при даче местного фабриканта Бурылина, на небольшом участке земли садовники начали высаживать редкие растения, привозимые сюда из далеких стран и самых различных климатических поясов. Коллекционирование необычных для нашей местности деревьев и кустов было прихотью фабриканта и не преследовало научных целей.

После Октябрьской революции этот участок стал народным достоянием и был передан организованному по инициативе М. В. Фрунзе Ивановскому политехническому институту как учебно-опытное хозяйство, а с 1931 года разросшийся здесь богатый дендрологический сад перешел в ведение городского треста зеленого строительства.

В 1924 году в саду было всего 80 древесно-кустарниковых пород, а сейчас на площади в три гектара собрано свыше 280 видов деревьев и кустарников. Кроме того, 13 лет назад здесь было создано цветочное хозяйство, в котором выращиваются цветы самых разнообразных климатических зон земного шара, включая и тропики. Среди них есть представители флоры Средней Азии, Африки, Индии, Японии, Австралии, Южной Америки, а всего свыше 500 названий цветов.

Из ивановцев очень немногие знают о существовании этого замечательного сада, а между тем он представляет собой огромную зеленую лабораторию, в которой проводятся интересные научные эксперименты по акклиматизации растений.

...Мы идем парком по дороге в деревню Поповское. Не доходя до речки Талки, слева за палисадником видим домик, увитый сплошь диким виноградом, а вокруг него — рассаженные в строгом порядке разнообразные деревья и кустарники. Среди них невольно привлекают внимание стройные, вечнозеленые деревья, похожие на нашу ель, только с гладким стволом, напоминающим ствол молодой липы. Это — туи, которые мы привыкли видеть в качестве карликового комнат-

ного растения. Здесь же они достигают 12-метровой высоты. Несколько поодаль стоят невысокие ели с красивой сизо-серебристой хвоей.

Любовно осматривая растения, по саду ходит уже немолодой человек. Это — Анатолий Константинович Малиновский. Более двух десятков лет заведует он Ивановским дендрологическим садом, заботливо ухаживая за своими зелеными питомцами. Он знает историю каждого деревца, искренно радуется, когда они хорошо растут, и как личное горе переживает гибель того или иного редкого экземпляра.

Когда идешь по аллеям этого диковинного сада, слушая пояснения Малиновского, кажется, что совершаешь увлекательное кругосветное путешествие. В каких только странах ни побываешь, каких растений ни увидишь! Посетитель встречает здесь представителей растительного царства различных географических зон не только Советского Союза, но и всего мира.

Дикорастущие деревья и кустарники Ивановской и соседних областей представлены тридцатью породами. Среди них так хорошо знакомые нам сосна, ель, береза, ольха, рябина, черемуха, орешник, бересклет, малина, шиповник и другие. До 25 декоративных пород вывезено с Дальнего Востока (Амурский и Уссурийский края, Маньчжурия, Сахалин). Наиболее интересны из них: лимонник, орех маньчжурский, амурская черемуха, сирень амурская, бархатное дерево.

Лимонник — вьющееся растение до полутора метра высотой, дающее кисти продолговатых оранжевых ягод (несколько крупнее барбариса), кислых, имеющих вкус и запах лимона.

В качестве декоративного растения интересна сирень амурская, отличающаяся обильным поздним цветением. Ее белые душистые соцветия достигают огромных размеров: 60 сантиметров в длину и 35 сантиметров в ширину. Бархатное дерево называется так потому, что кора его имеет ровную бархатистую поверхность. Оно очень распространено в бассейне реки Амур. Из его коры добывают пробку, снимая верхний слой ее до четырех сантиметров толщины. Эта пробка идет главным образом для изоляции; она несколько менее эластична, чем пробка, добываемая из пробкового дуба, растущего в тропических районах.

В саду довольно полно представлена флора Сибири (до 18 видов). Здесь есть лиственница, сибирский кедр, сибирская пихта. Из кустарников интересна облепиха с узкими серебристыми листьями. Она имеет оранжевые, очень душистые, пахнущие ананасом, продолговатые сладкие ягоды, которые буквально облепляют ветки. Плодоносит облепиха в конце июля; ее ягоды употребляют в ликерном производстве.

Из южных растений в саду растут самшит, граб, можжевельник казацкий, кизил и другие — всего 36 видов.

Наиболее замечателен самшит (кавказская пальма)— вечнозеленое растение с мелкими листочками, похожими на бруснику. На Кавказе это дерево достигает 7—8-метровой высоты с диаметром ствола 12—14 сантиметров, причем живет оно до 700—800 лет. Это — природа уже вымирающая, и сейчас на Кавказе в районе Красной Поляны имеются ее заповедники. Самшит ценен мелкослойной, очень крепкой „железной" древесиной. Раньше из нее делали ткацкие челноки и другие предметы, требующие большой прочности. В местных условиях это растение имеет карликовый рост (30—40 сантиметров) и дает ровный, плотный бордюр, не поднимающийся выше снежного покрова. В саду самшит впервые был выращен из семян А. К. Малиновским в 1927 году и с тех пор отлично приспособился к северным холодам. Ранней зимой, когда земля покрывается снегом, среди голых деревьев странно видеть сочные зеленые листья этого замечательного растения.

Флора Северной Америки насчитывает здесь до 40 видов древесных и кустарниковых декоративных пород. Особенно выделяются аморфа, колючая серебристая ель, широколистная катальпа и другие. Есть деревья из Средней и Малой Азии (тамарикс), Китая и Японии (гортензия, айва, японская вишня). И все это прекрасно уживается в наших суровых климатических условиях.

Усилиями энтузиаста А. К. Малиновского Ивановский дендрологический сад превращен в богатую коллекцию представителей растительного мира и сейчас является базой для практических занятий учащихся отделения зеленого строительства Ивановского коммунального техникума. Сюда часто под руководством учителей приходят на экскурсии школьники города, чтобы практически закрепить свои знания по ботанике.

Каждый год свыше двух тысяч учащихся школ и техникумов, учителей и садоводов-любителей посещает этот сад. Кроме того, в течение ряда лет цветы, листья, ветки и плоды растений сада широко используются в студии художников текстильного рисунка, организованной при Большой Ивановской мануфактуре. И мы часто, видя на ивановских тканях прекрасные рисунки необычайно яркой расцветки, не знаем, что они берутся из богатейшей флоры этого замечательного сада.

В июле 1949 года дендрологический сад посетила большая группа преподавателей-биологов средних школ области. Учителя с огромным интересом осмотрели редкую коллекцию древесных пород, и многие из них заявляли, что впервые видят такое обширное собрание растений различных климатических поясов в наших северных условиях.

Сад снабжает областной центр декоративно-посадочным материалом для озеленения улиц, для украшения клумбами городских садов и скверов. Ежегодно отсюда берется до полу-

тора тысяч древесно-кустарниковых саженцев, около пятишести тысяч грунтовых цветов-многолетников и до 40 тысяч различных летних цветов.

Сейчас здесь выращивается более 60 новых сортов многолетних цветочных культур. Они получены из ботанических садов Еревана (Армения), Риги (Латвия) и Стокгольма (Швеция). В саду есть прекрасные сорта цветочных растений, выведенных А. К. Малиновским (георгины, лилии, садовый жасмин). Семена и черенки этих сортов садовод-опытник выслал в некоторые ботанические сады Советского Союза для испытания и выращивания их в различных климатических зонах.

В свете современной мичуринской науки о преобразовании природы Ивановский дендрологический сад имеет огромное значение и является базой по акклиматизации растений. Ивановцы вправе гордиться этим садом, который в нашем социалистическом государстве волей советских людей превращен в зеленую лабораторию для научных опытов по выращиванию на севере редких южных древесно-кустарниковых пород.

И. ТЮРИН

ПРЕОБРАЖЕННАЯ РЕКА

Река Уводь (приток реки Клязьмы), в верхнем течении которой расположен город Иваново, в старое время была превращена в сточную канаву, куда сбрасывались загрязненные воды городского хозяйства и промышленных предприятий.

За годы советской власти канализационная сеть улучшена, и в городской черте воды Уводи стали значительно чище.

Скоро Уводь ляжет в зеленых берегах городского парка широкой зеркальной полосой, украшая наш городской центр. Но наибольшие изменения произошли с Уводью за пределами городской черты, вверх по ее течению. Километрах в десяти от центра Иванова река перехвачена плотиной, образовавшей водохранилище. С постройкой водохранилища промышленность и население областного центра навечно получили обильный и неиссякаемый источник водоснабжения.

В дореволюционном Иваново-Вознесенске водоснабжение было одной из наиболее острых проблем. Вопрос об этом на протяжении десятков лет много раз обсуждался бывшей городской управой. Но разве могли его разрешить капиталисты — люди, не ставившие перед собой иных задач, кроме тех, которые непосредственно вели к их личному обогащению?

При советской власти проблема эта была разрешена по-большевистски, быстро. С устройством водохранилища изменилась река Уводь. Ниже плотины она получила постоянный приток прозрачной, отстоявшейся в глубинах воды. Выше ее легло самое крупное в Ивановской области озеро, созданное руками человека. Теперь в город приходит река, холодные струи которой широко используются трудящимися. Ивановский парк культуры и отдыха им. Степанова — любимое место отдыха трудящихся города. Их привлекает сюда не только тень сосен и берез, прелесть цветников и фонтанов, не только развлечения, но и Уводь, на левом берегу которой расположен парк. Их манят и петляющая лента ее прохладных вод, и зелень прибрежного луга.

В жаркие летние дни, когда палит зной и бледно-голубое небо кажется раскаленным, сотни купальщиков располагаются на ее берегах. А вечером, когда солнце скрывается за горизонтом в сиянии серебристых зорь и на травы прибрежных лугов, исчезающих в молочной пелене тумана, опускается обильная роса, из речной долины на весь парк распространяется прохлада. Тысячи посетителей парка, еще недавно стоявшие за станками на фабриках, работавшие в учреждениях и в многочисленных учебных заведениях города, ощущают ее и заряжаются бодростью для новых трудовых подвигов. Многие в дни отдыха отправляются в дальние экскурсии вверх по Уводи. На этом пути они встречают замечательно красивые места и знакомятся с великолепным разнообразием нашей северной природы.

До села Авдотьина Уводь течет в зеленых болотистых берегах, а дальше характер речной долины резко меняется. Древняя терраса реки обрывается здесь крутыми склонами, заросшими кустарниками и травами. Уводь течет глубоко внизу. В узкой долине она то разливается в небольшие омуты с едва заметным течением, то суживается, и тогда вода движется сильным потоком. Редкие островки, песчаные отмели, прибрежные луга с небольшими пойменными озерами, деревья и кустарники, обрамляющие речное русло и приречную пойму, придают ландшафту своеобразную прелесть. Близость большого города сразу перестает чувствоваться. Особенно красива Уводь вверх от деревни Щуренцево до плотины. Это — прежняя Уводь, где всегда так охотно гуляли ивановские рабочие, промышляли рыболовы, охотники и натуралисты-любители.

За плотиной начинается Уводь нашего времени, Уводь — искусственно превращенная в озеро. Она увеличилась в сотни раз и стала неизмеримо более полезной и красивой. Вода, сдерживаемая плотиной, разлилась по всей долине на десятки километров. Площадь водного зеркала составляет около 17,5 квадратных километра.

Плотина — огромное сооружение. По величине поддерживаемого напора воды, технической сложности выполненных работ она является выдающимся гидротехническим сооружением.

В процессе строительства вынуто около 600 тысяч кубических метров земли, забито 2,5 тысячи свай, уложено 15 тысяч кубометров бетона и 35 тысяч кубометров щебня и камня. В теле плотины устроены рабочий водоспуск и на нем колхозная гидроэлектростанция, которая освещает несколько ближайших колхозов. На случай паводка имеется водосброс. Паводки, которые потребовали такого сброса излишних вод, бывают на Уводи реже, чем один раз в сто лет.

С плотины открывается просторное зеркало водохранилища. Ширина водоема колеблется от шестисот до полутора тысячи

метров, а глубина доходит до 19 метров. Берега озера то круто обрываются к воде, то убегают от нее пологим откосом. Всюду на них густые лесные заросли.

При взгляде на водохранилище вспоминается прославленный своими природными ландшафтами волжский город Плес. Когда говорят и пишут о Плесе, часто связывают его с именем художника Левитана. Левитан в своих картинах помог осмыслить красоту и чарующее спокойствие плесских ландшафтов.

Уводьское озеро заслуживает не меньшего внимания художников. Его ширь, живописные зеленые берега с причудливыми заливами и заливчиками, образованными особенностями рельефа, костры рыбаков на берегах, смутные контуры необъятной, убегающей вдаль водной глади, законченная стройность всей картины могучего водоема — производят незабываемое впечатление. Впечатление это складывается не только от красот природы, но и от постоянно возникающего на озере чувства гордости за советских людей, преобразующих ее и украшающих нашу землю для общего блага. И, конечно, художник, который осмыслит и увековечит в красках эти замечательные места, сумеет вложить в них то, что познается чувством.

На протяжении первых четырех километров вверх от плотины по берегам озера расположены четыре селения, а дальше за деревней Крюково, на десяток километров — берега пустынны. Отсюда начинается самый красивый уголок водоема. Все шире делается водная гладь озера. Все разнообразнее природные особенности окружающего ландшафта. Местами вода образует в берегах широкие заливы, а в русле речек, бывших притоков Уводи, она входит теряющимся вдали разливом. Километрах в четырех от Крюкова находится первое большое ответвление, русло речки Красотки.

Сюда стоит заглянуть. Это излюбленное место ивановских удильщиков и охотников за щукой.

От Красотки по обоим берегам водохранилища начинаются большие леса, они уходят и сливаются с горизонтом.

Какое раздолье для охотника, рыболова, грибника и прочих собирателей даров природы! Сколько здесь неисследованных мест, которые ждут внимательного изучения краеведов! В лесах много дичи. Много ягодников — малины, земляники. По многочисленным и обширным их болотам растут клюква, брусника, черника, морошка — дитя крайнего севера, сохранившаяся у нас вместе с некоторыми другими растениями в качестве реликта ледникового периода. На сфагновых болотах нередко можно встретить насекомоядные растения — росянку и пузырчатку. В береговых обрывах рельефно выступают пласты ледниковых отложений.

А сколько грибов в этих необъятных и разнообразных по своим растительным богатствам лесах!

Раздолье на озере рыболовам. Рыбы множество всякой.

Наиболее часто встречаются щука и окунь. Опытный рыболов никогда не возвращается отсюда с пустыми руками.

За Красоткой озеро становится все величественнее. Контуры противоположного берега едва заметны. Через несколько километров разлив достигает максимальных размеров. Уводь принимает здесь левобережный приток, речку Колбаску, с долиной более широкой, чем у самой Уводи. Вода заполняет ее, образуя разлив в несколько квадратных километров. На этом можно кончить экскурсию, хотя за Колбаской Уводь все еще многоводна на протяжении нескольких километров.

На левом берегу Колбаски расположилась уютная деревенька Старово. Здесь хорошо отдохнуть. От Старова до Иванова около восемнадцати километров по красивой лесной дороге, идущей по берегу озера.

Здесь имеются прекрасные места для отдыха, прогулок, поучительных и интересных экскурсий, позволяющих изучить особенности местной природы.

Здесь можно встретить все основные типы лесов и найти большинство видов растений и животных, заселяющих Ивановскую область. Полоса лесов, перемежающихся с торфяными болотами, тянется по обе стороны водохранилища на многие километры.

Расположены они на гребне Волжско-Клязьменского водораздела, с которого берет новое начало река Уводь, недалеко от села Писцово.

Волжско-Клязьменский водораздел представляет собою наиболее ясно выраженную возвышенность ледникового происхождения, характерную для средне-русской равнины, на которой расположена Ивановская область. Гряды высот этой возвышенности идут к северо-востоку на город Плес и там смыкаются с Галической ледниковой грядой через Плесские ворота. Так называется место, где река Волга, прорвав вал ледниковых отложений, устремляется к юго-востоку, на Кинешму и Юрьевец.

В другом направлении Волжско-Клязьменский водораздел простирается на город Переславль-Залесский, Ярославской области. Вся эта полоса носит на себе черты „берендеева царства", того древнего природного комплекса, который так красочно описан писателем М. Пришвиным в ряде его очерков и рассказов.

Среди лесов, находящихся в непосредственной близости от Уводьского озера, преобладают смешанные хвойно-лиственные насаждения, но встречаются также чистые насаждения в виде березовых рощ и сосновых боров — зеленомошников, черничников и других. Значительные площади заняты моховыми болотами, с своеобразной растительностью и животным миром. Здесь среди болот и лесов обитают и лось — царь наших лесов, и крупнейший представитель из птиц —

глухарь. Редкий посетитель этих мест не встречается с ними в лесах лицом к лицу. В многочисленных озерах и озерках много рыбы и водоплавающей птицы.

Значительная группа довольно крупных озер расположена в километрах 6—10 к востоку от водохранилища (Высоковское, Брюховское и др.). Озера эти могут представлять самостоятельный интерес для экскурсий и заслуживают отдельного описания. Они разнообразны по своему типу, находятся на разных стадиях зарастания и каждое по-своему прекрасно.

Таким образом, центром всего этого богатейшего природного и хозяйственного комплекса является водохранилище — преображенная волею трудящихся области река Уводь. Влияние нового озера на окружающую природу многообразно и с научно-хозяйственной точки зрения требует систематического и глубокого изучения его областными организациями и, прежде всего, областным научным обществом краеведения и управлением по делам охотничьего хозяйства. Леса эти, составляющие водоохранную зону, неприкосновенны и, следовательно, должны быть соответствующим образом использованы в интересах народного хозяйства, науки и культуры.

СТАТЬИ

П. КУПРИЯНОВСКИЙ,
кандидат филологических наук

М. ГОРЬКИЙ И ПАЛЕХ

В 1949 году исполнилось двадцать пять лет со дня создания замечательного творческого коллектива нашей области — знаменитого товарищества художников села Палех.

5 декабря 1924 года семь палехских художников — в их числе будущие заслуженные деятели искусства И. М. Баканов, И. И. Голиков, А. В. Котухин, И. В. Маркичев — записали в протоколе своего собрания следующее:

„Постановили: организовать артель в селе Палехе, Шуйского уезда, Иваново-Вознесенской губернии, под наименованием „Палехской артели древней живописи" с паевым взносом в 10 рублей и вступительным в 4 рубля".

Начав работать со сторублевым капиталом, артель постепенно укреплялась и обрастала все новыми и новыми членами. Пришли в нее крупные мастера-художники: И. П. Вакуров, впоследствии удостоенный высокого звания заслуженного деятеля искусств, Н. М. Зиновьев, Д. Н. Буторин, П. Д. Баженов, Н. М. Парилов и многие другие. Ширились творческие планы и замыслы артели.

Назвав свое объединение артелью древней живописи, палешане хотели подчеркнуть этим, что они намерены развивать свое творчество на основе старой традиции палехского искусства, глубоко национального в своей основе, уходящего корнями в высокую художественную культуру древней Руси. В живописном наследии старого Палеха их привлекали лучшие его качества — мастерство рисунка, композиции, колорита. Но это вовсе не значит, что они стремились застыть на традициях старого Палеха.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла для развития искусства Палеха, как и для развития всего советского искусства, самые благоприятные перспективы. Она, по словам В. И. Ленина, создала условия для того, чтобы „втянуть действительно большинство трудящихся на

арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами".[1] Ленин писал о „прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция".[2]

Революция раскрепостила палехское искусство. Освобожденные от оков иконописного ремесла, палешане встали на путь создания искусства, близкого советской действительности, отвечающего запросам и интересам народа.

Этот путь был не из легких. Он требовал от старых мастеров изменения всего их мировоззрения, отрешения от живописных и стилистических шаблонов иконописи. Он был сопряжен с поисками новой тематики и новой художественной техники.

Любовь к искусству, напряженный труд и природная талантливость помогли палешанам преодолеть многие из трудностей, встававших на их пути. В результате их творчество поднялось на такую идейно-художественную высоту, что приобрело не только всесоюзную, но и мировую известность и славу.

В становлении искусства советского Палеха огромное значение имела та материальная поддержка, которой окружили народных художников партия и правительство.

Исключительную роль в судьбе Палеха сыграл гениальный основоположник социалистического искусства А. М. Горький, с именем которого теснейшим образом связаны основные этапы развития Палеха.

Связь Горького с народным искусством Палеха, начавшаяся в далекие дореволюционные годы и продолжавшаяся в течение полувека, не случайна. Органичность этой связи вытекает из всей системы взглядов писателя на народное творчество и русского человека.

* * *

Обозревая в 1896 году Всероссийскую художественно-промышленную выставку в Нижнем-Новгороде, Горький писал:

„Из всех отделов выставки, открытой сегодня, для меня самым интересным является отдел кустарных производств, и меня, прежде всего, тянет к нему". И далее Горький объясняет, почему его особенно привлекает отдел, где представлено кустарное искусство: „потому, что именно в этом отделе... показывается доподлинная, оригинальная Россия,

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3, т. XXII, стр. 160.
[2] Там же, стр. 376.

самобытно творящая и почти свободная от всяких влияний чужой мысли".[1]

Пламенный патриот Горький страстно и убежденно верил в органическую талантливость русского человека и с особым удовольствием искал и отмечал проявления этой талантливости. Исключительно высоко он ценил те произведения народного творчества, в которых чувствуется „русский рисунок, русский вкус, нечто типичное для страны", которые имеют „действительно русский характер, показывающие собою трудоспособность коренного русского человека—истинного представителя нации".[2]

В статьях о выставке и ее отделах, печатавшихся в 1896 году в газетах „Одесские Новости" (под заглавием „С Всероссийской выставки"), „Нижегородский листок" (под заглавием „Беглые заметки"), Горький выступает как один из немногих в то время настоящих ценителей и ревнителей русского народного творчества. Статьи проникнуты горячей заботой о сохранении национального лица русского искусства. В них Горький ратует за то, чтобы „наше истинно-самобытное оставалось нетронутым и целым и чтобы оно развивалось, а не исчезало".[3]

Останавливаясь на необычайно тяжелом положении кустаря в России, придавленного гнетом капитализма, бессильного с ним конкурировать, Горький выступает против вторжения капиталистической рекламы в кустарное производство, сбивающей народную жизнь „с пути истинного". Он требует создать условия „для спасения народного искусства и труда от засорения и гибели", которые несет им господин Купон.[4]

В острой форме ставя вопрос о положении народного искусства в России, о разлагающем влиянии на него капитала, Горький, надо полагать, исходил при этом не только из того, что видел в отделе кустарных промыслов на Нижегородской выставке (а там был представлен и Палех), но также и из того, с чем встречался и что наблюдал во время прохождения своих многочисленных „университетов".

В статье „Об искусстве", написанной уже в советские годы (1935 г.), Горький вспоминает, что во время своих скитаний он встречал среди кустарей немало „одиночек-артистов, одержимых страстью к творчеству, которое не находит ценителей". „...Вероятно,— продолжает Горький, — это они

[1] Цитирую по сборнику „Горький об искусстве", изд. „Искусство", М.-Л., 1940, стр. 40.

[2] Цитирую по статье проф. С. Д. Балухатого „М. Горький о Нижегородской выставке 1896 г." — „Ученые записки Ленинградского государственного университета", серия филологических наук, вып. 13, 1948 г., стр. 29, 24.

[3] „Горький об искусстве", стр. 50.

[4] Там же.

внушили мне уверенность, что пролетариат может создать свое искусство, свою культуру, даже находясь в плену буржуазии. Сколько талантливых людей бесплодно истратило оригинальные дарования свои на грошевый труд, притупляющий разум, на труд, ради нищенского куска хлеба! Были такие люди среди деревообделочников-кустарей Поволжья, среди оружейников кавказских племен, серебрянников Великого Устюга, среди золотошвеек, кружевниц, в массе тех сотен тысяч рабочих и работниц, которые тратили жизнь на „художественную промышленность" для украшения жирного быта крупных и мелких лавочников. Можно ли было думать, что через иконопись — консервативнейшее ремесло..., мастера Палеха и Мстеры придут к их современному отличному мастерству, которое вызывает восхищение даже в людях, избалованных услужливостью живописцев".[1]

* * *

С мастерами-иконописцами Палеха Горький познакомился впервые осенью 1882 года. Четырнадцатилетним подростком поступил он в иконописную мастерскую Нижегородского купца Д. А. Салабанова.

По новейшим данным[2], есть целый ряд оснований утверждать, что Салабанов родом происходил из Палеха и был первоначально кустарем-„богомазом". Затем он сколотил себе некоторое состояние и открыл в Нижнем иконописное и торговое (по продаже икон) „заведение". Сюда он стянул около двадцати человек земляков-иконописцев из Палеха, Холуя и Мстеры.

Во время пребывания Горького в иконописной мастерской,—а оно длилось до весны следующего 1883 года,— Салабанова в живых уже не было и делами правила его жена Ирина Яковлевна, которая по официальному положению значилась крестьянкой села Палех Вязниковского уезда.

„Хозяйка моя,— пишет Горький в автобиографической повести „В людях",— мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне владимирским говорком:

— „Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке постоишь, а вечерами — учись".[3]

Обучение в иконописной мастерской Салабанова было обычным для „заведений" этого пошиба. Мальчика-подростка в течение многих лет использовали на побегушках и на подсобной изнурительной работе, нисколько не заботясь о какой-

[1] Журнал „Наши достижения", 1935, № 5—6, стр. 6—7.

[2] См. исследование И. Груздева „Горький и его время", т. I, Л., 1938, стр. 398—400.

[3] М. Горький, Собр. соч., изд. 2-е, том XVII, М.-Л., 1933, стр. 158.

то организованной и систематической передаче ему опыта и знаний. „Ученье“ Алеши Пешкова иконописному мастерству ограничивалось тем, что он приготовлял мастерам самовар, прибирал мастерскую и лишь по вечерам растирал краски, да с любопытством „присматривался“ к мастерству.

В автобиографическом рассказе „Встряска“ (1898 г.) Горький пишет, что его герою-мальчику, прислуживавшему в иконописной мастерской, „самым неприятным и даже страшным... было кропотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок. Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нем желток, то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые уже успел отделить. За это—били. Скучную и нелегкую жизнь изживал он...“[1]

Иконописная мастерская Салабанова, ставшая одним из „университетов“ Горького на его многотрудном жизненном пути, была типичным капиталистическим предприятием. Она ничем не отличалась от мастерских „иконного короля“ Сафонова, который и у себя на родине, в Палехе, и в других городах и селах России подвергал жестокой эксплоатации талантливых мастеров, богатея год от году. Воспоминания и записи палехских художников, собранные Е. Вихревым в книге „Палешане“, в которых много уделено места сафоновщине и вообще безрадостному быту прошлого, в этом отношении могут послужить хорошим реальным комментарием к соответствующим страницам повести Горького „В людях“.

В повести „В людях“ и в рассказе „Встряска“ Горький дает яркую и правдивую картину тяжелой и угнетающей обстановки, в которой приходилось работать иконописцам. „Фабричный“, конвейерный способ изготовления иконы превращал мастера в раба ремесла, изгонял из дела малейший дух творчества, превращая его в обезличенный стандартный процесс.

„Иконописная мастерская,— рассказывает Горький,— помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух—в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них, радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный, рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами; за каждым столом сидит согнувшись иконописец, за иным — по двое. С по-

---

[1] М. Горький, „Забытые рассказы“, Л., 1940, стр. 324.

К процитированному отрывку в рассказе есть следующее примечание Горького: „Краски, которыми пишут большинство икон, разводятся на желтке яйца“. Эта оригинальная техника приготовления красок была разработана в Палехе и применяется палехскими художниками до настоящего времени.

толка спускаются на бечевках стеклянные шары, налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым, холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек „богомазов" из Палеха, Холуя, Мстеры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках, над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц...

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, не способных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выстроганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров, чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет „левкас". Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы; затем она без лица и ручек стоит у стены, ожидая работы личников...

Когда „тельце" написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки „финифть", надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек".[1]

Присматривающийся к технологическому процессу изготовления иконы Алеша Пешков скоро начинает подмечать, что „почти все, занятые этим раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой".[2]

Повидимому, в мастерской Салабанова изготовлялись так называемые „расхожие" иконы, т. е. иконы дешевые, для массовой продажи. Позднее, в 90-е годы, мастерским этого типа пришлось выдержать сильнейшую конкуренцию с машинным производством икон на жести, которое наладили в Москве иностранные фирмы Жако и Бонакер, первоначально изготовлявшие коробки для ваксы, консервов, чая и пр. Вторжение капиталистической рекламы в кустарное искусство, о котором говорил Горький в своих статьях о Нижегородской выставке, коснулось и иконописи и еще более ухудшило ее состояние. Недаром А. П. Чехов в письме к известному знатоку древностей академику живописи Н. П. Кондакову в 1901 году заявлял, что иконопись как искусство „уже умирает или вымирает" и что „Холуй и Палех уже не воскреснут".[3]

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. XVII, стр. 176—177.

[2] Там же, стр. 187.

[3] Цитирую по ст. М. Шошина „А. П. Чехов и Палех". — „Рабочий край", 1940, № 263.

Иконописное дело, организованное по образцу капиталистической фабрики, пагубно влияло на труд палехских мастеров, ограничивало и без того ограниченные рамками иконописного стиля их творческие возможности. Это не осталось незамеченным Горьким. В одной из своих корреспонденций „С Всероссийской выставки" он говорит о неудачных попытках использовать „крестьян Холуя, Палеха и Мстеры, сел Вязниковского уезда, Владимирской губернии, сплошь занятых иконописью", в качестве художников текстильного рисунка: „малый, воспитанный на изображении аскетических лиц, фигур и прямых складок платья", оказывается неспособным создать нечто интересное, значительное и радостное, а, механически комбинируя веточки, лепестки и цветочки, создает обычно „какое-нибудь яркое уродство".[1]

* * *

Деградация Палеха в конце XIX века несомненна. Однако, по справедливому заявлению исследователя палехского искусства проф. А. В. Бакушинского, Палех даже „в упадочную эпоху своего развития сохранял традиции мастерства".[2]

Мастерство это проявлялось лишь в особой тщательности письма и обработки поверхности иконы. В остальном же народные изографы были крепко связаны требованиями изобразительного подлинника. Наиболее талантливые из них, те, которых можно назвать словами Горького — „одиночки-артисты", в душе не могли мириться с ремесленным, обезличенным процессом „фабрикации" икон и механическим копированием подлинников, они стремились сохранить в своей кустарной живописи дух творчества, элементы целостного, органического искусства.

В салабановской мастерской таким изографом-артистом являлся „личник" Жихарев. „Жихарев... лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и „живописно", итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним, — он тонкий знаток иконописных подлинников... Но роясь в подлинниках, он громко ворчит:

„— Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо: Связали!.. Живем без окрыления... Где душа? Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет..."[3]

В душе Жихарев — настоящий художник. Он тоскует по утраченному целостному мастерству живописца. Работает он так, что ему жаль расставаться с написанной иконой. „Жалость эта не всем доступна",—замечает Горький. Услышав чтение Алешей Пешковым поэмы Лермонтова „Демон", Жи-

[1] „Горький об искусстве", стр. 104.
[2] А. В. Бакушинский, „Искусство Палеха", М.—Л, 1934, стр. 96.
[3] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 180—181.

харев необыкновенно взволновался, пораженный силой поэтического слова. Под влиянием прочитанного у него возникает желание изобразить Демона:

„— Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки — до синя белые, примерно, как снег в месячную ночь".[1]

Однако написать лермонтовского Демона Жихареву было не суждено. Талант его растрачивался на скучный, притупляющий ум труд иконописца. Жихарев не выдерживал этого и порой запивал...

Не менее тяжело сложилась жизнь и другого героя повести „В людях" — палешанина Павла Одинцова (1867—1906 гг.).

С Павлом Одинцовым, учеником-иконописцем, Горький сошелся особенно близко. Это был мальчик-сирота, почти ровесник Горького, лет с восьми живущий по чужим людям. Был он талантливый рисовальщик и карикатурист, и впоследствии из него выработался хороший мастер. В Москве в Государственном музее А. М. Горького хранится автопортрет Одинцова, написанный им маслом по мрамору по просьбе Горького. Работа эта свидетельствует о его незаурядных способностях портретиста и живописца. „Но его не надолго хватило, — пишет Горький, — к тридцати годам он начал дико пить, потом я встретил его на Хитровом рынке в Москве босяком и недавно слышал, что умер в тифе".[2]

П. С. Одинцов не только встречался с Горьким — писателем, но и переписывался с ним. Сохранились два его интересных письма к Горькому начала 900-х годов, опубликованные в книге И. Груздева „Горький и его время". Написанные безграмотно, но от души, они проникнуты чувством глубокой любви к другу юных лет Алеше Пешкову, ставшему теперь знаменитым писателем.

В первом письме он жалеет о несостоявшейся встрече с Горьким в Москве и говорит о радости предстоящего свидания:

„Дорогой друг Алеша! Прости, что так осмеливаюсь тебя называть, но поверь — сердце так подсказывает; письмо твое получил, и несказанно рад, рад тому, что скоро лично тебя могу увидеть. Прошу и умоляю тебя: уведомь, когда (т. е.), в какой день и часы приедешь в Москву, я приеду тебя встречать на вокзал — я и прошлый твой приезд ходил тебя встречать и ждал тебя увидеть в толпе твоих почитателей. Но не пришлось — ты знаешь почему... О себе я ничего не могу писать; чувства мои переполнены радостью о скором свидании с тобой и более о том, что ты, какой был, такой и есть до сего времени...".[3]

---

[1] М. Горький, Собр. соч., том XVII, стр. 189.
[2] Там же, стр. 180—181.
[3] И. Груздев, „Горький и его время", т. I, стр. 402.

Из второго письма мы узнаем, что Одинцов работает в Самаре в единоверческой церкви. Он жалеет, что ему не придется посмотреть пьесу „На дне“, так как в Самаре она не идет. Из письма ярко вырисовывается облик Одинцова как одного из первых читателей-пролетариев, восхищающегося образами, созданными писателем, который вышел из той же среды, что и он.

„Я еще пока имею твои 1, 2 и 3 тома. Лучшее из них я нахожу „Бывших людей“. Что за типы, что за Кувалда! Одно я могу тебе пожелать: береги себя, я слышал, что твое здоровье не в порядке. Храни тебя бог для нас простых людей, дорог ты нам, родной наш Максимыч, а о себе и говорить нечего... Если не затрудню — пришли, что можешь, из твоих книг. 1—2—3 тома я имею. Не откажи, буду благодарен и все со мной, кто у меня берет их читать. Но не поверишь, как я получил от тебя книги, сам прочел и не находились у меня 1-го месяца. Просят, а я с радостью даю. Вот во имя любящих тебя пришли. Что можешь, а по нынешним делам сам я приобресть не соберусь...“[1]

* * *

Переписка Горького с П. С. Одинцовым дает право говорить о том, что писатель в дооктябрьские годы в течение очень длительного времени был связан с палешанами и следил за их деятельностью.

В повести „В людях“, созданной в 1915—1916 годах, он с большой теплотой вспомнил о своих товарищах по иконописной мастерской: они ему „казались хорошими людьми, а жизнь была плоха, недостойна их, невыносимо скучна“.[2]

Из повести мы узнаем, что подросток Алеша Пешков старался внести, насколько мог, свет и веселье в безрадостный быт иконописцев. В свободное время он читал стихи русских поэтов, открывая неведомый им дотоле мир, „лицедействовал“ вместе с Павлом Одинцовым, разыгрывая смешные сценки и „комедии“, рассказывал истории из прочитанных книг, о своей жизни на пароходе, о людях, с которыми встречался.

Мастера были благодарны Алеше за его душевную отзывчивость и заботу. Один из них в день его именин произносит слова, полные любви и признательности и в то же время прекрасно вскрывающие замечательный гуманизм будущего великого писателя:

„—Хорошо в тебе то, что ты всем людям родня, вот что хорошо!..

---

[1] И. Груздев, „Горький и его время“, т. I, стр. 403.
[2] М. Горький, Собр. соч., т. XVII, стр. 192.

Все смотрели на меня хорошими глазами,— пишет Горький,—ласково высмеивая мое смущение, еще немножко — и я бы, наверное, разревелся от неожиданной радости чувствовать себя человеком, нужным для этих людей".[1]

Нужным и близким себя человеком, „родней" всех забитых и угнетаемых считали палешане Горького еще в глухие и мрачные времена царизма. Читая его книги, как это видно на примере Одинцова, они не могли не радоваться, что человек из их среды стал великим писателем, светочем, указывающим путь вперед простым людям.

Оглядываясь в дни траура по Горькому на свое прошлое, возрожденные революцией к новой жизни, палешане писали в газете „Правда" о значении для них Горького в то далекое время:

„Он работал среди нас во мраке царской России. Он пережил в себе судьбу народа.

Он, как и мы, познал бесправие людей в душных мастерских. И он, наряду с сотнями и тысячами судеб людей, нес в себе и нашу судьбу — безвестных и бесфамильных „богомазов". Он звал нас вперед. Нас и миллионы других.

Сквозь долгие годы мы слышали его слово..."[2]

* * *

После Великой Октябрьской социалистической революции произошла вторая встреча Горького с Палехом.

Это был уже не Палех иконописцев, а Палех советских народных художников, настойчиво прокладывающих новые пути в своем древнем искусстве. Не икона — средство духовного дурмана, не лики святых, теперь никому ненужные, а искусная лаковая миниатюра, переливающая всеми цветами радуги, с новым сюжетом, взятым из сказки, из живой советской действительности, из произведений русских писателей — классиков и советских писателей, стала основой яркого и самобытного искусства палешан.

Чехов, говоря в свое время о том, что Палех не воскреснет, оказался прав и неправ. Прав потому, что в прежнем своем качестве рассадника консервативного иконописного ремесла Палеху, действительно, не суждено было подняться. Неправ потому, что с революцией Палех не только воскрес, но и расцвел. Однако это подлинное возрождение Палеха произошло уже на совершенно иной идейно-художественной основе.

В конце XIX века, когда Горький впервые встретился с палехскими мастерами, они, отлично владевшие техникой

[1] М. Горький, Собр. соч., т. XVII, стр. 200.

[2] „Он — прошлое, настоящее и будущее народа".—„Правда", 1936, № 168.

своего дела, не были в своей массе знакомы с главным — с процессом создания художественного образа. Теперь они освободились от конвейерного производства и стали создавать картины творчески, каждый следуя оригинальному замыслу и придумывая свою оригинальную композицию.

То, о чем мечтал лучший мастер салабановской мастерской Жихарев — написать картину на тему поэмы Лермонтова „Демон", осуществилось только после Октября. И. П. Вакуров, один из лучших художников советского Палеха, прочитав повесть Горького „В людях", решил реализовать замысел Жихарева и написал „Демона". Этот факт символичен: он с исключительной наглядностью показывает лицо нового, возрожденного Палеха и все его отличие от Палеха дореволюционного.

Как известно, первые работы художников-палешан на папье-маше не были свободны от старых композиционных и стилистических приемов иконописи. В преодолении иконописных канонов, в движении Палеха от условности к реализму, наряду с изучением и воплощением современной советской действительности, большое значение имело обращение народных художников к литературным темам. Работая над литературными источниками, художники стремились понять и правдивее передать суть произведения. Это способствовало не только укреплению реалистической манеры их письма, но вело также к их идейному обогащению, помогало им ломать и перестраивать свое мировоззрение.

С этой точки зрения обращение палешан к художественным произведениям основоположника социалистического реализма в искусстве Горького не было просто расширением тематики их творчества, а имело принципиальное значение для всего их дальнейшего идейно-художественного развития.

Прежде чем встретиться лично, Горький и палешане после Октября встретились сначала в плане искусства.

В 1926 году палехский живописец Д. Н. Буторин создал первую композицию на горьковскую тему — „Смелый Данко" по раннему романтическому рассказу „Старуха Изергиль". В своей автобиографической заметке „Век живи — век учись" Буторин рассказывает: „Я избрал двух великих художников слова—Пушкина и Горького. Как-то у них художнику проще найти тему: когда читаешь—чувствуется картина... Стал читать произведения М. Горького. Тут еще больше нашел я тем, и они современнее, как, например, рассказ старухи Изергиль о смелом Данко, как он жертвовал собой, чтобы вывести людей от мрака к свету. Это мне очень напоминает нашу коммунистическую партию, которая тоже ведет нашу республику и пролетариат всего мира к социализму".[1]

[1] Е. Вихрев, „Палешане", М., 1934, стр. 211—212.

Наряду с Пушкиным Горький стал любимейшим писателем Палеха.

Вслед за Буториным горьковские образы в искусстве миниатюрной живописи воплощаются художниками А. Дыдыкиным („На дне" — 1929 г.), И. Вакуровым („Буревестник" — 1931 г.), А. Котухиным (сцена пира из „Старухи Изергиль" — 1930 г.), Н. Зиновьевым („Песня о Соколе" — 1933 г.), И. Маркичевым („Мать"—1931 г.) и др.

В настоящей статье не ставится задачей описать эти работы и дать их анализ. В отношении некоторых работ с поэтическим волнением сделал это в свое время большой энтузиаст и пропагандист палехского искусства — писатель Е. Ф. Вихрев в очерке „Максим Горький и Палех".[1]. Здесь лишь хочется подчеркнуть, что в композициях палешан на горьковские темы во всем блеске проявилось богатство и разнообразие их талантов.

Для подтверждения сказанного достаточно сравнить три композиции по „По песне о Буревестнике", принадлежащие кисти И. Вакурова, Н. Зиновьева, И. Маркичева. Каждая из этих картин является шедевром в своем роде.

И. Вакуров, в течение двух лет трудившийся над своей композицией, ввел в нее очень сильный элемент символики: поднявшаяся буря—революция топит золотой корабль капитала; вдали слева на берегу горят дворцы, происходит землетрясение; справа на скале возвышается мощная фигура нового человека, освещенная восходящим солнцем. Буревестник, пингвины, чайки отодвинуты в композиции Вакурова на второй план.[2]

Н. Зиновьев, создавший свою композицию „Буревестника" несколько ранее Вакурова, остался в пределах того материала, который дает само произведение Горького, но он сумел с большой силой и свежестью изобразить основные образы „Песни" и передать ее идейный смысл. Только в одном Зиновьев позволил себе „вольность": посредине композиции он написал портрет Горького, подчеркнув этим, что писатель сам является буревестником революции.

Работа И. Маркичева выполнена в середине 30-х годов и не в жанре миниатюры, а в жанре монументальной живописи. Его „Буревестник" в Ленинградском Дворце пионеров по своим выразительным средствам скуп, но вместе с тем преисполнен сурового величия революционной грозы.

С иллюстрациями палехских художников к своим произведениям Горький познакомился очень рано. По крайней мере, уже в 1930 году у него имелись две палехских компози-

[1] См. его книгу „Палех", 2-я композиция, М., 1938, стр. 177—191.

[2] О замысле своего „Буревестника" И. Вакуров рассказал в статье „Человек — это звучит гордо". — В кн. Е. Вихрева „Палешане", М., 1934, стр. 103—105.

ции — „Песня о Буревестнике“ и „Старуха Изергиль“. 9-го ноября 1930 года он послал их в Литературный музей им. А. М. Горького в Нижнем-Новгороде. Заведующему музеем А. И. Елисееву Горький писал: „Если это можно, если Вас не особенно затруднит, я Вас попрошу вот о чем: сфотографируйте обе палеховские картинки и пришлите мне фотографии“. В следующем письме он сообщает: „Палеховские снимки получил, спасибо!“[1]

Следует заметить, что палешане не только охотно обращались к иллюстрации горьковских произведений, но и сделали позднее несколько попыток создать портрет Горького (например, Н. Зиновьев, И. Мызников).

В этой связи не лишне также будет отметить, что один из самых лучших портретов Горького принадлежит кисти коренного палешанина Павла Дмитриевича Корина, вышедшего из семьи потомственных иконописцев. П. Д. Корин получил специальное художественное образование и стал крупным советским художником. В сентябре 1931 года Горький познакомился с его работами и, убедившись в их талантливости, увез П. Корина и его брата художника Александра с собой. Братья Корины длительное время жили у Горького в Сорренто, и здесь Павел Дмитриевич написал большой портрет Горького во весь рост на фоне гор и моря, заставляющих вспомнить его ранние романтические произведения и „Сказки об Италии“.

„Мне не хотелось писать Алексея Максимовича Пешкова в его домашней обстановке, меня увлекала задача передать образ Максима Горького, великого писателя, мыслителя и человека“.[2] Так передает П. Д. Корин идейный замысел портрета Горького.

Во время первой встречи с палешанами весной 1932 года, показывая им фотографический снимок с этого портрета, Горький сказал, что это лучший из всех портретов, написанных с него художниками.[3]

Искусствовед М. П. Сокольников, встречавшийся неоднократно с Горьким, рассказывает: „Помню, А. М. показывал мне его, когда он находился еще у него на квартире.— Посмотрите, вот знаменитый художник. И как он верно и мудро меня изобразил“.

Позднее с Горького Корин сделал около 20 рисунков — в Москве, в Крыму и после его смерти. Горький проявлял к Корину большое внимание как к художнику, и о своем знакомстве с Горьким палешанин П. Корин говорил, что оно „было большим этапом“ в его жизни.

---

[1] „Горьковский рабочий“, 1937, № 216.

[2] П. Корин. „Как я рисовал Горького“, — „Советское искусство“, 1936, № 29.

[3] Е. Вихрев, „Палех“, М., 1938, стр. 191.

* * *

Яркость, самобытность и богатство талантов Палеха проявилось и в произведениях на темы русских народных песен, сказок, гражданской войны, нового быта, которые занимают очень большое место в творчестве художников-палешан, начиная с первых дней работы на папье-маше. Уже в 1923 г., т. е. еще до образования артели, палехские шкатулки пользуются огромным успехом сначала на художественно-промышленной выставке, а затем на сельскохозяйственной выставке в Москве и на Нижегородской ярмарке. Вслед за этим искусство бывших палехских кустарей начинает свое триумфальное шествие за границей, где даже буржуазные знатоки и ценители искусства, скрепя сердце, вынуждены признавать за советскими народными художниками первенство и присуждать им высшие награды. Так было на выставке в Италии, во Франции и в других странах.

Горький, находясь за границей, внимательно и ревниво следил за буйным расцветом творческих сил своей великой Родины, и, естественно, мимо его внимания не могли пройти успехи Палеха, прошлое которого он так хорошо знал по личному жизненному опыту. Эти успехи наполняли сердце писателя чувством глубокой патриотической гордости за русского человека, за его обновленную социалистическую отчизну.

„За ничтожное время — 10 лет,— писал Горький в одном из писем на Родину в феврале 1928 г.,— духовные силы рабочего народа широко развернулись..., рабочие дали стране сотни писателей, поэтов, живописцев, изобретателей, политических работников..., из мастеровых — люди становятся удивительными художниками, как, например, иконописцы — „богомазы" села Палеха..."[1]

И несколько ранее Горький дал два примечательных отзыва об искусстве Палеха. Первый из них мы находим в письме Горького к его биографу И. А. Груздеву от 1927 года:

„Пожалуйста, пришлите мне „Кустарную промышленность" и — нет ли чего-либо специально о кустарях-„богомазах" Мстеры, Холуя и Палеха. Сейчас они работают совершенно изумительные вещи и очень бы хотелось знать, какой умный Дьявол научил их прыгнуть так высоко? Ой,— талантлив народ наш!"[2]

В этом же 1927 году в письме к президенту Государственной академии художественных наук П. С. Когану Горький определяет палехское искусство как „одно из маленьких

---

[1] Цитирую по сборнику „Горький о родине", М., 1945, стр. 221.
[2] И. Груздев, „Горький и его время", т. I, Л., 1938, стр. 400—401.

чудес, созданных революцией", как „свидетельство о пробуждении творческих сил в массе трудового народа".

„Стоит сравнить,— пишет Горький в этом письме,— работу „богомазов" Палеха, Холуя, Мстеры до революции с тем, что они дают сейчас, и мы, поистине, будем изумлены прыжком, который сделали кустари. Возможно, что один из наиболее показательных прыжков от „необходимости" подневольного труда к „свободе" творчества.

Я бы очень советовал собрать в одном из московских музеев дореволюционную работу Палеха,— иконы „фряжского" и „византийского" письма,— сопоставить с достижениями сего дня и, показывая это прекрасное „дело" экскурсантам, говорить им о глубоком символическом значении уродства, побежденного простотой свободного творчества".[1]

Приведенные отзывы Горького об искусстве возрожденного Палеха говорят о том, что к 1927 году писатель уже достаточно хорошо был знаком с достижениями палехских художников-миниатюристов и проявлял к их новым произведениям большой интерес.

В 1927 году советская делегация, навестившая Горького в Сорренто, преподнесла ему великолепный подарок: его рабочий стол был украшен письменным прибором из папье-маше, состоящим из двенадцати предметов. Прибор этот расписывал Иван Голиков, наиболее ценимый Горьким художник Палеха. Горький был поражен филигранным мастерством росписи и, как передает делегация, был в восторге от такого подарка. Он поставил прибор на стол и каждого иностранца, входившего к нему, брал за руки и, не давая ему ничего говорить, подводил к письменному столу и много говорил о палехском искусстве, о художниках-самоучках..."[2]

Поэт Н. Асеев, гостивший у Горького в ноябре 1927 года, набрасывает в своих воспоминаниях такую картину: на столе — „только что присланные из Союза подарки Горькому: письменный прибор от палехских кустарей, стальные иззолоченные изделия Урала. Горький любуется ими, показывает их восхищающимся итальянцам".[3]

* * *

Возвратившись весной 1928 года на Родину, Горький получил возможность гораздо ближе познакомиться с искусством

[1] Опубликовано в книге И. Груздева „Горький и его время", т I, изд. 2, 1948, стр. 453—454.

[2] В-ий, „Горький и Палех",—„Рабочий край", 1928, № 264 (статья эта, очевидно, написана Е. Вихревым).

[3] Николай Асеев, „В гостях у Горького" — „Горький". Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. Под редакцией И. Груздева. М.-Л., 1928, стр. 460.

Палеха. Еще дорогой редактор „Известий“ Скворцов-Степанов, выехавший встречать Горького, познакомил его с рядом произведений палехских художников. Горький, вспомнив иконописцев-палешан, с которыми вместе работал в отроческие годы, и даже назвав фамилии Одинцова, Салаутина и Ситанова, тут же высказал мысль о необходимости материальной поддержки палехской художественной артели. Вскоре, по его инициативе, было собрано десять тысяч рублей для оборудования нового помещения для мастерской.

Горький очень хотел побывать в Палехе и своими глазами посмотреть, как работают теперь бывшие „богомазы“.

Поездку в Палех Горький задумывал одновременно с поездкой в Иваново, но ни то, ни другое не осуществилось.

Однако горьковская забота о Палехе и его связь с Палехом не прекращалась до самой его смерти.

Горький подобрал и прислал в Палех богатую библиотеку по вопросам искусства. По его мысли и при его ближайшем участии в Палехе организуется Государственный музей палехского искусства. В Палех направляются специалисты для организации там искусствоведческой и культурно-просветительной работы. Горький заботится о привлечении палехских художников к оформлению книги и вообще о расширении сферы применения их искусства. Трудно перечислить все сделанное Горьким для еще большего расцвета Палеха.

Но главное, пожалуй, состоит не в материальной помощи, которую щедро оказывал Горький, а в той авторитетной моральной поддержке, которую палешане всегда получали и чувствовали с его стороны.

Первые шаги, первые творческие искания палешан вызвали не только удивление и похвалу, но среди эстетствующих искусствоведов и критиков слышались и скептические голоса относительно творческих возможностей Палеха, говорилось даже о „примитивности“ его живописи. Как суровый ответ такого рода „критикам“ прозвучали слова Горького в письме Ефиму Федоровичу Вихреву от 15 января 1930 года: „Искусство Палеха вполне достаточно более широкой и грамотной оценки, чем та, которой оно пользуется у нас, достойно и более высокой оценки материальной“.[1]

Эти слова Е. Вихрев поставил эпиграфом к упоминавшейся выше статье „Максим Горький и Палех“, лично просмотренной и отредактированной Горьким.

В противовес эстетствующим снобам, бессильным понять ростки нового в советском народном творчестве и выражающим сомнения по поводу его, Горький решительно поддерживает тех людей, кто умеет видеть новое, верит в него и

[1] Журнал „Культура и быт“, 1932, № 25, стр. 4.

борется за него. Так было и с ивановским писателем-коммунистом Е. Вихревым, вдохновенным певцом палехского искусства.

В 1930 году вышло первое издание книги Вихрева „Палех". Свою книгу он послал Горькому в Сорренто. В связи с этим между Горьким и Вихревым возникла переписка, затем они неоднократно встречались. В своих письмах от 15 января и 10 февраля 1930 года Горький высоко оценивает книгу Вихрева. Он отмечает как положительное любовь автора к искусству Палеха и понимание значения этого искусства. В целях популяризации работы палехских мастеров Горький предлагает Вихреву написать статьи для журнала „Наши достижения" и в этих статьях сравнить сегодняшний Палех со старым — в этом, считает Горький, будет много поучительного.

Работа Е. Вихрева по пропаганде и популяризации палехского искусства вызывала неизменный интерес со стороны Горького. Об этом свидетельствуют, например, письма Е. Вихрева к брату В. Ф. Вихреву. 12 июня 1932 года он сообщает из Палеха: „Здесь я организую книгу „Слово предоставляется Палеху", которую пишут палешане. Этой идеей заинтересовался Горький" [1]. 4 октября этого же года в письме из Москвы Вихрев рассказывает: „Последние недели я был особенно загружен работой. Срочно писал очерк к юбилею Горького „Максим Горький и Палех", каковой появился уже в печати... Очерк этот был предварительно прочитан самим Алексеем Максимовичем Горьким — он сделал в нем несколько собственноручных поправок, очень незначительных, а в общем ничего не изменил. Затем я сдал в печать книгу „Палешане". По всей вероятности будет она печататься в богатом издании. Сейчас ее читает Горький. 25 сентября я был у Горького вместе с палешанами..., имел с ним разговор об этой книжке".

Последняя писательская работа Вихрева была тоже связана с Палехом и выполнялась по непосредственному поручению Горького. Для специального номера журнала „Наши достижения", целиком посвященного развитию и успехам народного искусства в СССР, Вихрев готовил очерк о современном Палехе. Приехав в Палех, он заболел и скончался 2 января 1935 года. Его большой посмертный очерк „Палех, село — академия" был напечатан в „Наших достижениях" вслед за цитированной выше горьковской статьей „Об искусстве".

---

[1] Здесь Вихрев имеет в виду книгу воспоминаний и заметок около 20 палехских художников о себе и о своем искусстве, вышедшую в 1934 году под названием „Палешане".

Пользуюсь случаем выразить Василию Федоровичу Вихреву признательность за предоставленные в мое распоряжение материалы.

* * *

Первой личной встрече Горького с палешанами после Октября, как мы видели, предшествовала длительная заочная дружба. Горький знал и любил новое палехское искусство, всячески поощрял и поддерживал палешан в их работе. Палешане были благодарны своему вдохновителю и учителю и страстно желали встретиться с ним. Желание это осуществилось весной 1932 года. 9 мая делегация из четырех человек, в том числе И. И. Голиков и Д. Н. Буторин, посетила Горького в Москве.

Иван Голиков в своих мемуарах „Сквозь бури эпохи" так описывает эту встречу с Горьким.

„Приняты мы были хорошо. Алексей Максимович расспрашивал об искусстве и нуждах артели и вспомянул наших отцов, иконописцев. Некоторых он знал в детстве, когда был учеником в иконописной мастерской в Нижнем.

Рассказывал нам, какой интерес имеет наше искусство за границей, какой упадок искусства наблюдается на Западе.

Алексей Максимович спрашивал меня, как я живу материально. У него в это время находились две мои миниатюры. Алексей Максимович спрашивает, сколько я потратил времени на эти миниатюры. Я сказал, что месячный заработок от этих работ двести пятьдесят рублей. — Мало, — говорит, — на семью в девять человек. И добавил: — Пишите мне, в чем вы нуждаетесь.

Тут же лично Алексей Максимович дал нам ряд художественных изданий и книг по искусству. Рассказал нам, как поторговывают нашими вещами коллекционеры и какая нашим произведениям стоимость. Цифры я забыл, но что-то очень дорого. Пожелал мне успехов в иллюстрировании „Слова о полку Игореве" [1].

Иллюстрирование „Слова о полку Игореве", роскошное издание которого предприняло издательство „Академия", по совету Горького было поручено Голикову.

Горький не без основания полагал, что великолепный эпический памятник древней Руси может быть передан средствами изобразительного искусства лучше всего народными художниками Палеха. Поэтому мысль о привлечении палехских художников к оформлению издания „Слова" он называл „отличной мыслью", „превосходной". Однако он считал, что „несколько мастеров различных степеней дарования" не сможет обеспечить украшению книги художественное единство стиля" и высказывался за привлечение к этой работе „лучшего, талантливейшего из палешан — Голикова" [2].

[1] Е. Вихрев, „Палешане", М., 1934, стр. 97—98.

[2] Д. Н. Семеновский, „А. М. Горький. Письма и встречи", изд. „Советский писатель", 1938, стр. 105.

Над иллюстрацией „Слова“ Голиков трудился два года. Прежде чем сделать эскизы, он долго и кропотливо работал над коллекциями Исторического музея и в рукописном отделе Всесоюзной государственной библиотеки им. В. И. Ленина, изучая старинные рукописи, миниатюры и орнаменты. Им были выполнены не только цветные иллюстрации к „Слову“, но и сделаны переплет, форзац, титул, заставки концовки и написан от руки весь текст „Слова“ для литографского воспроизведения. В свет это издание вышло в 1934 году и по своим художественным качествам и полиграфической технике является выдающимся.

Горький внимательно следил за работой Голикова по оформлению издания. Он с нетерпением ждал его миниатюр к „Слову“. Вскоре, 25 сентября 1932 года, в дни, когда наша страна праздновала 40-летний юбилей литературной деятельности великого пролетарского писателя, состоялась вторая встреча палешан с Горьким, и показ Голиковым во время этой встречи эскизов к „Слову“ превратился в настоящий триумф.

Присутствовавший при этой встрече Е. Вихрев заносит в свой дневник:

„Впечатление, произведенное голиковским „Игорем“, незабываемо.

Я помню ту минуту, когда Голиков выложил на стол перед Алексеем Максимовичем свои пластинки: „Пленение Игоря“, „Затмение“ и другие.

Все подходят вплотную к миниатюрам Ивана Ивановича... Голиков стоит у стола Алексея Максимовича, маленький, в больших сапогах.

Горький встает, снова надевает очки. Горький идет вокруг стола, держа миниатюру. Горький захвачен поэзией красок.

Он пожимает Голикову руки. А Голиков стоит перед ним и говорит туманно, говорит запинаясь:

— Я и думал, как бы это... конешно надо по-новому... хоша и миниатюры, но опять же я...

— Изумительно! Изумительно! — кричит Горький. — Да как же это у вас получилось?..“ [1]

В знак признательности за исключительную заботу о палехском искусстве общее собрание артели 4 сентября

---

[1] Е. Вихрев, „Палех, село — академия“. — „Наши достижения“, 1935, № 5—6, стр. 30.

Высокую оценку работе Голикова Горький дал в 1935 году и в беседе с известной певицей Ирмой Яунзем. „Мы говорили, — вспоминает она, — о вышедшем недавно в издании „Академия“ „Слове о полку Игореве“. Горький очень хвалил оформление книги, особенно замечательные рисунки палехского художника Голикова. В связи с этой книгой заговорили о палешанах...“ (Ирма Яунзем, „В гостях у Алексея Максимовича Горького“. — „Советская музыка“, 1949, № 7, стр. 51).

1932 года постановило „считать Алексея Максимовича Пешкова (М. Горького) почетным членом артели". Делегация вручила Горькому выписку из протокола собрания и удостоверение об избрании его почетным членом артели.

Беседа Горького с палешанами о их жизни и творчестве продолжалась более полутора часов. От Горького художники уехали заряженные еще большей творческой энергией и стремлением найти ей более широкое применение.

* * *

Идя по пути, указанному Горьким, они много и плодотворно работают над оформлением и иллюстрацией книг, расписывают фарфор, пробуют свои силы в текстильном рисунке, в искусстве театральной декорации и т. д. Особое место в их работе начинает занимать монументальная живопись, в которой возрождается единственное в своем роде искусство палехской фрески, имеющей богатейшие традиции.

Переход к новым видам творческой работы был сопряжен с известными трудностями, но палешане умело и настойчиво с ними справлялись.

Вот что говорит Д. Буторин о своих первых опытах по стенной живописи:

„Особенно мне памятна одна работа. Я написал миниатюру „Смелый Данко", которую мне пришлось преподнести Алексею Максимовичу в день его юбилея.

Вскоре нам предложили работу в Ленинградском Дворце пионеров, — расписывать стены в комнате сказок и в комнате Горького. Стены большие, — забыл сколько метров... Вот тут-то и пришлось призадуматься. С миниатюры, да на такую большую стену! Я писал ту же композицию о смелом Данко. Пришлось, как говорится, попотеть. Но сделал! Комиссия, созданная из лучших художников Ленинграда, признала работу отличной. Был товарищ Жданов. Поблагодарил за работу. И тут от сердца отлегло — значит и эта работа нам под силу."[1]

К десятилетнему юбилею своего объединения палешане пришли с большими творческими победами не только в искусстве лаковой миниатюры, но и в ряде других областей живописи. В связи с этим пяти крупнейшим художникам Палеха советское правительство присвоило почетное звание заслуженных деятелей искусств и наметило ряд мероприятий, направленных на дальнейший подъем искусства Палеха.

---

[1] Д. Буторин, „От робких мазков до смелых полотнищ", — „Рабочий край", 1940, № 217.

13 марта 1935 г., в день празднования юбилея, палешане прежде всего, обращаются к Горькому, говоря о том колоссальном значении, которое он для них имел:

„Дорогой Алексей Максимович!

Шлем тебе — лучшему другу палешан — горячий привет. Сегодня мы отмечаем десятилетие возрожденного советского Палеха — юбилей артели древней живописи.

Твои произведения служили и служат неиссякаемым источником нашего творчества. Самое лучшее наше воспоминание связано с теми моментами, когда мы пытались своими приемами в красках передать волнующие образы Буревестника, Сокола, Смелого Данко, старухи Изергиль.

Очень жалеем, что нездоровье помешало тебе приехать к нам, чтобы вместе разделить общую радость. Мы не теряем надежды, что летом ты, Алексей Максимович, приедешь в наше село. У нас есть очень многое, что показать, что рассказать о своей работе и советском Палехе".[1]

5 июня 1935 года состоялась третья и последняя встреча палешан с Горьким.

Три крупнейших художника Палеха — И. Маркичев, А. Котухин и И. Вакуров — возвращались из творческой поездки в Армению и заехали на дачу Горького в Горках. Поездка в Армению была организована по совету и содействию самого Горького с целью обогатить тематику и искусство Палеха сокровищами братских республик. В Эчмиадзине палешане познакомились с древнеармянской художественной миниатюрой, сделали много зарисовок и теперь, встретившись с Горьким, по его просьбе показывали свои рисунки и рассказывали о своих впечатлениях от Армении и о своих творческих замыслах.

Во время этой встречи присутствовали известный французский писатель Ромен Роллан и его жена, с которыми Горький познакомил палешан. Ромен Роллану художники вручили издание „Слова о полку Игореве" в оформлении Голикова и шкатулку И. П. Вакурова „Лесная сказка", о которой Ромен Роллан дал восторженный отзыв. Горький, Ромен Роллан и палешане сфотографировались вместе на память о встрече.

Перед отъездом Горький показал палешанам свой кабинет. На его рабочем столе они увидели переливающую яркими красками палехскую расписную коробочку.

А. В. Котухин вспоминает, что при последней встрече „Алексей Максимович пожелал нам, палешанам, еще больших успехов в освоении новой советской миниатюры и применения живописи Палеха в других отраслях прикладного искусства и промышленности".[2]

[1] „Рабочий край", 1935, № 61.

[2] А. Котухин, „Мой путь", — „Рабочий край", 1940, № 217.

* * *

Смерть Горького была большим горем для Палеха.

Находившийся там в это время писатель Д. Н. Семеновский рассказывает:

„Печальная весть облетела село. Художники ждали газет, чтобы узнать подробности несчастья, — смерть Горького ощущалась в Палехе именно как несчастье, как неожиданно свалившаяся беда".[1]

На траурном митинге художники вспоминали о своих встречах с Горьким. В „Правде" и местной газете „Трибуна Палеха" они напечатали прочувствованные некрологи, в которых, вместе с выражением скорби, обещали из поколения в поколение „передать его мысль, голос и славу и радость от него, от живого, доброго друга — Горького"[2] и „с любовью переводить на язык линий и красок" его художественные произведения". В лице Алексея Максимовича Палех понес тяжелую невозвратную утрату друга, учителя и вдохновителя", — писали палешане.[3]

В Палехе свято чтут память Горького, своего мудрого наставника, вдохновителя и товарища.

Идущее на смену старшим второе и третье поколения палешан постоянно обращаются к творчеству Горького как к замечательному источнику вдохновения, передавая в живописи его образы, чаяния, мысли. Ряд значительных работ на горьковские темы создали П. Баженов, Солонин и другие молодые художники. С годами расширяется круг горьковских произведений, над которыми работают палешане, и наряду с романтическими („Макар Чудра", „Легенда о Марко" и др.) их привлекают и произведения реалистического плана („Зазубрина", „Мальва", „В людях" и др.).

Художественное училище Палеха, созданное решением советского правительства в 1935 году на базе профтехшколы, носит имя А. М. Горького. В течение пяти лет будущие художники постигают тонкое и сложное искусство палехской миниатюры, проходят общую художественную подготовку, изучают историю искусства, получают общее среднее образование. Опытнейшие мастера старшего поколения: народный художник РСФСР И. В. Маркичев, заслуженные деятели искусств А. В. Котухин, И. П. Вакуров, художники Н. М. Зиновьев, Н. М. Парилов, И. И. Зубков и другие передают свои знания и огромный опыт молодежи. Как это не похоже на „ученичество" Горького в иконописной мастерской!

---

[1] Д. Семеновский, „Горький и Палех" — „Пламя", 1937, № 6, стр. 26.

[2] „Правда", 1936, № 168.

[3] „Трибуна Палеха", 1936, № 70.

В своем творчестве художники Палеха стремятся итти по пути, который наметил Горький для развития всего социалистического искусства.

На языке своих изумительных красок они передают поэзию нашей советской действительности, работают, по определению тов. В. М. Молотова, „для того, чтобы своим трудом и искусством служить трудящимся советской страны в их строительстве новой жизни".

Советский народ, партия и правительство высоко ценят своих народных художников. Одного из крупнейших художников Палеха Н. А. Правдина трудящиеся Ивановской области выбрали депутатом Верховного Совета РСФСР. Художник Н. М. Парилов удостоен почетного звания лауреата Сталинской премии за оформление спектакля „Золотой петушок", поставленного в 1946 году в Саратовском театре оперы и балета. Со значительными достижениями пришли палешане к двадцатипятилетнему юбилею своего объединения в области книжной иллюстрации, миниатюры, театральной декорации, в работе по реставрации архитектурных памятников и т. д., находя, по совету Горького, все новое и новое применение своему древнему и в то же время необыкновенно свежему искусству.

Следуя заветам своего друга и учителя Горького, искусство Палеха, глубоко национальное, русское по форме, социалистическое по содержанию, несомненно, достигнет еще большего своего расцвета.

В. КАУРОВ

О ТВОРЧЕСТВЕ М. ШОШИНА

(К 25-летию литературной деятельности)

В этом году исполнилось 25 лет литературной деятельности Михаила Дмитриевича Шошина, одного из популярных ивановских писателей, большинство книг которого посвящено изображению советской деревни.

М. Шошин родился в 1902 г., в деревне Яснево, нынешнего Вичужского района, Ивановской области. „Край наш фабричный, — писал М. Шошин в автобиографии, — восемь текстильных фабрик растянулись на десятки километров одна за другой. Родители мои имели крестьянское хозяйство и работали на фабрике: отец — ткацким поммастером, мать — ткачихой".

Образование М. Шошин сначала получил в сельской школе, а после Великой Октябрьской социалистической революции — в школе второй ступени. В 1918 г. Михаил Дмитриевич вступил в комсомол, работал в уездном комитете комсомола заведующим отделом деревенской молодежи. Особенную любовь М. Шошин проявил к газете: желание писать очерки из жизни рабочей и крестьянской молодежи было большим. Так, с 1924 по 1929 г. он сотрудничал в редакции кинешемской газеты „Приволжская правда", затем переезжает в Иваново и с тех пор с небольшими перерывами работает в аппарате редакции газеты „Рабочий край". В ту пору при „Рабочем крае" была организована группа литераторов с выразительным названием „Атака". Сюда обычно собирались писатели, чьи имена довольно часто фигурировали как на страницах газет, так и в издаваемых местных литературно-художественных сборниках. В редакции собиралось до тридцати человек, среди которых были и совсем молодые люди, только что начинающие авторы.

На заседаниях „Атаки" часто шли жаркие споры. Эти споры имели большое принципиальное значение, они каса-

лись самых острых вопросов классовой борьбы на литературном фронте. Советская литература переживала период становления, и это становление крепло в острой идеологической борьбе. Были случаи, когда и в „Атаке“ раздавались затхлые голоса подражателей буржуазных перевальцев или неуклюжих защитников „чистого искусства“, и тогда-то завязывалась жаркая полемика, кончавшаяся обычно идейным разгромом защитника буржуазных и мелкобуржуазных литературных теорий. Собственно, ивановская „Атака“ и выросла как литературный коллектив писателей, который складывался и рос в борьбе за чистоту идейных взглядов передовых советских людей.

Мы остановились на „Атаке“ потому, что это было одно из типичных явлений советской литературы. Здесь, в Иванове и других городах нашей Родины, тянулись к свету, к жизни талантливые люди, которым Великая Октябрьская социалистическая революция открыла дорогу к творчеству. И разве не знаменателен такой факт, что В. И. Ленин заинтересовался группой ивановских писателей и запросил в 1921 г. комплект „Рабочего края“, чтобы познакомиться с их произведениями.

Великий Горький особенно следил за ивановцами, вел с ними переписку, подбадривал их своими теплыми советами и вместе с тем направлял справедливо строгими требованиями. М. Шошин принадлежит к числу тех ивановских литераторов, которые имели счастье переписываться с А. М. Горьким. Деревенский юноша, написавший несколько рассказов, решил послать их великому писателю. М. Шошин знал, что А. М. Горькому шлют письма со всех концов света и уж никак не ожидал быстрого отклика. Однако ответ пришел скоро. А. М. Горький умел отвечать на тысячи писем, умел отзывчиво подсказать нужный и своевременный совет молодым авторам. Долго М. Шошин вертел в руках конверт с письмом любимого писателя, а потом с неповторимым чувством волнения прочитал в нем следующее:

„Записки плохого поэта“ и „По волжским просторам“ вполне определенно говорят о вашей даровитости. Говорят и о том, что вам доступно чувство дружбы к людям, чувство доверия к жизни, — это чувство не часто встречается выраженным так просто, искренно. Вы хорошо видите жизнь и знаете, о чем надобно писать. Изобразительные средства у вас неплохи, но могут и должны быть лучше, богаче. В приемах работы чувствуется влияние М. М. Пришвина. Это — весьма крупный художник, у него есть чему поучиться, но не забывайте, что одно дело учиться, другое — подражать. Я думаю, что вы человек своеобразный, вижу, что у вас есть свой немалый опыт, он требует вашей, а не чужой окраски... Вам следует заняться языком. Не хочу сказать, что он плох,

но он еще беден. Требуется чтобы вы обогатили его... Избегайте таких слогов, как „щущих", „щая", „ще", „вшей", а также вообще свистящих и шипящих везде — они не звукоподражательны. „Трепещущая тишина" не изображает тишины потому, что слога „щу", „ша" слишком определенно звучат... „Записки поэта" — если они нигде не печатались, я предлагаю вам напечатать в журнале „Наши достижения". С будущего года журнал будет выходить ежемесячно и мы решили печатать в нем беллетристику светлого тона, как ваша... Мелкие ваши рассказы следует напечатать в литературной странице „Известий". „По заволжским (просторам)" могу послать в „Красную новь" или „Новый мир". Всего доброго.

М. Горький."

Можно себе представить, как это письмо ободрило М. Шошина, письмо, представляющее и до сего дня большой интерес для писателей.

А. М. Горький оценил М. Шошина прежде всего за его правильное понимание жизни, за ... „светлый тон" его рассказов, и тут же указал на необходимость совершенствовать литературное мастерство. В другом письме Алексей Максимович писал М. Шошину:

„Если найдете время, напишите для „Наших достижений" очерк на любую иваново-вознесенскую тему, но в таком же добром тоне, как и „Записки поэта"...

М. Шошин написал очерк „Обгон" о социалистическом соревновании на фабрике. То ли потому, что он плохо тогда знал жизнь фабрики, то ли из-за торопливости, очерк получился неудачным, и автор получил от А. М. Горького не просто письмо, а развернутую рецензию, где подробно со всей горьковской откровенностью были изложены недостатки очерка. Поскольку это письмо интересно не только для понимания истории творчества М. Шошина, но и представляет громадный интерес для каждого начинающего или растущего литератора, процитируем из него ряд отрывков.

„Рассказы ваши получил, — писал А. М. Горький. — Вы прислали два черновика, оба написаны „на скорую руку", не продуманы и до того небрежны, что в них совсем не чувствуется автор тех двух очерков, которые я вам обещал напечатать и которые подкупили меня своим добрым настроением.

Хуже того, — в „Обгоне" и „Вызове" не чувствуешь ни любви к литературной работе, ни уважения к читателю, а если у вас нет ни того, ни другого, — вы не научитесь писать, и не быть вам полезным работником в области словесного искусства.

Талант развивается из чувства любви к делу, возможно

даже, что талант — в сущности его — и есть только любовь к делу, к процессу работы. Уважение к читателю требуется от литератора так же, как от хлебопека: если хлебопек плохо промешает тесто, если из-под рук его в тесто попадает грязь, сор, — значит хлебопек не думает о людях, которые будут есть хлеб, или же считает их ниже себя, или же он — хулиган, который, полагая, что „человек не свинья, все съест", нарочно прибавляет в тесто грязь. В нашей стране наш читатель имеет особое глубокое обоснованное право на уважение, потому, что он — исторически — юноша, который только что вошел в жизнь и книга для него — не забава, а орудие расширения знаний о жизни, о людях.

Судя по тому, как вы разработали тему рассказа „Обгон", вы сами относитесь к действительности нашей очень поверхностно.

Тема рассказа — нова и оригинальна: мать ткачиха соревнуется с дочерью в работе; на соревнование вызвала ее дочь, но мать, работница более опытная, победила дочь.

Победа матери требовала от вас юмористического отношения к дочери, это было бы весьма поучительно для многих дочерей и сыновей и было бы более правдиво. Победа эта не могла не вызвать со стороны старых рабочих хвастовства перед молодежью своим опытом, — это вами не отмечено. Вы догадались, что соревнование должно было повлиять на домашние, личные отношения матери и дочери, но не договорили этого. Перед вами была хорошая возможность показать на этом, сравнительно, мелком факте взаимоотношения двух поколений. Вы этой возможности не использовали. В общем же вы скомкали, испортили очень интересную тему, совершенно не поняв ее жизненного значения.

Как все это написано Вами? Вы начинаете рассказ фразой: „Вечер не блистал красотой". Читатель вправе ждать, что автор объяснит ему смысл этой странной фразы, расскажет: почему же „вечер не блистал"? Но вы, ничего не сказав о вечере, в нескольких строчках говорите о поселке, которому „не досталось своей невеликой части кудрявой весны". Каждая фраза, каждое слово должно иметь точный и ясный читателю смысл. Но я, читатель, не понимаю: почему поселку „не досталось невеликой части весны?" Что же — весну-то другие поселки разобрали? И — разве весна делится по поселкам Иваново-Вознесенской области, не на равные части?

Далее, — через 6 строк Вы пишете:

„Нестерпимая тишина была прижата сине-черным небом и задыхалась в тесноте". Почему и для кого тишина „нестерпима"? Это вы забыли сказать. Почему весенним вечером небо „сине-черное"? Что значит: „тишина задыхалась в тесноте"? Может быть, так допустимо сказать о тишине

в складе товаров, но, ведь, вы описываете улицу поселка, вокруг его, вероятно, поля, а над ним „сине-черное небо". В этих условиях для тишины достаточно простора и „задыхаться" тишине — нет оснований.

Все девять страниц рассказа написаны таким вздорным языком. Что значат слова: „довольно ответственно заявила"? „Особенно „рачить" было не для кого". Может быть Вы хотели сказать „радеть". Странное, неблагоразумное и редко употреблявшееся слово „рачить" давно не употребляется, даже „рачительный" почти забыто. В другом месте у Вас „теплилась ехидца". Ехидство от — ехидны, змеи. Змея — холоднокровна. Подумайте: уместно ли здесь словечко — „теплиться"?

Анализируя другие недостатки присланных очерков, А. М. Горький заканчивает письмо следующими поучительными для очень многих начинающих авторов словами:

„Почему я так много пишу по поводу Вашего безнадежно плохого рассказа на хорошую тему?

Вот почему: многие из нас, кандидатов на „всемирную славу", торопясь „одним махом" доскочить до нее, хватаются за темы серьезного, глубоко жизненного значения. Но Вы их комкаете, искажаете, компрометируете,— засыпая хламом пустеньких, бездушных или плохо выдуманных слов.

За этими темами скрыты живые люди, большие драмы, много страданий героя наших дней—рабочего. Не скажет он, рабочий, спасибо Вам за то, что вы уродуете действительность, которую он создает из крови и плоти своей.

Не скажет. А если скажет, так что-нибудь гораздо более резкое, чем говорю я".

Как видно из отрывков этого письма, А. М. Горький требовал от М. Шошина, как и от всех молодых литераторов, глубокого знания жизни и нетерпимости к недооценке литературного мастерства.

Письма А. М. Горького бесспорно оказали сильное влияние на творческую практику М. Шошина, ибо сам по себе один только факт переписки А. М. Горького с М. Шошиным уже налагал громадную моральную ответственность на молодого автора и явился большой движущей силой в развитии его творчества.

Если говорить об особенностях творческого пути М. Шошина, то они заключаются главным образом в следующем. Многие его произведения (очерки, рассказы и повести) написаны о деревне.

Темы, связанные с классовой борьбой в деревне, решались писателем и правильно и интересно. В двух небольших сборниках рассказов, обобщающих ранние произведения М. Шошина —„Инструктор Птахин" и „Таракан", изданных Иваново-Вознесенским издательством „Основа" в 1925 г.,—

даются картины культурной революции в деревне и резко назревающие перемены в быту. Молодой парень Птахин с жадностью поглощает новости из газет и книг, в стужу и слякоть ходит из деревни в деревню, делает доклады „О текущем моменте", с энтузиазмом рассказывает о вреде религиозных предрассудков, неутомимо агитирует правдивым советским словом. В этом небольшом рассказе „Инструктор Птахин" М. Шошину удалось запечатлеть образ подвижного, энергичного, уверенного в своих силах агитатора, на пути которого то и дело встают самые неожиданные и большие трудности. В рассказе „Таракан" писатель говорит о том, как от суеверного старика-эгоиста с кулацкими замашками уходит жена Наталья, захотевшая жить по-новому.

С точки зрения литературного мастерства далеко ушел М. Шошин в сравнении с этими ранними рассказами. В то время стиль рассказов был нередко перегружен тяжеловесными фразами и грубоватыми выражениями, но при всем этом писатель обнаруживал ясное понимание социальных и бытовых процессов, происходящих в деревне. В этих ранних рассказах уже сказалась одна из замечательных черт его творчества, нашедшая впоследствии свое талантливое развитие— юмор. Знание живой разговорной речи сельских жителей, „чувство дружбы к людям", о котором писал М. Шошину А. М. Горький, и явились источником здорового, теплого юмора в произведениях М. Шошина.

В 1929 г. в Московском издательстве Центросоюза вышла первая повесть М. Шошина „Село врагов". Тот, кому и сегодня попадет эта небольшая книжка, изданная двадцать лет назад, с удовольствием прочитает ее и живо представит себе, как быстро ломались старые устои деревни, как кооперация выживала купцов-самогонщиков, как вырастали люди в советских условиях. В свое время А. М. Горький предложил М. Шошину еще доработать повесть и после этого напечатал ее в возглавляемом им журнале „Наши достижения".

Среди книг, написанных М. Шошиным в последующие годы, обращают на себя внимание „Конец Пошехонья" (СельхозГИЗ, 1932 г.), „Последний батрак", „Астра", „Большая семья", „Переход", „Огни", „Петряевский мельник", „Светлый день", вышедшие в Ивановском областном издательстве между 1934 и 1947 годами.

Увлекательной по своей композиции явилась его книжка „Конец Пошехонья", написанная на конкретном фактическом материале: даже с цифровыми данными она не была скучной и воспринималась читателями довольно живо.

„До революции,—начинает автор,— ходило много книжек и лубочных картин о сказочной, преглупейшей, уморительной жизни и удивительных странных небывалых приключениях пошехонцев...

Пошехонцы толокно в проруби разводили. Пошехонцы лаптем щи хлебали...

И таких историй про Пошехонье ходило множество... Пошехонская сторонка в прошлом — край глухой, заброшенный, край кулацкого произвола и засилья. До революции пошехонец пребывал в такой нищете, замордованности и отупении, что эти сказки казались пустячками перед лицом звериной действительности пошехонской деревни.

Далее М. Шошин рассказал, как неузнаваемо изменилось Пошехонье в годы сплошной коллективизации, как исчезли с лица земли „медвежьи углы", некогда бывшие во власти кулаков-мироедов, темноты и невежества.

Изображению жизни советской деревни посвящены и такие книги М. Шошина, как „Последний батрак", „Переход", „Огни", „Петряевский мельник" и „Светлый день". Повесть „Последний батрак" вышла в 1934 г. В ней рассказывается о росте классового сознания батрака, деревенского юноши, который разоблачает кулака, предвидящего свою гибель, бежавшего из деревни в город. В 1937 г. писатель публикует повесть „Переход", в которой дается картина роста колхозной жизни и переживания одного из бедняков Мелентия Охапкина, пытающегося сначала устроить свою жизнь вне колхоза, но скоро убедившегося, что единственный путь к счастью — это колхоз.

Советскую деревню и ее людей в годы Великой Отечественной войны и после войны М. Шошин показал в повести „Петряевский мельник" и в сборнике рассказов „Светлый день". Сборник „Светлый день" включает в себя двадцать три небольших рассказа. Все они близки друг к другу по своим темам. Писатель повествует о трудовой деятельности колхозной деревни, о возвращении с фронта колхозников, о колхозных женщинах, детях, стариках, живущих в большом и дружном коллективе. Не все рассказы написаны автором равноценно. В некоторых из них человеческие характеры только намечены и недостаточно глубоко раскрыты. Иные рассказы представляют собой варианты одного замысла. Так, автор не раз дает образ умных, трудолюбивых мальчиков, заменивших в хозяйстве своих отцов, ушедших на фронт. Все эти мальчики мало чем отличаются друг от друга, они почти однотипны в рассказах „Хозяин", „Левон и Стенька", „Заботники" и других. Также однотипно разработана писателем тема возвращения колхозников с фронта в рассказах „Весенний шум", „Иван из Иванова", „Возвращение Осипа Петровича". Но в целом сборник „Светлый день" оставляет хорошее впечатление, дающее возможность правильно представить отдельные яркие стороны послевоенной колхозной жизни.

Бесспорным шагом вперед в творчестве М. Шошина явил-

ся его роман „За рекой Выремшей“, опубликованный в девятом и десятом номерах „Ивановского альманаха“, затем вышедший отдельным изданием в Ивановском областном издательстве и готовящийся к выпуску в издательстве „Советский писатель“. Литературная критика и читатели одобрительно отнеслись к роману.

„За рекой Выремшей“ — это развернутая и вместе с тем интересная картина колхозного строительства в послевоенные годы. Сама по себе тема романа не новая. Читатели уже знакомы с ней хотя бы по таким популярным произведениям, как „От всего сердца“ Е. Мальцева, „Кавалер Золотой Звезды“ Бабаевского и другим. Однако советская действительность столь богата и многогранна, а люди, строящие коммунизм, столь замечательны своими морально-политическими качествами, что одаренный и вдумчивый писатель всегда сумеет в нашей жизни найти события и людей, способные по-новому волновать читателей.

Как в свое время советские писатели дали множество ярких произведений о Великой Отечественной войне, так и послевоенные годы великого созидательного труда были и будут главным источником вдохновения и творческих дерзаний „инженеров человеческих душ“.

Главные достоинства романа „За рекой Выремшей“ — это умение автора правдиво передать события колхозной деревни сегодняшних дней. Читатель не может не переживать такого чувства, которое говорит ему, что автор романа давно знает советскую деревню, знает её историю, её нравы и быт, старается вникнуть во все новое и замечательное, что в ней происходит.

Эта книга не могла явиться плодом просто литературного наблюдения литератора, побывавшего в колхозах в „творческой командировке“, нет — „За рекой Выремшей“ — плод многолетней, тесной связи автора с советской деревней, о чем свидетельствует и язык романа, и описание природы, и теплый юмор, а главное, — герои социалистических полей. Не вдаваясь в подробный анализ книги, следует выделить в ней основной идейно-художественный замысел, определяющий ее положительное значение.

М. Шошин не скрывает от читателей, как в одном из колхозов, в селе Думине, в годы войны хозяйственные дела ослабли, а председатель колхоза Нефед Степаныч растерялся и не находил в себе способностей выправить дело. До войны думинский колхоз был одним из сильных и это заставляло колхозников открыто критиковать незадачливого председателя, тем более, что соседний колхоз славился своими успехами. С окончанием войны в Думино вернулись его прежние жители: Алексей Ивонин, Наум Чаянов, Тихон Старостин и другие. С честью они — „солдаты Сталина“, как их

именует в своих литературных записках бывший фронтовик, ныне колхозник Наум Чаянов, прошли по суровым дорогам войны, сражаясь за независимость и цветущее возрождение своей Родины. Час этот пробил, и колхозная семья думинцев вновь стала многолюдной. Но не всё в этой семье выглядело благополучно. Ветренная и нетрудолюбивая Анфиса изменила своему мужу — фронтовику Тихону Старостину; отдельные члены колхозного коллектива (Ныртиков и Косачев) отлынивают от серьезной работы, предпочитая увлекаться легким заработком на стороне; председатель колхоза Нефед Степаныч, положительный человек по своему характеру, теряется в трудные минуты, болезненно воспринимая критику окружающих.

Вернувшегося с фронта Алексея Ивонина избирают секретарем колхозной партийной организации. И потому, как он берется за дело, как организует колхозников, как строит свои взаимоотношения с председателем колхоза,— читатель видит в нем образ замечательного коммуниста-организатора, умеющего направить волю и способности коллектива на путь борьбы за высокий урожай, за культурную и зажиточную жизнь.

Именно в этом и раскрывается идейно-художественный замысел романа. Автор поставил перед собой благородную и вместе с тем ответственную задачу — показать роль одного из большевистских руководителей сельских партийных организаций, раскрыть образ способного, умного секретаря Алексея Ивонина. К заслугам М. Шошина надо отнести его умение показать Ивонина так, что читатель ревниво следит за развитием его поступков. Ивонин — настойчивый и находчивый коммунист, он готов выполнять самую черновую работу, но он не станет делать то, что положено выполнять другим людям, и будет добиваться от них нужных результатов. В данном случае особенный интерес в романе представляет линия взаимоотношений Ивонина с председателем артели Нефедом Степанычем. Ивонин не желает подменять председателя и прежде всего потому, что он видит в нем человека, способного решать вопросы самостоятельно. Когда некоторые колхозники жалуются Ивонину на высокомерие или нечуткость председателя, прозрачно намекая на то, что не мешало бы, мол, во главе колхоза поставить другого человека,— секретарь партийной организации внимательно реагирует на эти жалобы, но нигде он не намерен соглашаться с предложением заменить председателя, так как в Нефеде Степаныче видит человека, умеющего преодолеть свои недостатки и стать примерным руководителем колхоза. Делает это Ивонин далеко не без трудностей. Для того чтобы сбить „спесь“ с председателя, указать ему на неправильное поведение, понадобилось созвать собрание коммунистов. Говоря на собрании об ошибках председателя, Ивонин предлагает:

„Надо перед всеми признать свои ошибки и не повторять их. Это первое. Второе: перестань ты, Нефед Степаныч, вилять душой перед государством...

— Это уж, товарищи, слишком,— возмущенно развел руками председатель, обращаясь к собранию...

— Да-а, вилять душой, — повторил Алексей. — В районе ты, Нефед Степаныч, сваливаешь все на колхозников, а среди колхозников — на район. Где твое отношение к такому, например, делу, как артельный огород? Принял план — выполняй, сам гори и людей зажги. А ты в сторону встаешь: „район велел, не я — выполняйте". Так недостойно вести себя, Нефед Степаныч, ты ведь руководитель артели"...

Прямота Ивонина на собраниях и в беседах, умение организовать людей, умение видеть светлые и теневые стороны жизни позволяют ему правильно руководить сельской партийной организацией и осуществлять свое влияние на беспартийных колхозников. Читатель живо воспринимает картины экономического роста думинского колхоза. Мужает колхозный коллектив, растет авторитет руководителей—Ивонина и Нефеда Степановича, растут в труде и рядовые колхозники. Два урожая картофеля за одно лето снимает звено Мирона Батманова, перестали быть лодырями Ныртиков и Косачев, колхозная молодежь становится большой силой — все это и многое другое М. Шошин передает правдиво, тепло, с незаурядным знанием своих героев, их труда и быта.

В романе „За рекой Выремшей" больше чем в каком-либо другом произведении М. Шошина сказалась его такая творческая особенность, как юмор.

Читатель невольно воодушевляется, яснее видит облик отдельных героев, пристально следит за их поведением, когда знакомится со страницами книги, окрашенными здоровым юмором. Так, с этой точки зрения, в романе естественно и оригинально выглядит образ Наума Чаянова. Наум честно и самоотверженно воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Особенный интерес он всегда проявлял „к рассказам отца, деда, к сельским преданиям, а на дорогах войны его также привлекали „исторические памятники, исторические места".

Колхозники любят слушать умные рассказы Наума, начнет он с шутки, а кончит разговором, который заставит слушателей и посмеяться и серьезно задуматься. Когда друзья говорят о его начитанности, о его учености, он отвечает:

— ...Эта образованность в нашем роду из века в век ведется. Мой дедушка имел дом-особняк: четыре столба врыты да бороной покрыты... Коров-то было шесть и все в одну шерсть: корова бура, да корова будет, да корова есть, да двух коров даст тесть, да двух коров не устерегли от

воров... — Слушатели смеются, а на лице Чаянова ни единой усмешки.

Погруженный в прошлое, он задумчив и угрюм.

— Это сказка, а быль впереди, — продолжает Наум Чаянов. — Был этот мой богатейший дедушка, как и все мужики села Думина, помещицы Староносовой крепостной тяглец. Староносова по обличью, как говорят за границей,— мадонна, а по зубам — собака. Она так доняла думинских мужиков, что лопнуло их терпение и решили они ее прикончить. Но как это сделать? Думали-думали и обдумали. Составили план. Главной горничной у бабушки служила родная сестра моего дедушки—Капитолина. Вот дедка мой и подговорил сестру на это дело и произвел точные расчеты, когда и каким способом все совершить. Пошла в субботу барыня в баню. А стояла эта баня в саду, в уголке, в отдалении. Вошла она в предбанник, а горничная вдруг и говорит: „Ай, барыня, белье-то я забыла". Барыня принялась ее бить и бранить. „Беги скорее, такая-сякая, неси скорее, чтобы одна нога здесь, а другая там". Та побежала, а мужики в это время к барыне... Мой дедушка передом шел и сразу за нее принялся, порезал немного и вдруг шепчет: „Не могу больше, страшно мне". Мужики говорят: „Не всем же руки марать, кончай ее..." Мой дедушка послушался товарищей и тут же вложил ножик в правую барынину руку, которой она с утра до вечера хлестала дворовых девок по щекам. А ножик был барский, с ручкой из слоновой кости, его Капитолина достала с барского стола. Наследники Староносовой велели хранить этот ножик в думинской церкви, в алтаре. Ручка, сказывают, из слоновой кости и вся чистым золотом отделана. Хранился он в алтаре до восемнадцатого года. Тогда дьячок... был шалый такой... как почувствовал послабление церкви, так ножик-то и пропал..."

Подобных страниц, полных юмора, в книге М. Шошина немало. Но Наум Чаянов показан в романе не только человеком, живо интересующимся стариной и историческими памятниками, — это лишь одна из ярких сторон его характера. Чаянов не в меньшей степени вникает в современность и именно он, являясь замечательным колхозником, руководителем звена, в часы досуга ведет своеобразную летопись послевоенной колхозной жизни, кропотливо занося в листы бумаги свои проникновенные наблюдения.

Роман М. Шошина и заканчивается записью Наума Чаянова, подводящего итог славных дел думинских колхозников.

„...Может быть исписанная мною эта книга сохранится, будущие думинцы, наши дети и внуки, разберутся в ней и увидят, как жили и работали их отцы и матери, бабушки и дедушки после Великой Отечественной войны, как чувство-

вали себя и трудились в мирной жизни вернувшиеся с победой на родные поля солдаты великого Сталина".

Книга М. Шошина написана талантливо, ее с удовлетворением приняли и будут принимать читатели.

Но в романе „За рекой Выремшей" есть и существенные недостатки. Если писателю хорошо удались картины коллективного труда — пахота, сенокос, строительство избы вдове Тепловой и другое, то не всегда М. Шошин умеет развернуть образы своих героев, и это надо отнести даже к главному герою книги — Алексею Ивонину. При всех достоинствах Ивонин выглядит в романе несколько ограниченным: он — замечательный организатор, но духовная жизнь его показана бледно. По крайней мере, не видно, какими книгами Ивонин интересуется, что он читает, как он работает над повышением своего идейно-политического уровня, — все это не должно ускользать от писателя при раскрытии характера коммуниста, тем более руководящего работника. Без этого невозможно создать полноценный образ большевика. Ограничивая характер Ивонина лишь его организаторскими способностями и обедняя его духовную жизнь, М. Шошин допустил в романе еще и другой пробел, показав думинских колхозников так, будто они знают только свое Думино и не выходят за его пределы. На самом деле жизнь сегодняшней колхозной деревни куда более богаче, разнообразнее, чем она представлена в некоторых картинах писателем.

В целом удавшееся произведение, подкупающее читателей незаурядным показом трудового пафоса послевоенной социалистической деревни, в то же время говорит, что его автору следует глубже вникать в характеры людей, проникновенно изучая их морально-политический рост, их богатство духовных качеств и стремлений.

Роман „За рекой Выремшей" свидетельствует об определенной зрелости писателя, о том, что к своему 25-летию литературной деятельности он пришел в основном с положительным итогом, но тем более читатель вправе ожидать от него книг, воплощающих всю полноту трудовой и морально-политической жизни советской деревни. Оправдать такое ожидание читателей — прямой долг и благородная цель М. Шошина.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

НЕСТАРЕЮЩЕЕ СЛОВО[1]

Выход в свет сборника стихов и песен Дм. Семеновского „Радуга" совпал с 35-летием его литературной деятельности.

Первые стихи поэта появились в печати в 1913 году. Произошло это при непосредственной помощи М. Горького, который со свойственной ему чуткостью тотчас же заметил молодое дарование. Наставничество Горького сыграло большую роль в литературной судьбе Семеновского и благотворным образом сказалось на его творчестве.

Семеновский — поэт-лирик. Стихи его не отличаются громким звучанием, но они пленяют внутренней поэтичностью, искренностью и задушевностью. Красота родной русской природы, радость творческого труда, радость нашего советского бытия — вот основные мотивы его лирики.

Сборник „Радуга" не вносит каких-либо принципиально новых черточек в творческий облик поэта, но в то же время свидетельствует о том, что он сохранил лучшие свойства своей поэзии, которые и стремится развивать применительно к явлениям нашей современности. Показательно, что свое тридцатипятилетие как поэта Семеновский отметил не избранными стихами, а совершенно новыми стихами и песнями. Кажется, только стихотворения „Трамвай" и „Ванина рубашка", вошедшие в состав сборника „Радуга", печатались ранее в других книгах Семеновского.

Рецензируемая книга состоит из трех стихотворных циклов: „Радуга", „Слово" и „Дети". Центральное место занимает, безусловно, цикл, давший название всему сборнику,— „Радуга". В нем поэт поставил своей целью воссоздать образ нашей Родины после Великой Отечественной войны.

Книга открывается произведением „Под южным солнцем", которое можно назвать лирической поэмой. Путевые впечатления встают в ней поэтически преображенными, одухотворенными авторскими размышлениями об испытаниях и подвиге советского народа в минувшей войне и о трудовом героизме в послевоенной стройке. Картины южной русской природы, воспетые поэтом, сменяются картинами вдохновенного труда. Поэт замечает, как „колхозники возле дороги в чаны кладут виноград черно-синий", как „мирно ребята играют в войну под ладную песню ремонта", как всюду в стране „господствует дух созиданья".

Труд советских людей — ткачей, льноводов, плотников, агрономов — поэт прославляет в песнях „Мечта", „За работой", „Лен", „Соперники" и др. Лучшие из этих песен — „Лен" и „Соперники" — по своему строю близки к народной поэзии, которую Семеновский хорошо чувствует и передает.

Целый ряд стихотворений цикла „Радуга" носит пейзажный характер. Поэту открыты тончайшие явления в природе, он умеет подмечать, как „пестрые крылья бабочки первой лунит к обогретой солнцем стене", он сам любит раздольную и светлую русскую природу и учит этому читателя.

---

[1] Дм. Семеновский, „Радуга". Стихи и песни, Ивановское областное издательство, 1948, стр. 96.

Удачны те стихотворения Семеновского, где он не ограничивается лирическим созерцанием природы, а рисует природу, обогащенную творчеством человека. В этом отношении следует отметить стихотворение „Волга", в котором мощь и красота русской реки, являющейся предметом гордости нашего народа, подчеркнуты тем, что

Здесь на подвиг благородный
Родились богатыри:
Ленин, мудрый вождь народный,
Славный Горький — волгари;

что здесь создавали свои замечательные творения Некрасов, Репин, Левитан..

Следующий цикл стихотворений „Слово" продолжает мотив, как бы намеченный в стихотворении „Волга". Цикл этот посвящен советским и дореволюционным писателям: Горькому, Фурманову, Некрасову, А. Н. Островскому, Л. Толстому, Шота Руставели. Поэта привлекает судьба этих писателей в наше время и значение для нас их богатого творческого наследия, проникнутого духом горячего патриотизма. Он вглядывается в их нестареющее художественное слово и учится, как надо

В послушном слове закрепить
Неповторимое мгновенье,

чтобы слово это было близким народу и звало его вперед.

Слово „послушно" Семеновскому. Ему присуще тонкое чувство родной русской речи. Стихи его просты и в то же время выразительны. Многие из них привлекают солнечным блеском красок и порой мягким юмором. И то и другое — от жизнелюбия, оптимистического восприятия мира. Недаром поэт с такой любовью обращает свои взоры на все молодое, задорное, растущее („Привет сильным", „Здоровье", „Веснушки", цикл стихов „Дети").

Стихам Дм. Семеновского присущи и некоторые серьезные недостатки. В его ясном и конкретном по своей образности поэтическом стиле порой встречаются явно инородные элементы, придающие стиху Семеновского не свойственное ему звучание. Странно, например, читать в хорошем стихотворении „Возвращение" строки

Через кошмары наяву
И в быль облекшиеся бреды,

в которых трудно себе представить реальное содержание войны.

В стихотворении „Краса" строфа

Через ревущие пожары
И вихри небывалых гроз
Ее пленительные чары
Во всей ты прелести пронес

заставляет вспомнить поэтику А. Блока. А такие выражения и образы, как „в час, повитый тайной", „березки восковые прямы" и др., кажутся словно перенесенными из стихов устарелых поэтических школ.

Оттенок вневременности принимает стихотворение „Дети", в котором поэт говорит абстрактно о жизни и о детях, ставя таким образом знак равенства между детьми всех времен и стран:

Сменяются люди на свете,
Мелькают события, дни,
А дети — повсюду дети,
И игры у них одни.

Отмеченные идейно-стилистические недостатки стихов Дм. Семеновского в известной мере снижают общее впечатление от его сборника „Радуга", хотя и не зачеркивают поэтическое мастерство автора.

Семеновскому следует отрешиться от созерцательности, которая портит целый ряд его стихотворений, в том числе в какой-то степени и произведение „Под южным солнцем". Тогда его поэзия найдет более широкий круг читателей и приобретет более действенный характер.

В. Павлов.

„МОЛОДЫЕ ГОЛОСА"

В 1949 году в Ивановском областном издательстве вышел сборник стихотворений с привлекательным заглавием „Молодые голоса". Сборник открывается небольшим предисловием М. Кочнева. Автор предисловия, характеризуя идейную направленность стихов молодых поэтов, пишет: „Все участники этого сборника, подготовленного областным отделением Союза советских писателей, прошли в серых солдатских шинелях по фронтовым дорогам. На фронт они пошли юношами—комсомольцами. На войне они возмужали... Тяжелые испытания боевой жизни еще больше закалили их характер, подсказали молодым поэтам главную тему — тему о мужестве наших доблестных воинов, о прекрасных морально-политических качествах советского человека..."

Действительно, большинство стихотворений, напечатанных в сборнике, связано с военной тематикой, раскрывающей переживания советских людей, на долю которых выпала честь не только разбить немецко-фашистские бронированные полчища, но и принести свободу народам значительной части Европы. Стихам сборника „Молодые голоса" нельзя отказать в свежести и искренности чувств и переживаний их авторов. В целом сборник оставляет хорошее впечатление, однако не все в нем не только не равноценно, но порой вызывает законное недоумение. Это недоумение диктуется не столько недостаточным мастерством авторов (впрочем, некоторым из них безусловно еще мастерства нехватает, но об этом будет сказано ниже), сколько тем, что далеко не все участники сборника глубоко подходят к явлениям жизни, а некоторые из них просто скользят по поверхности жизни, не вникая в ее чудесные преобразования.

В „Молодые голоса" вошли стихи Игоря Мартьянова, Николая Сусленникова, Бориса Иовлева, Ивана Ганабина, Ивана Озерова, Венедикта Герасимова, Леонида Кудрина, Николая Михеева, Александра Фролова, Александра Романовского, Николая Пучкова, Вадима Воробьева и Всеволода Мамушина.

Многие из них печатаются в областных изданиях уже по нескольку лет, иные — только что появились в печати.

Первое поэтическое слово в сборнике предоставлено по праву Игорю Мартьянову. По праву потому, что в его стихах больше лирической теплоты, согревающей ясные, близкие всем чувства человека, прошедшего суровый и вместе с тем яркий путь миллионов советских людей в Великой Отечественной войне. Из восьми его стихотворений лучшими являются „Нас вел Сталин", „У русской могилы" и „Ночь в ресторане".

Игорь Мартьянов говорит о войне так, как говорили и могут говорить только люди, сами бывавшие в пороховом дыму, видевшие на пути своем много несчастий и страданий, но не на один миг не забывающие, что победа останется за советским человеком. В ряде стихотворений он говорит о бессонных ночах, о беспрерывных многодневных походах и говорит об этом без всякого чувства какой-то „жертвенности", талантливо давая понять, что чем больше были невзгоды войны, тем сильнее росла ненависть к врагам, тем ярче горело и разгоралось стремление идти вперед.

Набилась грязь за сапоги —
Ее никто не замечает:
Ведь наши трудные шаги
По карте Сталин отмечает...
А поутру, сквозь сеть дождя,
В окопы и на батареи
Ко всем придет приказ вождя,
И души воинам согреет.
И мы опять вперед пойдем,
Пусть мокрый ветер лица лижет.
Чем дальше мы, тем ближе дом,
И слава воинская ближе.

(„Нас вел Сталин")

В небольшом стихотворении „У русской могилы" автор с большой душевной теплотой рассказывает о том, как люди освобожденной Советской Армией страны свято чтут память погибших в бою освободителей:

От поселка дорожкой узкой,
Мимо заспанного пруда,
Ходят чехи к могиле русской,
Дети носят цветы сюда...
Пусть под осень завянут клены,
Лягут листья ковром у ног, —
На могиле его зеленый
Будет вечно лежать венок.

Лучшие стихи Игоря Мартьянова — это стихи о Великой Отечественной войне, стихи, выстраданные на войне, идущие от всего сердца молодого воина и поэта. Но там, где автор переходит к изображению мирной жизни, у него нехватает поэтической оригинальности, он не находит животрепещущих тем, ограничиваясь показом мирной жизни, типичной для довоенного времени. Между тем, мирная жизнь, наступившая после войны с фашистскими детоубийцами, насильниками и мародерами, несет в себе новые черты, характерные хотя бы тем, что советские люди невиданными темпами восстанавливают разрушенное народное хозяйство, с удвоенными силами крепят мощь своей Родины, делают новые, потрясающие мировое общественное мнение, научные открытия, идут в авангарде могучего демократического лагеря в борьбе за мир против злобствующих поджигателей новой войны — англо-американских империалистов. Все это сейчас является могучим источником поэзии, и естественно, что только тот напишет яркие и полновесные стихи о нашей послевоенной мирной жизни, кто глубоко вникает в биение пульса современности, кто поймет всемирно-историческое значение сегодняшнего дня.

Игорь Мартьянов, написавший ряд замечательных стихотворений о войне, теряет поэтическую силу, когда обращается к темам мирной жизни. В его стихотворении „За мирный труд" есть замечательные строчки:

Эти пашни, леса и травы —
Честь и слава, и жизнь твоя.
В жарких битвах ты добыл право
Возвратиться в свои края.

Но описывая мирный труд тракториста, он не замечает перемен в этом труде, не видит, в какой обстановке совершается этот мирный труд, не делает даже попытки сказать читателю о том, что этот человек, кото-

рый добыл в жарких битвах право возвратиться в свои края, — приобрел вместе с тем и новые качества. Он стал мужественнее, бдительнее, он вырос в идейном и моральном отношении, он не испугался фашистских „тигров" и не испугается американских атомных бомб. Вот почему конец стихотворения „За мирный труд" звучит слишком обще, в нем автор отделался обычным славословием, не удручая себя задачей найти сильные поэтические слова, чтобы показать путь героя-воина от жарких битв к не менее жаркому, но мирному труду. Чтобы не быть голословным, прочтем конец этого стихотворения:

И сегодня приятно как-то
Снова запах вдохнуть хмельной,
Как бывало, вести свой трактор
Стосковавшейся целиной.

Автор утверждает: „как бывало", но ему можно категорически возразить: нет, не как бывало, ибо жизнь советского человека стала ярче, богаче, перед ним раскрылись более широкие горизонты и перспективы.

Другое стихотворение Игоря Мартьянова „Студентка" произвело бы впечатление лет 15—20 назад, а сегодня читатель не найдет в нем особенной новизны прежде всего потому, что сам автор опять-таки не ищет этой новизны. Весь смысл стихотворения сводится к тому, что дочь узбечки пришла учиться в текстильный институт и что —

Будет день —
И в смуглом инженере
Дочку с гордостью узнает мать.

В нашей стране, самой передовой и культурной стране мира, уже давно вошли, как говорят, „в быт" такие явления, когда молодежь всех национальностей выбирает себе профессию по душе, учится в школах, институтах, университетах, принимает участие в научно-исследовательских учреждениях и академиях. Поэтому слишком узко ограничивать тему стихотворения только гордостью матери за то, что дочь ее станет инженером. Можно было бы найти немало новых средств изображения современных студентов, стоящих во всех отношениях неизмеримо выше тех, кто учится в буржуазных институтах мракобесия и человеконенавистничества. Недостатки, присущие поэтическим образам мирной жизни в стихах Игоря Мартьянова, еще более характерны для других участников сборника „Молодые голоса". Посмотрим с этой точки зрения стихи И. Озерова.

И. Озеров печатается уже несколько лет, и читатели вправе предъявить ему свои законные требования. В даровитости И. Озерову отказать нельзя. Такие его стихи, как „Мы сегодня продолжаем бой" и „Начало дня", подкупают читателя своей торжественностью, лиричностью и умением верно представлять себе героическое прошлое и героические задачи сегодняшних дней. Нельзя без чувства радости за автора читать такие его строчки, как:

Наш день был начат
выстрелом „Авроры",
Сверканием трехгранного штыка,
Огнем знамен, которым вспыхнул город,
Рукой вождя,
простертою в века.

(„Начало дня")

Видно, что автор этих строк учится на лучших образцах советской поэзии, он учится у Маяковского, и его учеба идет прежде всего от глубокого идейного содержания произведений лучших советских поэтов.

В стихотворении „Мы сегодня продолжаем бой" автор с подкупающей простотой говорит:

Бережем шинели и планшетки...
Нам никто не протрубил отбой:
На переднем крае пятилетки
Мы сегодня продолжаем бой.

Многие его стихи в сборнике бесцветны, однотипны и несут на себе печать небрежности. Взять, к примеру, стихи „Печник" и „Плотник". Написаны они сусально, неестественно, вне времени и пространства. Озеровские плотники и печники скорее похожи на дореволюционных людей, занимавшихся „отхожим промыслом". Его „Печник" заканчивается:

И обязательно зайдет к знакомым
Поздравить их с красивым новым домом,
А для себя он выстроит потом!

Почему „для себя он выстроит потом!" и причем тут знак восклицания. Уж не хотел ли автор высказать этим какую-то глубокую мысль. Нет, мысль его, к сожалению, не глубокая. Так велось в старые времена, когда сапожник оказывался без сапог, но ведь эти примеры старого, а молодой поэт в 1949 году должен был видеть в изображении советских людей приметы нового. Заслуженно можно сделать упрек И. Озерову в его небрежной работе над отделкой стихов. У него „земля зазвенела ручьем". Неужели только одним ручьем, а не ручьями? У него весна прилетела „непоседой грачом". Какое надуманное сравнение! Разве нельзя было побольше подумать над своими стихами, прежде чем выходить с ними в печать.

Молодым авторам нужно быть требовательнее к написанному, нужно помнить примеры великих поэтов, которые, несмотря на свою громадную одаренность, переделывали по нескольку раз строчки своих стихов, добиваясь их идейно-художественной силы и глубины. Известно, как талантливейший поэт нашей эпохи В. Маяковский переделывал десятки раз отдельные строки стихотворения „Сергею Есенину", о чем он сам рассказал в знаменитой статье „Как делать стихи", являющейся первоклассным трактатом для всех поэтов, особенно молодых.

Лучшее, что есть в сборнике „Молодые голоса", это стихи о войне: они и по содержанию, и с точки зрения мастерства написаны полновеснее, выразительнее и свежее.

Хороши стихи Николая Михеева „Артиллерист", Леонида Кудрина „В море", Александра Фролова „Радость освобождения", Ивана Ганабина „Баллада о погибшем матросе", но, как только эти же авторы от военных тем переходят к описанию мирной жизни, они начинают сбиваться на литературные перепевы и редко дают запоминающиеся стихи. Если у Н. Михеева выразительно написаны „Песня машиниста", „Осень", где, кстати, хорошо говорится о послевоенном урожае, то его же стихотворение „Хороши в деревне вечера" является перепевом многих известных стихов о тальяночке и гармошке с „частым перебором", со „звоном трехрядки" и т. п.

Неубедительно, как дешевую картинку на старых обертках шоколада, дает внешний облик ткачихи Тани А. Фролов в стихотворении „Весна в цехе". Вот как он рисует ее:

Глаза у нее васильков голубей,
Над ними расходятся стрелы бровей,
Стройна, как березка...

Нет, не подумал автор об изобразительных средствах девушки-ткачихи, а пошел по дорожке избитых сравнений, по пути внешней красивости. Эта внешняя красивость нередко присуща отдельным строчкам в стихотворениях Бориса Иовлева, Николая Сусленникова, Венедикта Герасимова, Вадима Воробьева, а между тем все они имеют немало данных к тому, чтобы писать свежо, интересно и содержательно.

Сборник „Молодые голоса" заключают стихи Всеволода Мамушина: „Суворовец", „Он будет летчиком" и „Где проходил фронт". Они выглядят куда более содержательно в сравнении со стихами других авторов. Его стихи на современные темы наиболее удачны и, несмотря на отдельные формальные недочеты, интересны своей целеустремленностью.

В итоге хочется сделать следующие выводы: сборник „Молодые голоса" свидетельствует о росте молодых литературных дарований, круг их становится все шире, голоса их более твердыми. Безусловно, их мастерство нуждается в большем совершенствовании, и только тот из них поднимется на новую поэтическую ступень, кто не забудет, что без совершенствования своего мастерства можно захиреть, увянуть и оказаться литературным пустоцветом. Поэзия больше чем какое-либо другое литературное творчество, не терпит легковесности и небрежности.

Поэзия,—
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как испепеляюще
слов этих жжение
рядом с тлением
слова-сырца.
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Вот завет великого поэта социалистической эпохи, который должны помнить все наши поэты, работающие над каждой строчкой нового стихотворения.

И еще один важный вывод: ивановские молодые авторы должны глубже изучать современность, вникать в ее особенности, в ее новые явления, настойчивее искать изобретательные средства, раскрывающие облик советского человека, ныне стоящего на страже мира и широкими шагами идущего к коммунизму.

Совсем неплохо, что сборник „Молодые голоса" преимущественно состоит из стихов о Великой Отечественной войне. Эта война вдохновляла и еще долго будет вдохновлять писателей массовым героизмом защитников Родины, мужеством и беспримерной их отвагой, тем не менее, участникам сборника нужно смелее и глубже решать в своем творчестве вопросы современности, не топтаться на месте, не перепевать других, а стремиться внести в поэзию свое зерно, свое слово. Разве, например, ивановские авторы не могли бы создать волнующие стихи о тысячах текстильщиков, которые добились больших трудовых успехов, досрочно завершив свои пятилетние планы. Слов нет, некоторые участники сборника делают такие попытки, но эти попытки еще очень робкие и скорее напоминают штрихи к картине, но не как не самую картину. Если взять

стихотворение Н. Сусленникова „День обычный", то оно выглядит бледной копией многих хорошо написанных в свое время стихов старого поэта-ткача А. Н. Благова. Н. Сусленников посвятил стихотворение бригадиру молодежной бригады Меланжевого комбината М. Химичевой. Знатные люди текстильного производства заслуживают того, чтобы им посвящались стихи. Но знатные люди социалистического труда еще более заслуживают того, чтобы поэты раскрывали их красоту души, их благородный труд, их новые черты, характеризующие идейное и нравственное богатство самых передовых людей мира. Если участники сборника „Молодые голоса" выступят в следующий раз со стихами, раскрывающими в поэтических образах животрепещущие вопросы нашей современности, то они заслужат еще более теплую симпатию со стороны наших читателей, а это и будет им лучшей наградой.

Г. Горбунов.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

М. Шошин. Мы живем в деревне. Повесть 3
Дм. Семеновский. Мать и дочь, Гости в Чеганове, Ленок, Маша-звеньевая, Родная земля, расцветай! Стихи 69
М. Кочнев. Ильюшкин полушубок, Земляное солнце, Фабричная азбука, Новая мера. Сказы 74
А. Благов. Мы празднуем Октябрь, Пушкин. Стихи 109
Александр Фролов. Дружба. Стихи 112
В. Великанов. Старый конюх, В разведке. Рассказы 114
Л. Кудрин. Утро Родины, На катке. Стихи 126
Иван Озеров. Золотое кольцо, Март. Стихи 128
Борис Иовлев. Весеннее. Стихи 130
Дм. Прокофьев. Илья Кротов и его бригада. Очерк 131
А. Романовский. В зимний вечер. Стихи 176
В. Воробьев. Редактор многотиражки. Стихи 177

По родному краю

Л. Кудрин. Богатая коллекция древесных пород. Очерк 178
И. Тюрин. Преображенная река. Очерк 182

Статьи

П. Куприяновский. М. Горький и Палех 187
В. Кауров. О творчестве М. Шошина 210

Отзывы о книгах

В. Павлов. Нестареющее слово 222
Г. Горбунов. Молодые голоса 224

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ Библиотека Красной обяз. эк.

Редколлегия: Г. И. Горбунов, М. Х. Кочнев, П. В. Куприяновский, Д. Н. Семеновский, М. Д. Шошин (отв. редактор).

Подп. к печ. 9/III—1950 г. КЕ-00650. Печ. л. 14¼. Уч.-изд. л. 14. В печ. л. 43776 тип. зн. Тираж 5000 экз. Цена 7 руб.

Ивановская типография областного издательства при облисполкоме, Типографская, 4. Заказ № 1288.

ЭБД.

7 руб.